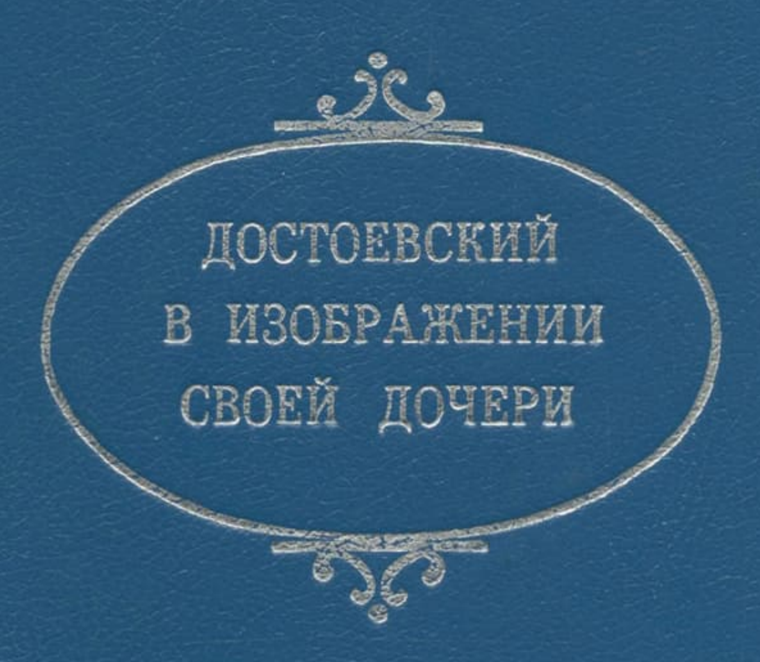
Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ



ДОСТОЕВСКИЙ В ИЗОБРАЖЕНИИ СВОЕЙ ДОЧЕРИ

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕМУАРЫ

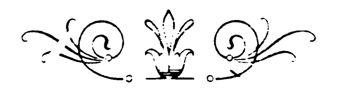


Л. Ф. Достоевская

Л.Ф. ДОСТОЕВСКАЯ

ДОСТОЕВСКИЙ В ИЗОБРАЖЕНИИ СВОЕЙ ДОЧЕРИ

ПЕРВОЕ ПОЛНОЕ РУССКОЕ ИЗДАНИЕ



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



„АНДРЕЕВ И СЫНОВЬЯ“

1992

В 1920 г., находясь в эмиграции, дочь писателя Любовь Федоровна Достоевская (1869—1926) выпустила в Мюнхене книгу об отце под названием «Dostojewski geschildert von seiner Tochter». В русском переводе эта книга вышла в 1922 г. в сильно сокращенном (больше чем наполовину) и не всегда соответствующем подлиннику переводе под названием «Достоевский в изображении его дочери», причем без всяких примечаний, хотя в тексте встречается ряд фактических ошибок и неточностей. С тех пор книга Л. Ф. Достоевской никогда больше на русском языке не издавалась, а между тем в первое русское издание не вошли многие важнейшие моменты из биографии Достоевского, истории его произведений; в переводе 1922 г. были оборваны целые куски текста, пропущены абзацы, отдельные фразы и даже целые главы.

Первое полное русское издание книги Л. Ф. Достоевской представляет большой интерес для всех, кто интересуется жизнью и творчеством великого русского писателя, историей русской литературы и культуры.

Перевод с немецкого Е. С. Кибардиной. Вступительная статья, подготовка текста к печати и примечания доктора исторических наук, кандидата филологических наук С. В. Белова.

Вступительная статья,
подготовка текста к печати и примечания

С. В. Белова

Перевод с немецкого

Е. С. Кибардиной

Оформление *В. Д. Кашина*

ISBN 5—87452—018—X

Л. Ф. ДОСТОЕВСКАЯ И ЕЕ КНИГА ОБ ОТЦЕ

17/29 сентября 1869 г. Достоевский писал из Дрездена в Петербург своему старому другу А. Н. Майкову: «... три дня тому (14 сентября) родилась у меня дочь, *Любовь*. Все обошлось превосходно и ребенок большой, здоровый и красавица. Мы с Аней счастливы»[1]. Вторая жена писателя, Анна Григорьевна Достоевская, в «Воспоминаниях» писала: «С появлением на свет ребенка счастье снова засияло в нашей семье. Федор Михайлович был необыкновенно нежен к своей дочке, возился с нею, сам купал, носил на руках, убаюкивал и чувствовал себя настолько счастливым, что писал критику Н. Н. Страхову: «Ах, зачем вы не женаты, и зачем у вас нет ребенка, многоуважаемый Николай Николаевич. Клянусь вам, что в этом 3/4 счастья жизненного, а в остальном разве одна четверть»[2].

Достоевский очень любил свою вторую дочь и проявлял к ней большую нежность.

14/26 декабря 1869 г. он писал о ней своей племяннице С. А. Ивановой: «Не могу вам выразить, как я ее люблю 〈...〉 Девочка здоровая, веселая, развитая не по летам (т. е. не по месяцам), все поет со мной, когда я ей запою, и все смеется; довольно тихий некапризный ребенок. На меня похожа до смешного, до малейших черт»[3].

Сохранилось 11 записок десятилетней Любы к отцу и две записки Достоевского к дочери: «Милая Лиля, папа тебя очень любит и пишет тебе из Москвы. Веселись и играй, об тебе думаю и тебя целую. Твой папа» (письмо 26 апреля 1874 г.)[4]. Во втором письме 7/19 августа 1879 г. Достоевский пишет ей из Эмса в Старую Руссу: «Милый ангел мой Лиличка, целую тебя и благословляю и очень люблю. Благодарю за то, что ты пишешь мне письма. Прочту и поцелую их и о тебе подумаю каждый раз, как получу. Здесь мне скучно без вас, и никого у меня знакомых, так что все

---

[1] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 29, кн. 1. Л., 1986. С. 62.

[2] Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 188.

[3] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 29, кн. 1. Л., 1986. С. 88—89.

[4] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 29, кн. 1. Л., 1986. С. 318.

молчу и боюсь, что разучусь говорить. Недели через три к вам приеду. Милая Лиля, слушайся маму и с Федей ⟨сын Достоевского — *С. Б.*⟩ не ссорься. Да и не забывайте оба учиться. Молюсь об вас всех богу и прошу вам здоровья. Передай от меня поклон батюшке ⟨хозяин старорусской дачи, священник И. Румянцев — *С. Б.*⟩, да поцелуй за меня Федю. Пожалуйста, слушайтесь все маму и не огорчайте ее. До свиданья, милая Лиличка, очень люблю тебя. Поцелуй маму. Твой папа *Ф. Достоевский*» [5].

Писатель Б. М. Маркевич, присутствовавший при кончине Достоевского, вспоминает, что за несколько часов до смерти Достоевский, «позвав детей — мальчика и девочку, старшая девочка, которой 11 лет, говорил с ними о том, как они должны жить после него, как должны любить мать, любить честность и труд, любить бедных и помогать им ⟨...⟩ Двое детей их, сын и дочь, тут же на коленях торопливо, испуганно крестились. Девочка в отчаянном порыве кинулась ко мне, схватила меня за руку: «Молитесь, прошу вас, молитесь за папашу, чтобы если у него были грехи, Бог ему простил!»—проговорила она с каким-то поразительным, недетским выражением и залилась истерическими слезами. Я ее, всю дрожавшую ознобом, увел из кабинета, но она вырвалась из моих рук и убежала опять к умирающему» [6]. И долго еще одиннадцатилетняя девочка вспоминала любимого отца. Она прекрасно написала об этом на последних страницах своей книги «Достоевский в изображении своей дочери».

Ранняя потеря отца, грандиозные похороны Достоевского, вероятно, подействовали на характер впечатлительной Любови Федоровны. Однако в гораздо большей степени на его склад оказывало влияние ее слабое здоровье. Любовь Федоровна росла очень болезненным ребенком. Это в какой-то мере предчувствовал сам Достоевский, когда сообщал А. Н. Майкову через год после рождения дочери: «Девочка моя здорова ⟨...⟩, но очень нервный ребенок, так что боюсь, хотя здорова» [7]. Опасения Достоевского оправдались: значительная часть жизни Любови Федоровны, начиная с раннего возраста, когда Достоевский возил ее лечиться в Старую Руссу, прошла в различных, в основном заграничных, санаториях и на курортах, где она лечилась от многочисленных недугов. Письма ее полны жалоб на здоровье. «Моя спина в эту зиму гораздо лучше,— пишет она матери в 1917 г.,— но мускулы возле конца позвоночного столба все еще болят. Если нельзя будет ехать в Италию, то придется лечиться в Baden возле Цюриха». «Пишу тебе из Додена, маленького городка возле Цюриха, где я лечусь серными ваннами ⟨...⟩ Здешний доктор уверяет меня, что мои мигрени происходят оттого, что шея и затылок поражены артри-

---

[5] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 30, кн. 1. Л., 1988. С. 101.
[6] Московские ведомости. 1881. 1 февр. № 32.
[7] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 29. кн. 1. Л., 1986. С. 147.

тизмом, заставляет меня сидеть в ванне по губы и говорит, что впоследствии, когда я окрепну, необходимо будет лечить затылок световыми лучами. Сердце мое так слабо, что после каждой ванны я отдыхаю день, а иногда и два»[8].

Вечные болезни, неудачи в личной жизни (Любовь Федоровна до конца своих дней осталась одинокой) сделали ее неуживчивой, недоброжелательной. Не выдержала Любовь Федоровна и бремени славы как дочь Достоевского. В то время как ее мать продолжала трудиться (выпускала собрания сочинений писателя, организовывала музейные выставки, издавала библиографический указатель произведений Достоевского и литературы о нем), Любовь Федоровна все больше тянулась к великосветским салонам и почти не интересовалась тем, что делает Анна Григорьевна. Вот что вспоминает близко знавшая семью Достоевских М. Н. Стоюнина, жена известного педагога В. Я. Стоюнина: «После смерти Федора Михайловича картина жизни в семье Достоевских меняется. В отношениях дочери, Любови, с матерью постепенно происходит охлаждение, возникают крупные несогласия в убеждениях, склонностях и вкусах, что и приводит потом к разрыву 〈...〉 Разлад между ними дошел до того, что Анна Григорьевна, видя однажды, как выносят из церкви девичий гроб, воскликнула: «Зачем не мою дочь это хоронят!» Любовь Федоровна льнет к аристократическому кругу; у нее развилось страстное честолюбие, жажда жить открыто, устраивать светские приемы; скромная квартира на Ямской стесняет ее, снимается, по ее настоянию, новая: на углу Знаменской и Невского. Перемена в условиях жизни совершилась: обстановка роскошная, появилась голубая шелковая гостиная, жардиньерки, поэтические уголки, ценные вазы, шали, саксонские лампы, фарфоровые статуэтки 〈...〉 Связь с дочерью вскоре окончательно порывается, и они разошлись. Дочь поселяется на Фурштадтской, мать — на Спасской. В салоне дочери гости стали поважнее, дочь царит остроумием, пишет легкие пьески для театра, однако скучает от шумной пустоты света. Мать украдкой следит за дочерью и трагически переживает неудачную ее судьбу»[9].

Болезненный характер Л. Ф. Достоевской сказался и на ее литературном творчестве, когда она стала автором романов: «Эмигрантка» (СПб., 1912), «Адвокатка» (СПб., 1913). Художественной ценности они не представляют. В центре этих произведений — вопросы наследственности, угроза вырождения. Романистка высказывает мысль о том, что больные люди, в интересах человечества, должны быть изолированы от здоровой части общества, не должны производить потомства. В предисловии к сборнику рассказов с характерным заглавием «Больные девушки» (СПб., 1911) Л. Достоевская пишет: «В наше время, вследствие ненормального положения женщин в обществе, число больных девушек увеличи-

---

[8] Волоцкой М. В. Хроника рода Достоевского. М., 1933. С. 131.

[9] Достоевский Ф. М. Статьи и материалы. Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. Пб., 1925. С. 581.

вается с каждым годом. К сожалению, люди мало обращают на них внимания. Между тем большинство таких девушек выходит замуж и заражают своею нервностью и ненормальностью последующие поколения». Литературные достоинства ее произведений очень невысоки, и они интересны лишь тем, что их написала дочь Достоевского.

В 1913 г. Любовь Федоровна, как обычно, выехала для лечения за границу, однако больше уже в Россию не вернулась. За границей жила литературным трудом и издала сначала на немецком, а потом и на других европейских языках книгу об отце под названием «Dostojewski geschildert von seiner Tochter» (München, 1920). В русском переводе с немецкого под редакцией А. Г. Горнфельда эта книга вышла в сильно сокращенном (больше чем наполовину) и не всегда соответствующем подлиннику переводе под названием «Достоевский в изображении его дочери» (М.; Пг., ГИЗ, 1922). К тому же русское издание вышло без всяких примечаний, хотя в тексте Л. Ф. Достоевской встречается ряд фактических ошибок и неточностей.

Книгу Л. Ф. Достоевской нельзя назвать мемуарной в точном смысле этого слова: ведь когда умер ее отец, ей было всего 11 лет. Да и сама Любовь Федоровна это понимала, озаглавив свою книгу «Достоевский в изображении своей дочери». И там, где Любовь Федоровна «в изображении» Достоевского строго придерживается документальных фактов, мемуаров современников (например, младшего брата писателя, А. М. Достоевского), семейных преданий и, наконец, что самое важное, запомнившихся ей рассказов отца и матери, — там это изображение является верным.

Однако там, где Любовь Федоровна сознательно извращает известные факты из жизни Достоевского, ее книга приобретает нелепо тенденциозный характер (например, она явно несправедлива к первой жене писателя М. Д. Исаевой). Вопреки всем фактам и документам, Любовь Федоровна почти в каждой главе, по любому поводу и без всякого повода утверждает, что ее отец не был русским, а был норманно-литовского происхождения, хотя на самом деле родоначальниками рода Достоевских были русские. (Вообще, с упорством, достойным лучшего применения, Л. Ф. Достоевская ищет нерусские корни и в других русских писателях, а иногда занимается весьма сомнительными расово-антропологическими разысканиями разных народов). Вероятно, это объясняется тем, что вымышленное норманно-литовское происхождение давало возможность Любови Федоровне высказывать претензию на потомственное дворянство, что больше всего и превыше всего ценилось в той среде, где она вращалась, когда в 1920 г. появилась ее книга. Но скорее всего это была реакция Л. Ф. Достоевской на русскую революцию в октябре 1917 года.

Но не исключено, что это объясняется также и тем, что Любовь Федоровна большую часть своей сознательной жизни прожила за границей. Она настолько отвыкла от России, что даже на вопрос: «К какому народу желали бы вы принадлежать?» — ответила:

«К англичанам»[10]. И это ответила дочь Достоевского, который боготворил русский народ!

Однако если отбросить маниакальную идею автора книги о происхождении Достоевского (Любовь Федоровна не понимала главного: по духу Достоевский был самый русский из всех русских писателей), то работа ее, несомненно, представляет интерес, так как она сообщает много неизвестных фактов из жизни Достоевского. (Надо отметить, правда, что в то же время в книге Л. Ф. Достоевской есть прекрасные слова и о русском народе, и о России).

Сравнивая публикуемый нами перевод всей книги Любови Федоровны с переводом издания 1922 г., можно убедиться в том, что многие важные моменты из жизни и творчества Достоевского в молодости опущены в первом русском издании, в переводе оборваны куски текста, пропущены целые абзацы, отдельные фразы и даже целые главы.

Читатели найдут в настоящем издании неизвестные подробности о жизни и творчестве Достоевского, например новые данные о создании Достоевским повести «Неточка Незванова». Некоторые из этих сведений она, несомненно, получила от своей матери, а та, в свою очередь, от мужа. Ведь «Неточка Незванова» была любимым произведением Анны Григорьевны в молодости, недаром родные и друзья звали ее «Неточка Сниткина». И, конечно, когда двадцатилетняя Неточка Сниткина стала женой Достоевского, она постаралась узнать у мужа подробности создания столь любимой ею повести.

Безусловно, творческий процесс у Достоевского был неизмеримо сложнее, чем его изображает Любовь Федоровна. Наивно, например, ее заявление, что повесть была написана «для Виельгорского» (вообще историко-литературные суждения Любови Федоровны иногда довольно наивны), но мы полагаем, что исследователи «Неточки Незвановой» не могут не учесть и некоторые приводимые ею сведения.

Л. Ф. Достоевская указывает также, что прототипом бабушки в «Игроке» послужила тетка писателя А. Ф. Куманина. Это, очевидно, сообщила дочери А. Г. Достоевская — ведь «Игрок» был первым произведением, которое ей диктовал Достоевский, когда она в 1866 г. пришла работать к писателю в качестве стенографистки. С «Игрока» и началось знакомство Анны Григорьевны с Достоевским. До сих пор же считалось, что основой этого образа послужила вторая жена деда писателя — О. Я. Антипова (Нечаева). Скорее же всего это образ собирательный.

Для исследователей представляет огромную ценность и указание Л. Ф. Достоевской на то, что писатель проецировал в образах князя Мышкина и братьев Карамазовых не только определенные черты своего характера, но и даже различные периоды своей жизни. Нельзя без волнения читать и описание быта писателя в Петербурге и особенно в Старой Руссе.

---

[10] Волоцкой М. В. Хроника рода Достоевского. М., 1933. С. 127.

Большой интерес имеет также не вошедшая в первое русское издание глава «Салон графини Толстой». И не только потому, что дружба Достоевского с С. А. Толстой — еще не раскрытая полностью страница в биографии писателя, но и потому, что и после смерти отца Любовь Федоровна продолжала бывать в салоне Толстой, многое узнала от нее и передала подробнее, чем это сделала в своих «Воспоминаниях» А. Г. Достоевская.

Дружба и встречи с С. А. Толстой — одна из самых светлых страниц в последние годы жизни Достоевского. Софья Андреевна Толстая (1824—1892), жена поэта Алексея Константиновича Толстого, была незаурядной женщиной. Она знала 14 языков, была в дружеских отношениях со многими выдающимися людьми своего времени: Гончаровым, Тургеневым, Вл. Соловьевым и др. А. Г. Достоевская вспоминает: «Но всего чаще в годы 1879—1880 Федор Михайлович посещал вдову покойного поэта гр. Алексея Толстого, графиню Софию Андреевну Толстую. Это была женщина громадного ума, очень образованная и начитанная. Беседы с ней были чрезвычайно приятны для Федора Михайловича, который всегда удивлялся способности графини проникать и отзываться на многие тонкости философской мысли, так редко доступной кому-либо из женщин. Но, кроме выдающегося ума, гр. С. А. Толстая обладала нежным, чутким сердцем, и я всю жизнь с глубокою благодарностью вспоминаю, как она сумела однажды порадовать моего мужа». И далее Анна Григорьевна рассказывает о том, как Толстая выполнила заветное желание Достоевского — получить хорошую репродукцию его любимого произведения — «Сикстинской Мадонны» Рафаэля. Подарок Толстой был бесконечно дорог Достоевскому, он «был тронут до глубины души ее сердечным вниманием,— пишет Анна Григорьевна,— и в тот же день поехал благодарить ее. Сколько раз в последний год жизни Федора Михайловича я заставала его стоящим перед этою великою картиною в таком глубоком умилении, что он не слышал, как я вошла, и, чтоб не нарушать его молитвенного настроения, я тихонько уходила из кабинета. Понятна моя сердечная признательность графине Толстой за то, что она своим подарком дала возможность моему мужу вынести перед ликом Мадонны несколько восторженных и глубоко прочувствованных впечатлений!»[11].

Имя С. А. Толстой неоднократно упоминается в письмах О. А. Новиковой, Вл. С. Соловьева, С. П. Хитрово к Достоевскому. В архиве писателя сохранилась записка С. А. Толстой к нему, относящаяся к 1878 г.

«Федор Михайлович, пожалуйста, пожалуйста, приходите к нам хоть на минуту — или сегодня в 10 часов вечера я буду дома, или завтра утром — очень мне хочется вас видеть. Жалею очень, что не видела жену вашу — надеюсь, в другой раз познакомимся. До свидания, не правда ли?

С. Толстая»[12]

---

[11] Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 355—356.

[12] Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, ф. 93, П. 9.52.

Именно Толстая послала Достоевскому коллективную телеграмму от почитателей его таланта в связи с триумфом его Пушкинской речи. В ответ Достоевский направил Толстой письмо 13 июня 1880 г., которое свидетельствует о том, что он неизменно относился к ней с большим уважением и теплотой; оно заканчивалось словами: «Примите, глубокоуважаемая графиня, мой глубоко сердечный привет. Слишком, слишком ценю Ваше расположение ко мне и потому Ваш весь навсегда»[13].

Кроме Толстой, Достоевский в конце 70-х годов часто встречался и беседовал с С. П. Хитрово и Е. Н. Гейден, о чем пишет и Л. Ф. Достоевская, как бы дополняя мемуары своей матери. Софья Петровна Хитрово, племянница С. А. Толстой, была женой известного дипломата. А. Г. Достоевская вспоминает: «Федор Михайлович любил посещать гр. С. А. Толстую еще и потому, что ее окружала очень милая семья: ее племянница, София Петровна Хитрово, необыкновенно приветливая молодая женщина, и трое ее детей: два мальчика и прелестная девочка. Детки этой семьи были ровесниками наших детей, мы их познакомили, и дети подружились, что очень радовало Федора Михайловича»[14]. Имя С. П. Хитрово упоминается в письмах к Достоевскому Ю. Ф. Абазы, А. А. Киреева, известно также одно дружеское письмо Достоевского к С. П. Хитрово 9 января 1880 г[15]. Сохранились также 11 писем С. П. Хитрово к писателю, свидетельствующих о том, что в 1880 г. Достоевский довольно часто бывал в доме Хитрово. Из публикуемого ниже письма С. П. Хитрово к Достоевскому 15 июня 1880 г. видно, что он сразу после Пушкинского праздника написал ей еще одно письмо, местонахождение которого до сих пор неизвестно.

«Милый, милый Федор Михайлович. Вчера получили ваше письмо и все мы говорим вам большое спасибо за все подробности. Спасибо очень — вы знаете, как мы хотим знать все, что с вами и через вас, и так все это было хорошо и приятно. Дай вам Бог и нам пережить еще такие минуты хорошие и настоящие в жизни. Я сейчас еду в Красный Рог и пишу вам несколько слов — и я еду одна и мне скучно всех оставлять даже на неделю; Вл. Сергеевич ⟨Соловьев⟩ остается и будет за меня восхищаться зелеными деревьями и самым голубым небом. Спасибо вам еще и еще — я бы очень желала быть между теми женщинами, которые вас так крепко за руки держали; авось — когда-нибудь. А пока до свидания, мой милый Федор Михайлович.

Ф. М. Очень много можете над людьми и надо делать особенно для нас бедных — женщин.

---

[13] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 30, кн. 1. Л., 1988. С. 189.

[14] Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 356.

[15] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 30, кн. 1. М., 1988. С. 139.

До свидания непременно. Отчего не едете в Эмс — вам это нужно. И заехали бы к нам. Кланяюсь очень жене вашей и дети мои вашим.

С. Хитрово

Пустынька. 15 июня ⟨1880⟩.

Юлия Федоровна ⟨Абаза, жена министра финансов⟩ плакала, когда я читала ваше письмо, а графиня ⟨С. А. Толстая⟩ сама будет писать» [16].

Как вспоминает В. Микулич в книге «Встречи с писателями» (Л., 1929, стр. 139—148), на одном из субботних вечеров зимой 1879/1880 г. у Е. А. Штакеншнейдер был разыгран «Каменный гость». Достоевский привел на спектакль С. А. Толстую и С. П. Хитрово. Незадолго перед смертью писатель подарил Хитрово только что вышедший том романа «Братья Карамазовы» с надписью: «Глубокоуважаемой Софье Петровне Хитрово на память от автора».

А. Г. Достоевская сообщает: «Из лиц, с которыми Федор Михайлович любил беседовать и которых часто посещал в последние годы своей жизни, упомяну графиню Елизавету Николаевну Гейден, председательницу Георгиевской общины. Федор Михайлович чрезвычайно уважал графиню за ее неутомимую благотворительную деятельность и всегда возвышенные мысли» [17]. В Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина сохранилось пять писем Е. Н. Гейден к Достоевскому, в которых она делится с ним своими религиозными мыслями, просит у него поддержки и совета. Наиболее характерно письмо от 9 августа 1880 г.

«Шершни, 9 августа 1880

Надеялась ли я когда-нибудь получить от Достоевского, которого высоко чтила не как писателя, не как таланта, а как человека с пророческой душой, с отзывчивым сердцем — такое письмо, какое лежит теперь перед моими глазами, которое я перечитала несколько раз, которое прямо, лично и близко ко мне относится? Знаете ли, когда я его получила и с трепетом радости прочла, во мне заходило самомнение, гордость, торжество — его читали и другие, потому, что все из моей семьи захотели видеть и прочесть, что пишет маме Достоевский — мне показалось, что вы меня подняли на пьедестал какой-то в их глазах, и стало совестно. Тот ли я человек в самом деле, к которому пишет Достоевский, которому он предлагает свою дружбу: нет ли во мне чего такого, что в самом корне подсекает божественные дарования. Я хочу познать ваш характер, говорите вы, а что, если узнав его поближе, вы заклеймите его, как содержащий слишком много пустоты и себялюбия? Я в борьбе, это правда, и благодаря Божиему наставлению, через посредство обстоятельств и услышанных слов, путем чужого горя и собственных испытаний, я дошла до трезвости души, часто омра-

[16] Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, ф. 93. П. 9.103.
[17] Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 357.

чающейся, но вновь прозревающей во мне, по милости Божией. И вот этого прозрения я всегда жажду и потому ищу общения с теми людьми, которые могут способствовать этой трезвости, подтягивая во мне препоясание чресел. Достаточно ли этого состояния, чтобы получить доступ к вашей дружбе, Федор Михайлович? Или, может быть, ратуя за величайшую идею — христианства — вам нужны только люди сильные вокруг себя? Вот что я спросила у себя, когда остыл во мне первый пыл после прочтения вашего письма; мне слышался в нем какой-то призыв делить могучие интересы, но могу ли я? Не заблуждаетесь ли вы относительно моего нравственного содержания, из-за моей восприимчивости? Не вредно ли мне, несовершенной христианке, пить вино возбуждения? Я отложила на несколько дней дорогие ваши строки и не заглянула в них, пока не улеглось мое волнение и я не вошла опять в свое будничное настроение, где я не отличаюсь, кажется, от всех окружающих меня. И вот, прочитав теперь ваше письмо, я чувствую себя умиленной, мне радостно каким-то тихим, полным чувством — хожу с своим спокойным созерцанием по живописным дорожкам своего сада, все вокруг меня еще так полно здоровой жизнью, солнце греет, но не жжет, воздух и тепел и свеж, всякое веяние притаилось, всякая травка, всякое дерево так привольно живут своею жизнью и душа моя вторит им, объята невозмутимым счастьем. Переходя от этой внешней оболочки, где я занимаю свое место наряду с каждой козявкой, — я переношусь в иной мир отвлеченных отношений и тут мне кажется, что я обогатилась новым сокровищем, сулящим мне радости живые, в общении мысли и духа. . .»[18].

Местонахождение письма Достоевского к Гейден, о котором она упоминает, до сих пор неизвестно. Возможно, оно находится у кого-нибудь из ее потомков. Сохранилось лишь одно черновое письмо Достоевского к Гейден, которое он диктовал своей жене в ответ на обращение к ней Гейден. Будучи уже смертельно больным, он пожелал сам сообщить ей о своем здоровье и продиктовал 28 января 1881 г. для нее Анне Григорьевне несколько строчек [19].

Вторая часть главы «Салон графини Толстой», где Любовь Федоровна рассказывает о встречах писателя с наследниками русского престола, в какой-то степени дополняет статью Л. П. Гроссмана «Достоевский и правительственные круги 70-х годов» [20]. Тем интереснее то замечание, которое делает Л. Ф. Достоевская, когда пишет, что, несмотря на пылкий монархизм, ее отец никогда не раболепствовал перед будущим императором Александром III, встречаясь с ним.

---

[18] Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, ф. 93. П. 2.73.

[19] См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 30, кн. 1. Л., 1988. С. 242—243.

[20] См.: Литературное наследство, т. 15. 1934. С. 83—123.

Много ценного почитатели таланта великого русского писателя найдут и в других главах книги Любови Федоровны, впервые публикуемых на русском языке в настоящем издании [21].

После октябрьского переворота 1917 года, чувствуя, что она никогда больше не вернется на свою родину, Любовь Федоровна делает за рубежом все от нее зависящее для умножения посмертной славы своего отца [22].

Любовь Федоровна Достоевская скончалась 10 ноября 1926 г. в Гризе (около Больцано) в Италии от белокровия [23]. О последних днях ее жизни оставила воспоминания жена ее брата, Ф. Ф. Достоевского, Екатерина Петровна Достоевская: «Любовь Федоровна стала болеть с мая 1926 года, о чем она несколько раз писала мне ⟨...⟩. Судя по ее последним письмам, она к концу жизни стала мягче и отзывчивее. Она настойчиво звала меня с Андреем ⟨сын Е. П. Достоевской — *С.Б.*⟩ за границу, обещая свою поддержку и поддержку и участие многочисленных почитателей Федора Михайловича. Она интересовалась судьбой моего сына Андрея и старалась утешить меня в моей потере моего старшего сына. Одним словом, судя по этому, она очень изменилась, так как раньше я и мои дети были существами, ее не интересовавшими. Я рада, что наши отношения до ее смерти значительно смягчились» [24].

Представляем читателям первое полное издание книги Л. Ф. Достоевской на русском языке.

Профессор С. В. Белов

---

[21] См. обзор этих глав, сделанный А. И. Ивановым в «Записках Русской Академической группы в США», т. XIV. New York, 1981. С. 324—356.

[22] См. об этом в кн. Н. А. Натовой «Ф. М. Достоевский в Бад Эмсе». Франкфурт/Майн, 1971. С. 110—111.

[23] См. об этом: Иванов А. К истории могилы Л. Ф. Достоевской//Новый журнал, Нью-Йорк, 1988, кн. 170. С. 296—297.

[24] Волоцкой М. В. Хроника рода Достоевского. М., 1933. С. 131—133.

ПРЕДИСЛОВИЕ

30 октября 1921 года Россия готовилась праздновать сотый день рождения Федора Достоевского. Наши писатели, наши поэты надеялись почтить в стихах и прозе великого русского гения; славянские народы хотели послать своих депутатов в Петербург, чтобы чествовать на чешском, сербском, болгарском языке великого славянофила, верного идее нашей будущей славянской конфедерации. Семья Достоевского в свою очередь надеялась, что сможет к этому дню издать неопубликованные документы, хранившиеся в Историческом музее в Москве. Мать моя хотела опубликовать свои воспоминания о знаменитом супруге[1]; я, со своей стороны, намеревалась написать новую биографию отца и поведать читателям о впечатлениях детства.

Этот прекрасный праздник теперь, вероятно, не состоится. Ужасная гроза разразилась над Россией и разрушила всю нашу европейскую цивилизацию. После несчастной войны вспыхнула революция, которую давно предсказал Достоевский; трещина между нашими крестьянами и нашей интеллигенцией, все увеличивавшаяся в течение двух столетий, наконец стала пропастью. Наша одурманенная европейскими утопиями интеллигенция устремилась на Запад, тогда как народ наш, верный преданиям предков, обратился к Востоку. Русские интеллигенты, нигилисты и анархисты намеревались насадить в нашей стране европейский атеизм, тогда как наши глубоко религиозные крестьяне хотели остаться верными Христу. Результат этой борьбы развертывается перед нашими глазами. Интеллигентов, которые надеялись занять в России место царя и править по своему усмотрению, наш рассерженный народ прогнал, как нечто глупое и вредное. Печально блуждают они по Европе. Одни обитают в дворцах наших прежних посольств и делают вид, что управляют Россией с берегов Сены и Темзы, и стараются не замечать иронические усмешки европейских послов; другие группируются вокруг бесчисленных русских газет, каждый номер которых они печатают в ста экземплярах, чтобы предлагать их бесплатно каждому, кто пожелает их прочесть. Но увы! Читателей становится все меньше! Европейцы, наконец, начали понимать, что наша интеллигенция состоит из мечтателей и что мужик-социалист и анархист, о котором они говорят в своих газетах,

существовал только в наивном представлении этих «дедушек и бабушек русской революции».

Далекий от того, чтобы быть анархистом, русский мужик собирается создать огромное восточное государство, побрататься с монгольскими народами, установить дружеские связи с Индией, Персией и Турцией. Он оставляет большевизм в качестве пугала, чтобы держать старую Европу на расстоянии, чтобы помешать ей вмешиваться в свои дела и чинить препятствия в процессе национального строительства. В тот день, когда оно будет окончено, мужик уничтожит ненужное ему теперь пугало, и изумленные европейцы увидят перед собой новое русское государство, которое будет гораздо более могущественным и прочным, чем старое. Наши мужики — хорошие строители; будучи мудрыми, какими они были всегда, они остерегаются приглашать в качестве архитекторов наших интеллигентов. Они поняли, что эти больные люди могут разрушить прекраснейшую цивилизацию мира, но совершенно не способны создать что-либо иное вместо нее.

Если столетие со дня рождения Достоевского не может праздноваться в России, я хотела бы, чтобы это произошло в Европе; ведь уже давно Достоевский стал универсальным писателем, одним из тех светочей, которые освещают путь человечеству. Я решилась опубликовать в Европе биографию моего отца, которую я собиралась прежде издать в России; тем более, что все мое состояние осталось у большевиков, и я вынуждена сама содержать себя. Те не опубликованные ранее подробности из жизни моего отца, которые я сообщаю в этой книге, могли бы побудить почитателей Достоевского к новым критическим исследованиям, которые приблизят его произведения к читателям Америки и Европы. Это будет, без сомнения, лучшим способом достойно отпраздновать столетие знаменитого писателя.

Я должна обязательно поблагодарить госпожу Гертруду Оукама Кнооп, которая помогла мне предложить эту книгу немецким читателям.

Aimée Достоевская

Швейцария 1918—1919

«Я его [народ] знаю: от него я принял вновь в мою душу Христа, которого я узнал в родительском доме еще ребенком и которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в "европейского либерала"»

Дневник писателя, август 1880

2 Заказ № 86

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РОДА ДОСТОЕВСКИХ

Когда я читаю жизнеописания моего отца, я всегда поражаюсь, что его биографы видят в нем только русского и даже самого русского из русских. Достоевский же русский только по матери, уроженке Москвы, тогда как с отцовской стороны семья была литовского происхождения [2]. Из всех владений русской империи Литва, без сомнения, наиболее интересна благодаря переменам и разнородным влияниям, которым она подверглась в течение столетий. Литовцы представляют собой ту же смесь славянских и финно-тюркских народностей, что и русские. Однако есть существенное различие между обоими народами. Россия долгое время оставалась под игом татар и подверглась сильному монгольскому влиянию. Литва же, в свою очередь, испытала сильное влияние норманнов, которые торговали с греками через реки Неман и Днепр. Так как норманны видели, что эта торговля принесла им много денег, они устроили в Литве обширные склады, охранявшиеся стражей. Эти склады постепенно превращались в крепости, а крепости — в города. Некоторые из этих городов существуют до сих пор, как, например, город Полоцк, которым владел норманнский князь Рогвольд. Страна была разделена на большое число маленьких княжеств; народ был литовский, правители — норманны. Царивший в этих княжествах порядок возбуждал завись соседних славянских народов. Так завидовали славяне, населявшие берега Днепра и бывшие предками украинцев и русских, литовцам, которыми правили норманны, что сами потребовали норманнского князя [3]. Они послали депутацию к литовцам, которая предложила князю Рюрику корону великого князя киевского [4]. Рюрик, бывший, по-видимому, братом или младшим сыном какого-то норманнского князя, владевшего частью Литвы, принял корону и прибыл в Киев со своей норманнской свитой. Потомки этого Рюрика правили на Руси вплоть до XVII столетия, сначала нося титул великих князей, потом — царей. Когда последний отпрыск Рюрика умер в Москве, в России много лет царили анархия и беспорядки, пока бояре не избрали царем Михаила Романова, род которого имел литовское происхождение, это был славянский род с сильным норманнским уклоном [5]. Романовы, в свою очередь, правили в течение нескольких столетий, любимые и почитаемые русским народом. Примечательный факт, что русские дважды выбирали на

царство норманнов или норманнизированных славян, объясняется просто невыносимым характером моих соотечественников. Невозможно вынести вечно спорящих и ссорящихся, вечно болтающих, могущих проговорить 12 часов без передышки русских. Норманны, с их ясным, практичным умом, скупые на слова, но энергичные, установили согласие и поддерживали порядок в нашей стране.

Норманны не держались особняком от литовцев: князья и их свита предпочитали жениться на женщинах этого края и все более смешивались с коренным населением. Их норманнская кровь придавала не имевшим до сих пор веса литовцам такую силу, что они побеждали татар, русских, украинцев, поляков и немецких рыцарей, бывших их северными соседями. В XV столетии Литва стала обширным великим княжеством, которое поглотило всю Украину и большую часть Руси. Она играла большую роль среди прочих славянских государств, имела блестящий, цивилизованный двор и приглашала многих иностранных ученых и художников. Русские бояре, боровшиеся против деспотизма своих царей, бежали в Литву и находили там дружеский прием. Так было, например, с известным князем Курбским, смертельным врагом Ивана Грозного *.

Норманны овладели Литвой в начале нашего христианского летоисчисления, возможно даже раньше. Во всяком случае в 1392 году они уже владели страной, когда ею правил великий князь Витольд, бывший, как можно судить по его имени, отпрыском норманнских князей. Совершенно очевидно, что в XIV столетии Литва испытывала сильное влияние норманнов. Помимо браков князей и свиты, многие норманнские купцы и воины охотно женились на юных литовках, которые благодаря их славянской крови были красивее и привлекательнее женщин финно-тюркского происхождения. Дети, рождавшиеся от этих смешанных браков, наследовали литовский тип своих матерей и норманнский дух своих предков по отцовской линии. Тем, кто хотел бы больше узнать об этой почти неизвестной стране, я рекомендую книгу «Литва в прошлом и будущем» В. Видунаса. Я буду часто цитировать этого ученого, но полагаю, что его блестящее исследование заслуживает быть прочтенным полностью. Удивительно, что в этой книге Видунас, хотя и описывает литовский характер как вполне норманнский, по-видимому, находится в полном неведении относительно при-

---

* Современные историки, изучающие историю Литвы и Украины, почти никогда не упоминают норманнов. Зато часто встречается у них слово «варяги» и они утверждают, что варяги играли большую роль в Литве и даже на Украине. Варяги, однако, это те же норманны. «Варяг» означает в старославянском «враг». Так как норманны всегда побеждали славян, те называли их врагами. Славяне в общем нелюбопытны, и их мало заботило то, к какой расе принадлежат их соседи; они предпочли дать им вымышленное имя. Так, например, когда русские стали торговать с германцами, они назвали их немцами, что означает на древнерусском «немой», так как германцы не понимали их язык и не могли ответить на вопросы моих соотечественников. Русский народ и сегодня называет германцев немцами; слово «германец» или «Deutschen» известно только образованным.

меси норманнской крови у его соотечественников и наивно утверждает, что они только финно-тюрки, ведущие свое происхождение от азиатов. Этот ученый уподобляется многим литовцам, которые из своеобразного чувства национальной гордости всегда отрицали своих норманнских предков *. Вместо того чтобы гордиться ими, как гордятся умные румыны своим происхождением от древних римских воинов, литовцы всегда старались представить дело так, что их норманнские великие князья родные им по крови. Но русских здесь никогда нельзя было обмануть. Они знали, что литовцы были слишком слабы, чтобы победить их, и это стало возможно только с помощью норманнов. Поэтому мои соотечественники вернули всем этим литовским Гедиминасам, Альгирдасам, Витаутасам их настоящие имена Гедимин, Ольгерд и Витольд. Поляки и немцы поступили так же, и норманнские князья, к великой досаде всех любителей Литвы, вошли в историю под их настоящими именами. Самым знаменитым из этих князей был Гедимин[6]. Тип его был истинно норманнский, почти без примеси финно-тюркской крови. Его изображения всегда напоминают мне портреты Шекспира: два эти норманна имеют фамильное сходство. Гедимину свойственны характерные для норманнов безразличие и терпимость в вопросах веры; в то же время он защищает католиков и православных; сам он предпочитает оставаться язычником.

Когда со временем Русь и Украина усилились, им удалось отделиться от Литвы и восстановить свою прежнюю независимость. Литовцы, потеряв богатые восточные и южные провинции, стали слабее и не могли бороться с германскими рыцарями, смертельными их врагами. Германцы одержали победу над Литвой и насадили в стране целый ряд средневековых устоев. Они очень долго сохранялись в Литве, даже тогда, когда они давно исчезли во всей Европе. Германцы вынудили литовцев принять протестантство. Как и все славяне, литовцы были мистиками, и лютеранская религия ничего им не давала **. Когда позднее Польша, в свою очередь ставшая сильной, вырвала Литву из-под власти германских рыцарей ***, литовцы поспешили вернуться к православной вере своих предков. Польское католическое духовенство, особенно иезуитские ордена, вели ожесточенную борьбу с православными монастырями,

* Из ненависти к России и Польше литовцы даже отказываются признать, что в их жилах течет славянская кровь. Однако стоит только взглянуть на них, чтобы понять, что они в гораздо большей степени славяне, чем финно-тюрки.

** Однако финны, эстонцы и латыши, являющиеся финно-тюрками, свободные от какой-либо другой примеси, с воодушевлением приняли протестантскую религию и остались ей верны. Враждебность, с которой литовцы всегда относились к протестантству, больше чем что-либо доказывает наличие славянской крови в их жилах. Славяне, с радостью принимающие католическую и православную религии, никогда не могут понять лютеранство.

*** Германцы, однако, сохранили за собой часть Литвы, которая была заселена литовским родом боруссов. Они германизировали его и назвали пруссами. Пруссы не являются германцами, это норманнизированные, а позднее германизированные литовцы. Сила их характера и та важная роль, которую играли пруссы в Германии, объясняются норманнским происхождением; многие прусские юнкеры — потомки по прямой линии древних норманнских военачальников.

но их защищали многие литовские семьи, отдававшие предпочтение православию. Среди них были очень влиятельные, как, например, семья князя Константина Острогеского, знаменитого защитника православия. Когда поляки столкнулись с таким яростным сопротивлением, они были вынуждены оставить православные монастыри в стране, однако они установили верховный надзор знатных католических семей, чтобы положить конец пропаганде православия. Иезуиты создали блестящие латинские школы, принуждали знать страны посылать туда своих сыновей и таким образом в кратчайший срок латинизировали знатную молодежь Литвы. Стремясь окончательно присоединить Литву, поляки ввели целый ряд польских институтов, между прочим «шляхту», т. е. союз знати. У шляхтичей был обычай собираться под знамя какого-либо знатного господина, которого они сопровождали на войну и который, в свою очередь, покровительствовал им в мирное время. Господин позволял шляхте носить свой герб. Впоследствии этот обычай переняла Россия, позаимствовавшая у Литвы ряд институтов, создав «Союз потомственного дворянства». У русских этот союз носил скорее аграрный, чем военный характер; но и в Литве, и в России эти союзы были прежде всего патриотическими организациями.

* * *

Предки моего отца происходили из Минской губернии, где недалеко от Пинска и по сей день существует место, называющееся Достоево, бывшее имение отцовской семьи [7]. Когда-то это была самая дикая часть Литвы, почти сплошь покрытая непроходимыми лесами; вокруг Пинска на необозримом пространстве простирались болота. Достоевские были шляхтичами и принадлежали к «Гербу Радвана», что означало, что они были знатными, шли на войну под знаменем своего покровителя Радвана и имели право носить его герб. Моя мать разрешила зарисовать герб Радвана Музею Достоевского в Москве [8]. Я видела его, но не могла бы описать, потому что не изучала его геральдику.

По-видимому, Достоевские были очень ревностными и нетерпимыми католиками. Изучая происхождение нашей семьи, мы нашли документ, в котором православный монастырь, порученный надзору семьи Достоевских, жалуется на недружелюбное ее обращение с православными монахами. Этот документ доказывает два момента:

1) что Достоевские занимали в своей стране хорошее положение, иначе их попечению не был бы поручен православный монастырь;

2) что Достоевские как ревностные католики должны были посылать своих сыновей в латинские школы и что предки моего отца владели той блестящей латинской культурой, которую всюду несло с собой католическое духовенство, где бы оно ни появлялось [9].

Когда в XVIII столетии Литва была присоединена к России, русские не застают уже Достоевских; они переселились на Украину. Что они там делали и в каких городах жили, мне неизвестно. Я не имею никакого представления, кем был мой прадед Андрей [10] — и по причине, достойной удивления.

Мой дед Михаил Андреевич * был очень своеобразным человеком [11]. В возрасте 15 лет он смертельно поссорился с отцом и братьями и бежал из отчего дома. Он покинул Украину и отправился изучать медицину в Московском университете. Он никогда не говорил о своей семье и не отвечал на вопросы, касающиеся его происхождения. Позднее, в возрасте 50 лет, мой дед, по-видимому, испытывал угрызения совести по поводу бегства из родительского дома. Он дал в газетах объявление, в котором просил отца и братьев подать весть о себе. Но никто не откликнулся на это объявление. Вероятно, родители его уже умерли; в семье Достоевских не живут до глубокой старости.

Все же, по-видимому, дед Михаил рассказал своим детям об их родословной, так как часто я слышала от отца, а позднее и от дядюшек: «Мы, Достоевские, литовцы, а не поляки, Литва совсем иная страна, чем Польша».

Отец мой рассказывал моей матери о епископе Стефане, бывшем, по его мнению, основателем нашей православной семьи. К моему великому сожалению, моя мать не обратила особого внимания на эти слова и не расспросила его об этом более подробно. Я думаю, что один из моих литовских предков, переселившись на Украину, сменил религию, чтобы жениться на православной украинке, и стал священником. Овдовев, он, вероятно, ушел в монастырь и стал впоследствии архиепископом **. Таким образом епископ Стефан, хотя и был монахом, мог стать основателем нашей православной семьи. Мой отец должен был иметь более подробные сведения об этом епископе, так как хотел в его честь назвать своего второго сына Стефаном [12]. В это время Достоевскому было 50 лет. Любопытно, что мой дед Михаил дал свое объявление в газетах, когда ему было 50 лет, и что в том же возрасте отец мой вдруг вспомнил об этом архиепископе Стефане, о котором раньше никогда не думал. Оба в 50-летнем возрасте ощутили потребность тем или иным образом соприкоснуться со своими предками.

В какой-то мере удивительно, что Достоевские, бывшие в Литве воинами, на Украине стали священниками. Однако это вполне в духе литовских нравов. Вышеупомянутый В. Видунас, опубликовавший блестящее исследование истории и характера своего народа, говорит по этому поводу следующее:

---

* Сын Андрея.

** В православной церкви только монахи, так называемое черное духовенство, могут стать епископами. Белое духовенство, женатые священники, никогда не поднимаются столь высоко. Если они овдовеют, они часто принимают монашеский сан и тогда могут продолжить карьеру.

«Когда-то у многих состоятельных литовцев не было иного желания, чем увидеть одного или нескольких сыновей подвизающимися на церковном поприще. Они охотно платили любую сумму за необходимое для этого учение, но они были совершенно безразличны к учению самому по себе, так как имели только общие цели образования и не желали, чтобы их дети выбирали другую, свободную профессию. Еще и в эти последние годы молодые литовцы тяжело страдали от отцовского упрямства. Так как они не хотели выбирать духовную карьеру, отцы лишали их своей помощи. Благодаря этому гибло все, что сулило самые радужные надежды».

Эти слова Видунаса, вероятно, дают нам ключ к разгадке той необычной ссоры между моим дедом Михаилом и его родителями, в результате которой были прерваны все связи между нашей московской семьей и украинской семьей моего прадеда Андрея. Тот, вероятно, желал, чтобы его сын избрал духовную карьеру, тогда как молодого человека влекла к себе медицина. Когда он понял, что отец не даст денег на изучение медицины, мой дед Михаил бежал из отчего дома. Поражает истинно норманнская энергия этого 15-летнего мальчика, без денег, без протекции отправляющегося в незнакомый город; ему удается получить высшее образование и занять довольно хорошее положение в Москве, воспитать семерых детей, дать приданое трем дочерям и вполне приличное образование четырем сыновьям. Дед мой мог с полным правом гордиться собой и ставить себя в пример детям.

В желании Андрея Достоевского видеть своего сына священником не было ничего необычного, так как украинское духовенство пользовалось всегда высоким авторитетом. Украинские приходы имели право сами выбирать своих священников, и, естественно, выбирались только люди достойного образа жизни. Что касается высоких духовных званий, то они почти всегда находились в руках украинской знати, что редко происходит в России, где священники образуют свою собственную касту. Стефан Достоевский должен был происходить из хорошего дома и получить хорошее воспитание, чтобы стать епископом. Архиепископ или епископ — самый высокий сан в православной церкви, так как там нет кардиналов. Раньше патриарха выбирали из архиепископов. После отмены патриаршества архиепископы взяли на себя дела нашей церкви, занимая по очереди свое место в Святейшем Синоде.

Имеется еще одно доказательство, что украинские Достоевские принадлежали к интеллигенции. Друзья, жившие на Украине, рассказали нам, что однажды им попалась там старая книга, типа альманаха или стихотворного сборника, изданная на Украине в начале XIX века. Среди стихотворений этой книги была небольшая буколического характера поэма, написанная довольно искусно на русском языке. Она не была подписана, но первые буквы каждой строфы образовывали имя Андрей Достоевский. Написал ли ее мой прадед или какой-нибудь его двоюродный брат, я не знаю [13], но эта поэма доказывает два очень интересных для биографов Достоевского момента:

1) что его украинские предки были образованными людьми, так как на Украине лишь народ и мещане говорили на украинском языке, прекрасном, поэтичном, но младенческом и даже несколько смешном. У высшего сословия Украины было принято говорить по-польски или по-русски, так что в 1918 году, когда эта страна отделилась от России и заявила о своей независимости, новый гетман Скоропадский должен был всюду развесить красноречивые лозунги: «Украинцы! Учите ваш национальный язык!» Сам гетман вряд ли знал хоть слово по-украински;

2) что наклонности к творчеству имелись уже у украинских предков моего отца, и он унаследовал их не только от своей матери-москвички, как предполагали литераторы — друзья Достоевского.

Столь интересная и многосторонняя история Литвы оказала большое влияние на развитие таланта Достоевского. В его произведениях видны следы всех тех изменений, которые претерпела Литва в течение столетий. Характер моего отца истинно норманнский; очень порядочный, очень прямой, открытый и смелый, Достоевский смотрит опасности в лицо, не отступает перед ней, неутомимо преследует свою цель, устраняя все препятствия, встречающиеся на его пути. От норманнских предков унаследовал он огромную моральную силу, редко встречающуюся у русских, молодой и, следовательно, очень слабой нации. Развитию гения Достоевского способствуют и другие европейские народы. Рыцари германского ордена передали его предкам свою идею государства и семьи. Многие средневековые воззрения можно найти в произведениях Достоевского и еще в большей степени — в его частной жизни. У католического духовенства Литвы, возглавляли которое выходцы из Рима, предки моего отца учились дисциплине, послушанию и чувству долга, которые едва ли можно встретить в юной и несколько анархической России. Латинские школы иезуитов формируют их дух. Достоевский очень быстро выучил французский язык и предпочитал его немецкому. Все же он знал немецкий настолько хорошо, что предложил брату Михаилу переводить вместе Шиллера и Гете. Очевидно, отцу очень легко давались языки, очень редкое качество у русских. Европейцы обычно говорят: «Русские говорят на всех языках». Но они не знают, что те из моих соотечественников, которые хорошо говорят и пишут по-французски и по-немецки, все происходят из польских, украинских и литовских семей, предки которых испытали латинское влияние со стороны католического духовенства. Среди русских Великороссии только дворяне, получавшие во многих поколениях европейское образование, хорошо владели европейскими языками. Русские же мещане с большим трудом осваивали иностранные языки; они учили их в течение семи лет в школе и, окончив ее, могли с трудом сказать несколько предложений и читать самые легкие книги. Произношение их было ужасным. Русский язык, не имеющий почти ничего общего с другими европейскими языками, как раз мешает, а не способствует изучению языков.

Переселение моих предков на Украину смягчило довольно суровый характер северного человека и пробудило поэзию в его сердце. Из всех славянских владений русской империи Украина, несомненно, самая поэтичная. Когда приезжаешь из Петербурга в Киев, чувствуешь себя на юге. Вечера теплые, улицы полны смеющимися, поющими людьми, сидящими вокруг столиков, вынесенных из кафе на свежий воздух. Вдыхаешь напоенный ароматом юга воздух, смотришь на луну, посеребрившую тополя, чувствуешь, как переполняется сердце, и ощущаешь потребность творить. Все дышит поэзией в этой прекрасной, нежно овеваемой равнине, купающейся в теплом солнце. Спокойно и неспешно текут голубые реки; маленькие озера мирно спят, окруженные цветочным ковром; как прекрасно мечтать в роскошных дубовых лесах. На Украине все — поэзия: крестьянская одежда, их песни, их танцы, особенно их театр. Украина — единственная страна в Европе, имеющая собственно народный театр, а не созданный образованными с целью воздействия на массы, как это делается в Европе. Украинский театр настолько народен, что его даже не смогли преобразовать в городской. Когда-то Украина была тесно связана с греческими колониями, основанными на берегу Черного моря. В жилах украинцев течет греческая кровь, сказывающаяся в их красивых загорелых лицах, в их пленительных движениях. Вполне возможно, что украинский театр представляет собой отдаленное эхо столь популярных у народов Древней Греции представлений.

Когда мои предки покинули темные леса и топкие болота Литвы, их, должно быть, ослепили свет, цветы, греческая поэзия Украины; душа их, согретая южным солнцем, изливалась стихами. Дед мой Михаил унес частицу той украинской поэзии в убогом ранце школьника, бегущего из отчего дома, и верно хранил ее как сладостное воспоминание о далекой отчизне. Потом он передал этот дар своим старшим сыновьям Михаилу и Федору. Мальчики слагали стихи, сочиняли эпитафии и поэмы, отец мой в юности писал венецианские романы и исторические драмы. Он начал подражать Гоголю, великому украинскому писателю, которым он восхищался от всей души. В первых произведениях Достоевского многое идет от той украинской поэзии, столь наивной, сентиментальной и романтичной. Только после каторги, когда он стал русским, в романах его появились широта кругозора, глубина мысли, свойственные русскому гениальному народу, которого ждет большое будущее. Но было бы неверно утверждать, что мощный реализм Достоевского — русский по своей природе. Русские — не реалисты, они — мистики и мечтатели. Им нравится предаваться мечтам вместо того, чтобы крепко держаться за жизнь. Правда, они стараются быть реалистами, но неминуемо тогда впадают в цинизм и монгольскую эротику. Реализм Достоевского — наследство его норманнизированных предков. Отличительной чертой всех писателей, в жилах которых течет кровь норманнов, является этот глубоко укоренившийся реализм. Норманны умели смотреть жизни

в лицо и не боялись изображать ее такой, какова она была в действительности. Недаром так восхищался Достоевский Бальзаком и взял его себе за образец.

Семья Достоевских была в сущности семьей кочевников. Ее встречают то в Литве, то на Украине, то она живет в Москве, то в Петербурге *. В этом нет ничего необычного, так как Литва как раз и отличается от других стран этим удивительным классом «интеллектуальных кочевников». Народ кочует во всех странах. В России каждый год огромные толпы крестьян переходят через Уральские горы и теряются в Азии; в Европе крестьяне и мелкие буржуа ищут счастья в Америке, в Африке, в Австралии. В Литве раньше народ не покидал страну, странствовали только образованные. Видунас говорит об этом следующее: «Одно мероприятие Витаутаса (Витольда) значительно способствовало ослаблению литовской нации. Он ссылал представителей знати в отдаленные, не заселенные литовцами области. Будучи изолированы, они вскоре поглощались чужими нациями и в большей своей части для Литвы были потеряны». Очевидно, что Видунас приписывает князю Витольду совершенно невероятное мероприятие. Видели ли вы когда-нибудь правителя, сославшего всю знать страны и оставившего себе только крестьян? Вероятно, Витольд не принимал в этом участия, но в его время знатные люди сами начали переселяться. Пока Литва была блестящим, великим княжеством, привлекавшим европейских ученых и художников, знать оставалась дома. Но когда блеск Литвы начал меркнуть, образованным людям ** стало тесно в темных лесах, среди топких болот, и они перекочевывали к соседним народам. Они поступали на службу к полякам и украинцам и содействовали развитию их цивилизации. Большинство значительных людей Польши и Украины имеют литовское происхождение ***. Впоследствии, когда Россия присоединила Литву, через наши большие города хлынул целый поток литовских семей. В начале XIX века поляки, в свою очередь, стали поступать на службу в России, но вскоре мои соотечественники поняли разницу

* Меняя страну, они меняли и профессию. В Литве они были земледельцами и воинами, на Украине — священниками и врачами, писателями и журналистами в России. Эта смена профессии легко объясняется влиянием предыдущего места жительства. Вначале Достоевские были земледельцами, как все представители финно-тюркских народностей, и воинами, как славянские роды. Испытав на себе влияние норманнов, они стали глубоко религиозными и, осев на Украине, становятся служителями церкви. Греческая кровь Украины пробуждает в них любовь к искусству и науке, и после переселения в Россию они отдают предпочтение свободным профессиям.

** Критики могли бы упрекнуть меня за то, что я смешиваю понятия «знать» и «образованные», которые не являются однозначными. Они могли бы подумать о том, что в добрые старые времена образованные люди принадлежали к знати и что ни народ, ни мещане не имели средств для образования. Католическое и православное духовенство, в руках которого раньше было сосредоточено все образование в Литве, интересовали только сыновья из знатных семей, в которых они видели будущих законодателей и правителей страны.

*** Есть предположение, что великий поэт Мицкевич был литовцем. Одно из его стихотворений начинается словами: «Литва, мое отечество!».

между польским и литовским «ски» *. Поляки могли спокойно жить в России и богатеть там, они оставались католиками, говорили между собой по-польски и считали русских варварами. Литовцы же забывали родной язык, переходили в православие и не вспоминали больше о своей родине **. Переселение это и та легкость, с которой они приспосабливались к приютившей их стране, являются характерным признаком, унаследованным литовцами от их норманнских предков. Из всех народов средневековья одни норманны имели знать, склонную к кочевой жизни. Сыновья лучших семей объединялись под знаменем какого-нибудь норманнского князя и отправлялись в своих легких ладьях в поисках нового отечества. Обычно утверждают, что норманны основали всю знать северной Европы. В этом нет ничего удивительного. Когда молодые знатные норманны попадали в страну, населенную примитивным, невежественным и диким народом, естественно, они становились его предводителями. Потомки их привыкали владеть этой страной и удерживали господство в течение последующих столетий. Но самым характерным для тех норманнов было то, что они не держались особняком от побежденных народов, а женились на женщинах этой страны, усваивали представления, обычаи и веру этой страны. Два столетия спустя после их высадки в Нормандии норманны уже забыли родной язык и говорили между собой по-французски. Когда Вильгельм-завоеватель высадился со своими воинами в Англии, он принес англичанам латинскую, а не норманнскую культуру. Когда норманнская семья графов Оутевиль завоевала Сицилию, с потрясающей быстротой восприняла она византийскую и сарацинскую культуры, которые она нашла в этой стране. В Литве норманны совершенно смешались с местными жителями, передали им свою моральную силу и поставили перед ними задачу создания цивилизации у соседних народов. Все эти кочующие образованные литовцы — в сущности, не что иное, как скрытые норманны. Мужественно, терпеливо и преданно продолжают они неустанно дело своих отцов.

Понятно поэтому, что бедная Литва, отдавшая другим народам цвет своего народа, не может больше оставаться великим государством. Литва знает это и сожалеет. «О Литве нельзя говорить иначе как о в высшей степени интеллигентной нации,— говорит Видунас. — То, что несмотря на это она не оказала влияния на

---

* «Ски» — это окончание польских и литовских знатных фамилий.

«Кто кончается на ски,
Тот польский шляхтич,
Кто кончается на ич,
Сын священника» —

говорит русский поэт Пушкин в одном своем стихотворении.

** Среди знатных русских семей литовского происхождения следует особо упомянуть Романовых, предков царствующей семьи, из рода боруссов, Салтыковых, литовское имя которых было Салтык, князей Голицыных, потомков великого князя Гедимина. В Польше было много знатных семей литовского происхождения, как, например, царствующая семья Ягеллонов.

европейскую культуру, объясняется тем, что литовская интеллигенция постоянно находилась на службе у других наций и не могла, вероятно, дать направление в самой Литве». Видунас, несомненно, с полным правом жалуется на эмиграцию образованных людей из Литвы, но несправедливо утверждать, что Литва не оказала влияния на европейскую культуру. Напротив, ни один народ не сделал так много для развития цивилизации славянских государств, как именно эта маленькая Литва. Другие народы трудились для себя, для собственной славы; Литва же отдала цвет своего духа на службу соседям. Польша, Украина и Россия еще не понимают этого и не испытывают благодарности. Но придет день, когда они ясно увидят, как сильно они виноваты перед этой скромной и молчаливой Литвой.

Достоевские были столь непостоянны, жажда новых идей и впечатлений у них была так велика, что они пытались забыть прошлое и отказывались рассказывать своим детям о жизни их дедов. Но хотя они оттолкнули от себя прошлое, они все же чувствовали потребность соединения со своей кочующей семьей чем-то вроде нити Ариадны. Этой нитью, которая позволяла находить представителей семьи на протяжении столетий, было семейное имя Андрей. Католики Достоевские, жившие в Литве, имели обычай давать это имя одному из сыновей, обычно второму или третьему; а православные Достоевские и по сей день придерживаются этого обычая. В каждом поколении нашей семьи есть Андрей и, как раньше, носит это имя второй или третий сын.

ДЕТСТВО ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО

Окончив Медицинскую академию в Москве, мой дед Михаил в чине штаб-лекаря поступил на военную службу и в этом качестве принял участие в походе 1812 года. Можно предположить, что он вполне овладел своим делом, так как вскоре был назначен главным врачом большой государственной больницы в Москве. В это время он женится на молодой москвичке Марии Нечаевой [14]. Она принесла своему супругу небольшое состояние, но это был брак, основанный главным образом на любви и взаимном уважении. Впрочем, молодая семья ни в чем не нуждалась, так как в те времена государственные должности были весьма прибыльными. Если государство не очень высоко платило своим служащим, оно предоставляло им взамен все, что было необходимо для беззаботного существования. Так, мой дед Михаил, помимо жалованья, получил казенную квартиру — маленький одноэтажный домик, построенный в стиле ложного ампира, в котором строились все казенные здания XIX века. Этот дом находился рядом с больницей и был окружен садом *. Мой дед имел в своем распоряжении прислугу, состоявшую при больнице, и экипаж для посещения больных в городе. Должно быть, у него была большая практика, так как вскоре он смог купить два поместья в Тульской губернии, в 150 верстах от Москвы. В одном из этих поместий — Даровом — Достоевские проводили лето [16]. Дедушка, которого обязанности главного врача задерживали в городе, бывал там только в течение нескольких дней июля. Эти ежегодные путешествия, совершавшиеся в экипаже, запряженном тройкой лошадей, так как тогда еще не было железной дороги, приводили в восторг моего отца, в юности очень любившего лошадей.

Через несколько лет после рождения старших сыновей мой дед Михаил был занесен вместе с ними в книги потомственного дворянства Москвы **. Моему отцу тогда было пять лет. Удивительно, что дед мой, всю жизнь державшийся по возможности подальше от

* В этом маленьком домике 30 октября 1821 г. родился Федор Достоевский [15].

** В эти книги заносили только потомственных дворян. Русские дворяне при приеме в свои союзы отдавали предпочтение дворянам польского, литовского, украинского, балтийского и кавказского происхождения.

москвичей, пожелал поручить свою семью покровительству русского дворянства. Вероятно, он видел в нем литовскую «шляхту», подобием которой был фактически Союз русского дворянства *. Как когда-то его предки отправляли своих сыновей под знамена объединившейся литовской знати, так мой дед отдал своих детей под защиту объединившегося русского дворянства. Хотя он стал московским дворянином, по своему образу мыслей он остался литовским «шляхтичем» — гордым, честолюбивым, имеющим европейский взгляд на многие вещи. Он был очень экономным, почти скупым; но если речь шла о воспитании сыновей, он не экономил. Сначала он отдал старших сыновей Михаила и Федора во французский пансион Сюшара [17]. Так как там не учили латыни, то дед сам стал обучать их латыни. Когда сыновья приходили домой, они выполняли свои французские задания, а вечером отвечали отцу латинские уроки. В его присутствии они не отваживались садиться, стоя спрягали глаголы и старались не делать ошибок, потому что очень боялись его гнева. Дедушка был очень строг; но телесных наказаний его дети не знали. Это заслуживает особого упоминания, так как в то время молодых москвичей изрядно били. Толстой, вспоминая свое детство, рассказывает, что еще в возрасте 12 лет его били розгами. У моего деда был явно европейский взгляд на воспитание. Благодаря соседству Польши и Австрии, Литва и Украина были более цивилизованными странами, чем Россия. Вспоминая позднее о своих детских годах, Достоевский рассказывал младшим братьям Андрею и Николаю, что их родители были людьми, выделяющимися из своего окружения, передовыми по своим взглядам по сравнению с большей частью их современников [18]. Как многие литовцы, предки которых испытали на себе латинское влияние католического духовенства, дед мой питал пристрастие к французскому языку. Со своей женой он говорил по-французски и детей приучал разговаривать между собой на этом языке. Чтобы порадовать его, моя бабушка Мария заставляла своих сыновей и дочерей писать ему на французском языке поздравления с днем именин. Исправив в черновике ошибки, она заставляла потом детей переписывать их на красивой бумаге. В день именин дети друг за другом подходили к отцу и, раскрасневшись, передавали ему перевязанные шелковыми ленточками поздравления. Дед мой разворачивал их, читал взволнованным голосом эти детские пожелания счастья и обнимал маленьких писателей. Позднее старшие сыновья уже не довольствовались больше пожеланиями счастья; чтоб порадовать отца, они выучивали наизусть французские стихотворения и декламировали их в присутствии родителей и братьев и сестер. Так, на одном семейном празднике мой отец прочитал отрывок из «Генриады» [19]. До-

---

* Еще в XVIII веке русские называли свою потомственную знать «шляхетством». Это выражение больше не употребляется, и большинство русских дворян не знает, что институт их потомственного дворянства имеет литовское происхождение.

стоевский унаследовал слабость своего отца к французскому. В его романах и газетных статьях часто можно встретить французские фразы *. Он много читал по-французски и мало по-немецки, хотя знал этот язык также хорошо. В то время немецкий язык не был в моде в России. Но отец мой не забыл его. По-видимому, немецкий язык хранился нетронутым в каком-то уголке его мозга, так как, как только он пересекал прусскую границу, он начинал говорить по-немецки и говорил бегло, как вспоминала моя мать.

Когда старшие сыновья закончили обучение в пансионе Сюшара, дед поместил их в подготовительное училище Чермака, одно из лучших частных учебных заведений Москвы, относительно дорогое, в котором учились сыновья московских интеллигентов. Он отдал их туда на пансион, чтобы они могли делать уроки под присмотром учителей; домой они приходили только в воскресные и праздничные дни. Дворяне Москвы в те времена предпочитали отдавать своих детей в частные школы, так как в казенных учебных заведениях применялись довольно жестокие телесные наказания.

Училище Чермака сохраняло патриархальный характер, там стремились создать подобие семейной жизни. Сам Чермак питался вместе с учениками и обращался с ними по-доброму, как с собственными сыновьями. Для преподавания в своем училище он пригласил лучших учителей Москвы, и занятия там велись очень серьезно [21].

Дед боялся грубости московского народа и не позволял детям гулять на улице. «Нас возили в школу и обратно домой в экипаже отца»,— рассказывал потом дядя Андрей. Отец мой так плохо знал свой родной город, что в его романах не встретишь описания Москвы [22]. Как многие поляки и литовцы, дед мой презирал русских и имел слабость считать их варварами [23]. В своем доме он принимал только московских родственников своей жены. Когда впоследствии мой отец приехал из Петербурга в Москву, он повидал там только своих родителей [24], ни товарищей юности, ни старых друзей отца видеть ему не пришлось.

Сомневался ли или нет мой дед также и в русской цивилизации, однако с детьми своими он об этом не говорил. Он воспитывал их на европейский лад, то есть старался пробудить в них и поддерживать чувство патриотизма. Достоевский в «Дневнике писателя» рассказывает, что во времена его юности отец его вечерами любил читать вслух о событиях русской истории, описанных

---

* Писатель Страхов, близкий друг моего отца, в своих воспоминаниях рассказывает, что он предпочитал говорить с Достоевским на серьезные темы и не любил его шуток, так как шутил он обычно на французский лад. Игра слов и образов, характерная для французского остроумия, редко нравится моим соотечественникам, которым больше по нутру тяжеловесные остроты. Страхов утверждает, что Достоевский шутил à la française не только в разговорах с друзьями, но и в своих романах и газетных статьях [20]. Несомненно, это следствие латинизирующего влияния, унаследованного духом Достоевского.

историком Карамзиным *[25], и разъяснять их потом своим молодым сыновьям. Иногда он водил своих детей в исторические палаты Кремля и московские соборы. Эти экскурсии в глазах его сыновей имели значение великих политических торжеств. Возможно и то, что отчужденность моего деда от москвичей объяснялась столь свойственной многим литовцам застенчивостью. «Литовца влечет одиночество,— говорит Видунас,— он хочет быть сам по себе. Одиночество — своего рода прибежище для него». Этот удивительный страх перед людьми, свойственный литовцам, связан, очевидно, с особенностями самой литовской земли. Как жители равнины, русские, которые, как и украинцы, основывают большие деревни, легко могли отправляться на рынок соседних городов, они встречали там жителей других стран, вступали с ними в сношения, что способствовало развитию у них общительного и гостеприимного нрава. Непроходимые леса и болота Литвы препятствовали возникновению больших деревень. Несколько домов, которые можно было построить на клочке твердой почвы, принадлежали одной единственной семье, которая из-за непроезжих дорог была отрезана от соседних хуторов. Жизнь в одиночестве способствовала развитию у литовцев боязни людей. Чтобы избавиться от этого порока, сформировавшегося в течение столетий, потребуются тоже столетия, даже если живешь уже давно в другой стране и находишься в других условиях **. Литовцы в массе своей отличные супруги и отцы семейства. Только у своего собственного очага чувствуют они себя хорошо. Но эта любовь является источником их ревности по отношению к женщинам и детям, они всячески стараются оградить их от чуждых влияний.

Дед мой, который в центре Москвы как бы заключил своих сыновей в искусственно созданной Литве, по-видимому не понимал, насколько подобное воспитание должно было усложнить жизнь его детям, бывшим теперь все же русскими и служившим среди русских. К счастью, мой дед по крайней мере позаботился, чтобы у них были хорошие товарищи; вечером в праздничные дни вся семья собиралась в гостиной и читали по очереди произведения великих русских писателей. К 15 годам мой отец был уже знаком со многими шедеврами нашей литературы. Детей приучали декламировать заученные стихотворения. Иногда среди мальчиков устраивалось соревнование в декламации. Мой отец и его брат Михаил выучивали русские стихотворения, а родители решали, кто из них лучше читает их. Моя бабушка Мария проявляла большой

* «История России» Карамзина была любимой книгой моего отца, которую он постоянно перечитывал уже в детские годы, пока не выучил наизусть[26]. Это тем удивительнее, что в России как дети, так и взрослые плохо знают историю своей страны.

** Литовцы никогда не забывают о своих лесах; они продолжают страстно любить их, даже если прошли столетия с тех пор, как они их покинули. Достоевский пишет следующее в «Дневнике писателя»: «Всю свою жизнь я любил лес с его грибами, плодами, насекомыми, птицами и белками; страстно любил я запах его влажной листвы. Даже и сейчас, когда я пишу это, я вдыхаю аромат берез».

интерес к чтению ее детей. Она была мягкой, красивой, преданной супругу женщиной, посвятившей всю себя своей семье. Многочисленные роды подорвали ее и без того слабое здоровье *. Она целыми днями оставалась в постели и любила, чтобы сыновья читали ей свои любимые стихи. Старшие, Михаил и Федор, нежно ее любили. Когда она, еще молодая, умерла, они горько ее оплакивали и сочинили стихи, которые дед мой приказал высечь на мраморном памятнике, который он установил на могиле своей верной спутницы [28].

Согласно нравам того времени, мой дед заказал у московского художника свой портрет и портрет жены. Бабушка моя изображена на нем одетой и причесанной по моде 1830 года, молодой, красивой и счастливой. Отец ее был русским уроженцем Москвы, но у нее был украинский тип. Возможно, мать ее имела украинское происхождение **. Может быть, именно поэтому мой дед обратил на нее свое внимание и женился на этой жительнице Москвы. Он изображен на портрете в богато расшитом золотом мундире [30]. В то время в России все было милитаризировано. Врачи, состоявшие на государственной службе, не имели права одеваться в штатское платье, а должны были носить мундир и шпагу. В памяти Достоевского сохранился своего рода образ отца-солдата, тем более что тот начинал свою карьеру штаб-лекарем и всегда имел бравый офицерский вид. У него был тип, характерный для литовца. Четверо его сыновей были очень на него похожи. Но у моего отца были карие глаза, истинно украинские глаза, и от матери унаследовал он добрую улыбку. Он был более живым, страстным и предприимчивым, чем его братья. Родители говорили о нем: «настоящий огонь». Отец мой не был гордым, и ему не было свойственно презрение к народу, то презрение, которое часто выказывают представители польской и литовской интеллигенции. Он очень любил бедных и живо интересовался их судьбой. Высокая решетка отделяла сад моего деда от большого больничного сада, где прогуливались выздоравливающие. Мальчикам Достоевским было строго запрещено подходить к этой решетке; опасались грубого тона и дурных манер московского простонародья. Дети не нарушали этот запрет, за исключением моего отца. Невзирая на гнев родителей, он пробирался к решетке и вступал в беседу с выздоравливающими крестьянами и горожанами. Летом, когда переезжали в Даровое, отец завязывал отношения с крепостными, принадлежавшими его родителям. По рассказам моего дяди Ан-

* У моих дедушки и бабушки было восемь детей — четыре сына и четыре дочери. Одна из последней двойни, близнец моей тети Веры [27], умерла при рождении. Бабушка смогла сама кормить только своего старшего сына Михаила, которого она особенно любила. Других детей вскармливали кормилицы, которых выбирали среди крестьянок из окрестностей Москвы.

** Она была из семьи Котельницких, фамилия, часто встречающаяся на Украине. Это была образованная семья; дядя моей бабушки Василий Котельницкий был профессором Московского университета. У него не было детей, он очень любил своих племянников и часто приглашал моего отца и его братьев на целые дни в свой дом в Новинском [29].

дрея, самым большим удовольствием для его брата Федора была возможность оказать какую-нибудь услугу бедным крестьянам, работавшим на поле.

Мои дед и бабушка были очень религиозны; они часто ходили в церковь и брали с собой детей. Отец мой в своих произведениях вспоминает о том огромном впечатлении, которое производило на него чтение библии в церкви[31]. Вера моего деда Михаила имела мало общего с мистической и истеричной, причитающей и плаксивой религией русских интеллигентов. Мои соотечественники непрерывно жалуются на испытания, которые жизнь посылает всем, обвиняют Бога в жестокости, ругают его и грозят небу кулаком, как глупые дети, которыми они и являются. Литовская вера моего деда была верой зрелого народа, который много страдал и много боролся. Иезуиты, возможно также протестантское духовенство германских рыцарей, учили литовцев благоговеть перед Богом и быть покорными его воле.

Набожные украинцы, считавшие духовную профессию самой прекрасной и достойнейшей, пробудили в семье Достоевских любовь к Богу и внушили желание приблизиться к нему. В этом духе дед мой воспитывал свою молодую жену, своих сыновей и дочерей. Одно детское воспоминание глубоко врезалось в память моего отца. В один весенний вечер внезапно открылась дверь комнаты московского дома, в которой собралась семья моего деда. На пороге появился управляющий имения в Даровом. «Поместье сгорело»,— объявил он трагическим голосом. В первый момент бабушка и дедушка подумали, что они полностью разорены, но вместо того, чтобы причитать и жаловаться, они бросились на колени перед образами и просили Бога дать им силы достойно перенести посланное им испытание. Какой великолепный пример преданности и доверия к Богу подали они тогда своим детям и как часто мой отец вспоминал эту сцену в своей столь неспокойной и несчастливой жизни...

ЮНОСТЬ

Когда старшие сыновья окончили подготовительное училище Чермака, дед взял их с собой в Петербург. У него не было намерения делать их врачами, он желал увидеть их на военном поприще, где в те времена интеллигентный человек мог достичь многого. В России каждый чиновник, имеющий некоторый вес, мог претендовать на пособие для своих сыновей, выдаваемое казенными учебными заведениями. Будучи человеком практичным, мой дед выбрал военно-инженерное училище, которое могло служить двум целям: по его окончании можно было или стать офицером императорского гвардейского полка и сделать блестящую карьеру, или же стать инженером и сколотить большое состояние. Мой дед был очень честолюбив, когда дело касалось сыновей, и непрерывно повторял им, что они должны трудиться неустанно: «Вы бедны,— говорил он им всегда.— Я не смогу оставить вам большого состояния; вы можете рассчитывать только на собственные силы, должны много работать, должны быть осторожными, заключая какие-либо договоры, взвешивать слова и поступки».

В то время отцу моему было 16 лет, дяде Михаилу — 17. Так как они росли, никогда не покидая отцовский дом, не зная жизни, без товарищей, не бывая в обществе, они были большими детьми, наивными и романтичными мечтателями. Страстная дружба связывала обоих братьев. Они жили в мире фантазий, много читали, обменивались литературными впечатлениями и восторгались произведениями Пушкина, бывшего идеалом обоих[32]. Дядя Андрей в своих воспоминаниях[33] рассказывает, что мой дед Михаил никогда не выпускал своих сыновей одних и не давал им денег. Он ревниво следил за их поведением. Не терпел никаких романов, даже самых невинных. Эти юные пуритане осмеливались говорить о женщинах разве что в стихах. Можно себе представить, как веселила эта скромность будущих их товарищей по инженерному училищу, так как любовные похождения у русской молодежи начинаются весьма рано. Достоевский же, вероятно, очень страдал от цинизма молодых его соучеников. Когда в «Братьях Карамазовых» он пишет о том, как Алеша затыкает уши, чтобы не слышать грязные речи его школьных товарищей, возможно, он описывает здесь самого себя. Уезжая в Петербург, они не отдавали себе

отчета, что детство их кончилось, они вступили в новый мир. Во время своего путешествия из Москвы в Петербург, длившегося несколько дней *, молодые Достоевские продолжали витать в мечтах. «Мы с братом стремились тогда в новую жизнь,— рассказывает отец,— мечтали об чем-то ужасно, обо всем «прекрасном и высоком»,— тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. И сколько тогда было и ходило таких прекрасных словечек! Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали все, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи..., а я ...сочинял роман из венецианской жизни»[34].

Большое несчастье ожидало юных мечтателей в Петербурге. Хотя дед мой получил право на два места в инженерном училище для своих детей, он смог устроить туда только второго — Федора. Дядю Михаила сочли слишком слабым для учения в Петербурге и послали его вместе с другими молодыми людьми в Ревель, где имелся филиал инженерного училища. Отчаяние моего отца, когда он узнал, что должен расстаться с братом, было беспредельным. Страдания его усиливались тем, что после отъезда отца в Москву он остался в Петербурге совершенно один, без друзей, без родных. Так как он никого не знал в городе, он должен был и все каникулы проводить в училище **.

Инженерное училище помещалось в бывшем дворце Павла, где этот несчастный император был убит. Дворец этот находится в лучшей части города, напротив Летнего сада, на берегу реки Фонтанки. Залы — большие, светлые, наполненные воздухом и солнцем. Для детей ничего лучшего и придумать было нельзя; как врач, мой дед, несомненно, знал, сколь важную роль в физическом воспитании молодых людей играют пространство и свет. И несмотря на это мой отец не был счастлив в Инженерном замке ***. Совместная жизнь с другими учениками была ему неприятна. Математические науки, которым его учили, ничего не давали его творческой душе. Послушный приказу отца, он добросовестно выполнял свои обязанности, но сердце его не участвовало в этом. Свое свободное время он проводил, сидя в оконной нише, наблюдая за текущей под ним рекой, восхищаясь деревьями в парке,

---

* В это время еще не было железной дороги. Ездили на почтовых или на тройке, уходила почти неделя, чтобы совершить путешествие из Москвы в Петербург.

** Когда дед мой посылал своего сына в Петербургское училище, он рассчитывал на протекцию своего родственника, генерала Кривопишина, который занимал высокую должность в Правлении[35]. Кривопишин не любил своего московского родственника и не захотел принять его сына. После смерти деда генерал все же вспомнил о своих родственных обязанностях, навестил моего отца в Инженерном училище и пригласил к себе. Достоевский, которому тогда было 18 лет, сделался вскоре любимцем всей семьи Кривопишина и отзывался о ней с симпатией в письмах к брату Михаилу.

*** Так называли в Петербурге Инженерное училище. Дворец Павла действительно имел вид настоящего замка.

мечтая и читая... Едва он покинул родительский кров, как у него усилилась унаследованная от литовцев боязнь людей: его влекло одиночество. Новые товарищи не нравились ему. В большинстве своем это были сыновья полковников * и генералов, командовавших полками, расквартированными в различных провинциальных городах. В те времена в провинции читали мало; думали еще меньше. Там трудно было найти серьезную книгу, но на бутылку шампанского хорошей марки всегда можно было рассчитывать. Пили много, в игре делали высокие ставки, флиртовали, танцевали с особой страстью. Родители мало занимались детьми, перепоручая их слугам. Новые товарищи моего отца напоминали молодых животных, полных энергии, они любили смеяться, бегать и играть. Они насмехались над серьезным видом их московского соученика и его страстью к чтению. Достоевский же, в свою очередь, презирал их невежество; ему казалось, что они принадлежат другому миру. Это не должно удивлять; отец мой был старше своих русских сверстников на несколько столетий. «Меня уже тогда изумляли мелочь их мышления, глупость их занятий, игр, разговоров,— писал он позднее. — Они привыкли поклоняться одному успеху. Все, что было справедливо, но униженно и забито, над тем они жестокосердно и позорно смеялись... В 16 лет уже толковали о теплых местечках... Развратны они были до уродливости» [36]. Наблюдения за товарищами пробуждали в Достоевском то литовское презрение, которое ощущал его отец по отношению к русским, презрение цивилизованного человека к невеждам и варварам. Но, презирая своих товарищей, он не бросал их на произвол судьбы. Старшие ученики Инженерного училища вспоминают, что Достоевский охотно защищал новеньких, поступавших в училище, помогал им выполнять задания и ограждал от тирании других учеников. Генерал Савельев, бывший тогда молодым офицером, которому был поручен надзор над классами, рассказывает в своих воспоминаниях, что руководство училища считало Достоевского молодым человеком высокой культуры, с твердым характером и сильно развитым чувством собственного достоинства. Приказам своих начальников он подчинялся охотно, однако отказывался выполнять требования старших товарищей и не принимал участия в их демонстрациях [37]. Это характерно; ведь в русских школах юноши скорее подчиняются старшим товарищам, чем учителям.

В конце концов отец нашел все же друга, молодого Григоровича, который так же, как и он, был русским наполовину: его бабушка с материнской стороны была француженкой. Она много занималась воспитанием внука и сделала из него образованного молодого человека. Веселый и общительный, какими обычно и бывают французы, Григорович охотно играл со школьными товарищами, но предпочитал общество моего отца [38]. Одно объеди-

---

* Должность моего деда в Москве соответствовала чину полковника.

нило их: оба втайне писали и мечтали о том, что станут писателями *.

Несмотря на дружбу с Григоровичем, мой отец не забывал о брате. Они часто переписывались; некоторые их письма были опубликованы [40]. Братья беседовали в них о Расине, Корнеле, Шиллере, Бальзаке, рекомендовали друг другу интересные книги и обменивались литературными впечатлениями. Дядя Михаил использовал свое пребывание в Ревеле для основательного изучения немецкого языка. Позднее он перевел многие произведения Шиллера и Гете, и русская публика высоко оценила эти переводы.

Опубликованы также письма молодых Достоевских к отцу. Они очень почтительны, но все их содержание сводится обычно к просьбам о деньгах. Дед Михаил не был любим своими детьми. У этого литовца, обладавшего такими превосходными качествами, был большой порок: он пил и в состоянии опьянения бывал зол и недоверчив. Пока была жива его жена, выступавшая в роли посредника между детьми и супругом, все шло хорошо. Она имела на него влияние и не давала ему много пить. Но после ее смерти мой дед предался пьянству, не смог больше работать и вышел в отставку. Определив своих младших сыновей Андрея и Николая в училище Чермака и выдав старшую дочь Варвару за москвича, он вернулся в деревню и посвятил себя своему имению. Обеих младших дочерей Веру и Александру он взял с собой и очень осложнил их жизнь. В те времена дочери обычно воспитывались под надзором родителей. Образование, которое они получали, не было широким: французский, немецкий, умение кое-как играть на фортепьяно, танцы, изящное рукоделие. Работали только дочери бедных. Дворянские дочки предназначались для замужества, и их невинность ревниво оберегалась. Мой дед никогда не отпускал своих красивых дочерей одних и сопровождал их в те немногие разы, когда они наносили визит сельским соседям. Усердная бдительность отца задевала моих деликатных тетушек. С ужасом вспоминали они потом, как отец по вечерам заглядывал под кровати в их комнате, проверяя, не спрятались ли там их любовники. Тетки мои были тогда еще настоящими детьми, чистыми и невинными.

Скупость моего деда росла по мере усиления пьянства. Он посылал так мало денег своим сыновьям, что они нуждались во всем [41]. Мой отец не мог позволить себе выпить чашку чая, когда возвращался после занятий, проводившихся иногда под проливным дождем; у него не было смены сапог, а главное — не было денег, чтобы заплатить денщикам, обслуживавшим учеников Инженерного училища. Достоевский возмущался скупостью своего отца,

---

* У отца в это время был еще один друг, молодой Шидловский, соученик его по училищу Чермака. Я не знаю, по какой причине Шидловский много путешествовал и бывал то в Ревеле, то в Петербурге. Таким образом, он был курьером у братьев. Шидловский был поэтом, идеалистом и мистиком. Он оказал на моего отца большое влияние. Судя по его фамилии, Шидловский должен был, конечно, иметь литовское происхождение [39].

из-за которой он подвергался лишениям и унижениям, скупостью тем более недостойной, что у него была земля и деньги, которые он откладывал на приданое своим дочерям. Мой отец говорил себе, что если уж он выбрал для него блестящее и привилегированное учебное заведение, то он должен был бы давать ему достаточно денег, чтобы он мог жить так же, как и его товарищи.

Разлад между отцом и сыном длился недолго[42]. Мой дед Михаил всегда был строг с крепостными. Чем больше он пил, тем более жестоким становился, пока, в конце концов, они его не убили. Однажды летом он поехал из Даровоого в другое свое поместье Чермашню и не вернулся... Его нашли потом на полпути, задушенного подушками из его экипажа. Кучер с лошадьми исчез; исчезли и некоторые крестьяне деревни. При допросе на суде другие крепостные деда признали, что это был акт мести[43].

В момент этой ужасной смерти моего отца там не было. Он не приезжал больше в Даровое, так как ученики Инженерного училища должны были находиться на учениях в окрестностях Петербурга. Это преступление, совершенное столь любимыми им в детстве крестьянами Даровоого, произвело на юношу глубокое впечатление *. Всю свою жизнь он вспоминал об этом и глубоко задумывался над причинами этой страшной смерти. Достопримечательно, что вся семья деда считала эту насильственную смерть позором, никогда не упоминала о ней и не разрешала друзьям Достоевского, знавшим его жизнь в мельчайших подробностях, писать об этом в их воспоминаниях о моем отце[45a]. Вероятно, у моих дядьев и теток были более европейские взгляды на рабство, чем у их русских современников. Преступления, совершаемые крестьянами по мотивам мести, были тогда довольно частым явлением, но этого не стыдились. Жертву жалели, с отвращением говорили об убийцах. Русские наивно полагали, что хозяин может обращаться с крепостными, как с собаками, а они не имеют права бунтовать. Литовская семья моего деда имела свою точку зрения на этот счет.

Мне всегда казалось, что Достоевский, создавая образ старика Карамазова, думал о своем отце. Конечно, это не точный портрет.

---

* Семейное предание гласит, что при известии о смерти отца у Достоевского случился первый припадок эпилепсии[44]. О тогдашнем его душевном состоянии можно только строить предположения, так как вся переписка с братом Михаилом, которая могла бы пролить некоторый свет на этот момент его жизни, утрачена. Впоследствии оба брата никогда не упоминают в письмах об отце, так как, вероятно, эта тема для обоих была слишком болезненна. Некоторые строки из последнего письма перед убийством деда позволяют заключить, что Достоевский знал о некоторых обстоятельствах его жизни в деревне. «Мне жаль бедного отца! — пишет он брату Михаилу. — Странный характер! Ах, сколько несчастий перенес он! Горько до слез, что нечем его утешить. А знаешь ли? Папенька совершенно не знает света: прожил в нем 50 лет и остался при своем мненье о людях, какое он имел 30 лет назад»[45]. Как всегда, ясновидящий взгляд Достоевского позволяет ему угадать главную причину несчастья его отца. Фактически всю свою жизнь мой дед жил как литовец и не дал себе труда изучить характер русского народа. За это незнание он дорого заплатил.

Федор Карамазов выставляет себя на посмешище, дед же мой на протяжении всей жизни сохранял большое достоинство. Карамазов был распутником, Михаил Достоевский искренно любил свою жену и остался ей верен. Старик Карамазов бросает своих сыновей на произвол судьбы и не интересуется больше ими; дед мой дал своим детям хорошее воспитание. Но все же некоторые характерные черты присущи обоим. Достоевский, создавая тип Федора Карамазова, вероятно, вспоминал скупость своего отца, которая причинила его юным сыновьям такие страдания и так возмущала их, и его пьянство, а также и то физическое отвращение, которое оно внушало его детям. Когда он писал, что Алеша Карамазов не чувствовал этого отвращения, а жалел своего отца, ему, возможно, вспоминались те мгновения сострадания, которое боролось с отвращением в душе юноши Достоевского. Этот будущий великий психолог, может быть, в те мгновения понял, что отец его, в сущности, был лишь больным и несчастным человеком... Все же я хотела бы обратить внимание моих читателей на то, что мое мнение о сходстве между дедом Михаилом и стариком Карамазовым — лишь мое предположение, которое я не могу подтвердить никаким документом. Возможно, что оно и вовсе ошибочно[46]. Но, может быть, это не простая случайность, что Достоевский называет деревню, куда старик Карамазов вечером накануне смерти посылает своего сына Ивана, Чермашней *. Мне тем более это кажется вероятным, что, согласно семейному преданию, мой отец в образе Ивана Карамазова изобразил себя. Он полагал, что был таким в 20 лет. Интересно проследить за религиозными убеждениями Ивана Карамазова, его сочинением «Великий инквизитор» и тем большим интересом, который он проявлял по отношению к католической церкви. Нельзя забывать, что лишь три, самое большее четыре поколения отделяют Достоевских от католицизма предков. Католическая религия еще была жива в его душе[47]. Еще примечательнее то, что Достоевский дает старику Карамазову имя Федор и заставляет Смердякова говорить Ивану: «Вы, как Федор Павлович, из всех детей наиболее на него похожи вышли»[48]. Возможно, Достоевского всю жизнь преследовало видение его истекающего кровью отца, и он с болезненным вниманием следил за всеми своими поступками в вечном страхе, что он мог унаследовать пороки отца. Но этого не было; характер Достоевского был совершенно другого рода. Он не любил вина и плохо его переносил, как все нервные люди. Он был добр и нежен по отношению к окружавшим его и не был подозрителен, скорее наивен и доверчив. Достоевского часто упрекали в расточительстве. Никогда не мог он отказать, когда у него просили денег, и отдавал другим все, что имел. Он делал это из любви к ближнему, но, очевидно, также страшась того, что в нем разовьется скупость отца. Этого боялся он тем более, что эта скупость вновь проявилась у его

* Как можно было прочесть выше, мой дед был убит во время поездки в его имение Чермашню.

старшей сестры Варвары и приняла постепенно форму настоящей мании. Возможно, Достоевский говорил себе, что скупость, эта нравственная болезнь, является наследственной в семье и может поразить каждого, кто не остерегся.

Алкоголизм моего деда был роковым почти для всех его детей. Старший его сын Михаил[49] и младший Николай унаследовали эту болезнь. Дядя Михаил, несмотря на свою болезнь, все же мог работать; несчастный же дядя Николай, блестяще закончивший учение, никогда не трудился и всю жизнь был обузой для своих братьев и сестер. Эпилепсия моего отца, причинившая ему столько страданий, была, вероятно, следствием той же причины[50]. Но, конечно, самой несчастной была моя тетка Варвара. Она вышла замуж за довольно богатого человека, оставившего ей после смерти несколько доходных домов в Москве. Эти дома приносили ей хороший доход, ее дети были хорошо устроены и не испытывали ни в чем недостатка. Следовательно, она могла бы обеспечить себе все необходимые в ее возрасте удобства. Но, к сожалению, бедная женщина страдала отвратительной, безусловно патологической скупостью. С отчаянием развязывала она шнурки своего кошелька; малейшие расходы делали ее несчастной. В конце концов она рассчитала прислугу, чтобы не платить ей. Она никогда не отапливала свою квартиру и всю зиму проводила в шубе; она не готовила, дважды в неделю покупала она немного хлеба и молока. Во всей округе много говорили об этой необъяснимой скупости. Уверяли, что у моей тетки Варвары много денег и, подобно всем скупцам, она хранит их у себя. Разговоры эти разбудили фантазию молодого крестьянина, служившего швейцаром у квартирантов моей тетки. Он сговорился с бродягой, блуждавшим в окрестности. Они проникли ночью к ней и убили бедную помешанную. Это преступление, однако, было совершено спустя длительное время после смерти моего отца[51].

Я думаю, что пьянство моего деда было наследственным, ибо личный алкоголизм не мог бы оказать столь разрушительное действие на всю семью. Эта болезнь сохранилась в семье моего дяди Михаила: ею были поражены второе и третье поколения. Сын моей тетки Варвары был настолько глуп, что его глупость граничила с идиотизмом[52]. Старший сын дяди Андрея, блестящий молодой ученый, умер от прогрессирующего паралича[53]. Вся семья Достоевских страдала чрезмерной нервозностью.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Окончив курс в Инженерном замке, Достоевский получил место в инженерном департаменте. Он занимал его неделю и вскоре вышел в отставку. Отца его, который мог бы принудить его к государственной службе, не было уже в живых; к военной службе у него не было склонности, и больше чем когда-либо он желал стать писателем. Молодой Григорович последовал его примеру. Они решили жить вместе, сняли холостяцкую квартиру и наняли слугу. Григорович получал деньги от матери, жившей в провинции, мой отец — из Москвы от опекуна, предоставившего ему достаточные для скромного существования средства. К сожалению, у моего отца всегда были самые фантастические представления об экономности. Всю жизнь он был тем литовским шляхтичем, который тратит все, что есть у него в карманах, не спрашивая себя, на что он будет жить завтра. Он не изменился и с возрастом. Я вспоминаю одно путешествие, которое мы совершили все вместе в его последние годы, чтобы провести лето на Украине у дяди Ивана[54]. Мы должны были задержаться на несколько дней в Москве, и, к величайшей досаде моей матери, Достоевский остановился в лучшей гостинице города и снял номер в первом этаже, тогда как в Петербурге у нас была очень скромная квартира. Как ни протестовала моя мать, никогда она не могла обуздать расточительство своего супруга. Когда в дни семейных праздников приглашались родственники, мой отец всегда вызывался покупать деликатесы для закуски, играющей столь большую роль на русских обедах, а также фрукты и десерт. Если моя мать проявляла неосторожность и разрешала ему это, Достоевский шел в лучшие магазины города и покупал все, что мог найти лучшего. Я всегда смеюсь, когда читаю, как Дмитрий Карамазов делает покупки у Плотникова перед поездкой в Мокрое. Я вновь вижу себя в Старой Руссе в той же лавке Плотникова, куда я заходила иногда с отцом и с заинтересованностью маленькой лакомки следила за его оригинальным способом делать покупки. Когда я шла туда с матерью, она выходила оттуда со скромным пакетиком в руке. Если же я сопровождала туда отца, мы покидали магазин с пустыми руками, но впереди нас или позади шли два мальчика и несли большую коробку, радостные и довольные в предвкушении хороших чаевых. Как истый шляхтич, отец мой никогда не задавался вопро-

сом, беден ли он или богат. В прежние времена польская и литовская знать голодала у себя дома, но на публичные сборища являлась в позолоченных каретах и роскошных бархатных одеяниях. Знатные люди были все в долгах, оплачивали только десятую часть того, что им ссужалось, никогда не думали о своем финансовом положении, развлекались, смеялись и танцевали. Подобные национальные пороки претерпевают изменения только в течение столетий. Еще многие потомки Достоевского будут страдать от безрассудной страсти к расточительству их предков. Но есть большая разница между литовскими шляхтичами и моим отцом. Те думали только о веселой жизни, не заботясь о других. Он же подавал милостыню всем беднякам, встречавшимся на его пути, и никогда не мог отказать в деньгах, когда ему рассказывали о своем несчастье и просили о помощи. Чаевые, которые он раздавал прислуге за малейшую услугу, были баснословны и приводили мою бедную мать в бешенство [55].

Неудивительно, что мой отец при таком образе жизни тратил больше, чем мог послать ему из Москвы опекун. Он делал долги и, чтобы развязаться со своими кредиторами, предложил опекуну, что откажется от прав на наследство за довольно скромную, но выплачиваемую немедленно сумму. Будучи неосведомленным в газетном и издательском деле, Достоевский наивно полагал, что сможет добыть себе средства к существованию писательством. Опекун согласился на сделку, чего он не должен был бы делать ни в коем случае. Мои тетки заметили, что их брат Федор ничего не понимал в делах и ему можно было делать самые невыгодные предложения. Позже они и попытались сделать это, когда семья Достоевских получила другое наследство, и борьба, которую мой отец вынужден был вести против притязаний своих сестер, бросила тень на конец его жизни. Об этом я буду подробнее говорить в последних главах моей книги [56].

Оплатив долги, Достоевский быстро истратил оставшиеся деньги. Он попытался поправить дело переводами *, но это не принесло ему большого дохода. Тогда ему на помощь пришла тетка Куманина, назначив ему пенсию. Она была сестрой его матери, вышла замуж за богатого и жила в красивом доме в Москве, окруженная толпой преданных слуг, обихаживаемая и развлекаемая бесчисленными приживалками, бедными женщинами, трепетавшими перед ней и исполнявшими все прихоти богатой деспотичной барыни. Она покровительствовала своим племянникам и племянницам и особое предпочтение отдавала моему отцу, всегда бывшему ее любимцем. Она одна из всей семьи знала ему цену и всегда была готова помочь. Отец мой очень любил свою старшую тетку Куманину, хотя и несколько подтрунивал над ней, что обычно свойственно юным племянникам. Он изобразил ее в «Игроке» в лице старой московской бабуленьки, которая приезжает в Германию, играет в рулетку, проигрывает половину своего

* В это время он сделал отличный перевод «Евгении Гранде» Бальзака.

состояния и так же поспешно, как приехала, возвращается в Москву. В то время, когда в Германии процветала рулетка, Куманина была слишком стара для путешествий. Но, возможно, она играла в карты в Москве и проигрывала большие суммы. Посылая ее в Германию и заставляя рядом с собой играть в рулетку, Достоевский, может быть, хотел показать, от кого он унаследовал страсть к игре.

Ошибочно было бы утверждать, что мой отец тратил много денег для собственного удовольствия. Достоевский в молодости был чрезвычайно прилежен и трудолюбив. Он редко выходил из дома, все дни проводил за письменным столом, беседовал со своими героями, смеялся, плакал и страдал с ними. Его друг Григорович, лучше знавший свет, не только писал, но и завязывал знакомства, которые могли оказаться полезны для его дальнейшего преуспевания, получил доступ в литературные круги и представил там также своего друга Достоевского. Григорович был красив, жизнерадостен и элегантен, ухаживал за дамами и всех приводил в восторг. Мой отец был неловок, робок, нелюдим, скорее некрасив; он мало говорил и больше слушал. В этих салонах оба друга встречались с Тургеневым, также приехавшим в Петербург по литературным делам. Отец восхищался им. «Я влюблен в Тургенева,— писал он наивно своему брату Михаилу, служившему после окончания военного училища офицером в Ревеле. — Он так красив, так привлекателен, так элегантен!» Тургенев самодовольно принимал восхищение моего отца — он для него был совершенный нуль.

Григоровичу удалось познакомиться с поэтом Некрасовым, собиравшимся издавать литературный журнал. Григоровичу хотелось тем или иным способом принять участие в этом журнале. Первые его произведения еще не были вполне закончены — слишком уж много времени он проводил в обществе,— но он знал, что мой отец написал роман, который постоянно переделывал, боясь, что он все еще недостаточно хорош. Григорович убедил его доверить ему рукопись и показал ее Некрасову. Тот спросил, знает ли он произведение своего друга, и когда услышал, что у Григоровича еще не было времени прочесть его, предложил ему просмотреть вместе две или три главы, чтобы решить, достойно ли оно напечатания.

Они прочли, не отрываясь, этот первый роман * моего отца. За окнами брезжил рассвет, когда они кончили. Некрасов был потрясен. «Пойдем к Достоевскому,— предложил он Григоровичу. — Я хочу ему сказать, что я думаю о его произведении». «Но он

---

* Роман этот назывался «Бедные люди». До его написания он начал трагедию «Мария Стюарт», которую отложил, чтобы писать драму «Борис Годунов». Выбор тем очень характерен. Вероятно, в сердце Достоевского в годы его ранней юности боролись мир его предков-норманнов с отцовской стороны и монгольский мир его московских предков. Но славянская кровь оказалась сильнее и одержала верх над норманнами и монголами. Достоевский отложил в сторону «Марию Стюарт» и «Бориса Годунова» и дал нам «Бедных людей», преисполненных столь любезным нам славянским состраданием.

спит, ведь еще ночь»,— отвечал Григорович. «Что из того! Это выше сна». И энтузиаст в сопровождении Григоровича побежал и разбудил отца в 5 утра, чтобы сообщить ему, что у него большой талант.

Потом рукопись дали известному критику Белинскому, который, прочтя ее, пожелал видеть юного сочинителя. Достоевский, дрожа от волнения, вошел к нему. Белинский встретил его со строгим видом. «Знаете ли Вы, что Вы написали, молодой человек?» — сказал он ему. — Нет, Вы не знаете. Вы еще не можете понять это» [57].

Некрасов опубликовал «Бедных людей» в своем журнале [58], и они имели большой успех. Неожиданно мой отец стал знаменит. Все хотели с ним познакомиться. «Кто же этот Достоевский?» — слышалось со всех сторон. Отец уже давно посещал литературные салоны, и никто не обращал на него внимания. Этот робкий литовец всегда забивался в угол или в нишу окна, или же искал убежища за ширмой.

Теперь ему не позволили больше прятаться. Его окружили, говорили ему лестные вещи, заставляли его говорить и находили его очаровательным. Помимо литературных салонов, куда допускались собиравшиеся стать писателями или интересовавшиеся литературой, были в Петербурге и другие, более интересные салоны, куда были вхожи только писатели, художники и известные музыканты. Так, например, салон князя Одоевского, выдающегося писателя, салон графа Соллогуба [59], романиста с большим вкусом, давшего очень точные описания русской жизни первой половины XIX века, далее салон графа Виельгорского, обрусевшего поляка. Все эти знаменитости стремились познакомиться с Достоевским, приглашали его к себе и сердечно принимали. Отец особенно хорошо чувствовал себя у Виельгорских, где можно было услышать отличную музыку. Достоевский страстно любил музыку. Но я не думаю, чтобы у него был музыкальный слух, так как он отказывался слушать не известные ему вещи и предпочитал уже знакомые. Чем чаще он их слушал, тем большее наслаждение получал.

Граф Виельгорский был большим любителем музыки, покровительствовал музыкантам и обладал способностью отыскивать их в самых темных закоулках столицы. Вероятно, образ какого-то бедного, предающегося пьянству, честолюбивого и ревнивого скрипача, которого граф Виельгорский нашел на чердаке и пригласил играть на своих музыкальных вечерах, произвел впечатление на моего отца, так как для графа Виельгорского издал он свой роман «Неточка Незванова». Описывая здесь женскую психологию, он создает истинный шедевр, возможно, однако, не до конца понятый читателями по причине его юношеской неопытности. Говорят, что графиня Виельгорская была урожденная княгиня Бирон. Теперь считают, что князья Бироны, бывшие родом из Курляндии, скорее принадлежат к европейским династиям, чем к европейскому дворянству. Читая внимательно «Неточку Незванову», вскоре замечаешь, что князь Х-ий, оказавший гостеприимство

бедной сироте, конечно, был человеком хорошего общества и хорошего воспитания, но именно его жена, гордая и высокомерная, задает в доме княжеский тон. Все окружающие говорят о ней, как о государыне. Ее дочь Катя — настоящая маленькая принцесса, избалованная и капризная, то терроризирующая своих подданных, то вновь осыпающая их своими милостями. Дружба ее с Неточкой с самого начала страстна, даже несколько эротична. Эту эротику в романе Достоевского русские критики строго порицали, и все же отец был совершенно прав, так как эти бедные немецкие принцессы, никогда не имевшие права выйти замуж по любви и приносившие себя в жертву на благо государства, часто питали страстную и даже эротическую дружбу к существам женского пола. Эта болезнь наследственная, и она могла проявиться у потомков, у маленькой Кати, рано созревшего ребенка. У Виельгорских не было дочерей; образ Кати создан целиком и полностью Достоевским, он возник у него после более близкого знакомства с княжеской четой. Создавая образ этой маленькой невротичной принцессы, Достоевский обнаруживает знание женской психики, удивительное для робкого молодого человека, не осмеливающегося и приблизиться к женщинам. Талант его в это время был уже огромен; к сожалению, ему не хватало типов. Нет ничего более блеклого, тусклого, чем эти несчастные петербуржцы, родившиеся и выросшие в болоте. Они лишь копия, пародия, карикатура на Европу. «Эти люди все давно уже умерли,— сказал русский писатель Михаил Салтыков. — Они продолжают жить только потому, что полиция забыла их похоронить».

Друзья Достоевского, молодые писатели, начинавшие свой путь в литературе, не могли перенести его неожиданный успех. Они стали завидовать моему отцу, выходили из себя при мысли о том, что этот скромный и робкий молодой человек был принят в салонах знаменитостей, куда не имели доступа начинающие литераторы. Они не могли оценить его роман по достоинству. «Бедные люди» казались им скучными и смешными. Они пародировали их в прозе и стихах и безжалостно издевались над молодым автором [60]. Чтобы повредить ему в общественном мнении, приятели Достоевского распространяли о нем смешные анекдоты. Они уверяли, что успех вскружил ему голову и он потребовал, чтобы каждая страница его второго романа, который должен был появиться в журнале Некрасова, была взята в рамку с целью выделить его из других произведений этого обозрения. Разумеется, это было ложью; роман «Двойник» вышел без всяких рамок [61]. Друзья Достоевского высмеивали его робость с женщинами и рассказывали, будто бы он от волнения упал в обморок к ногам юной красавицы, когда его ей представили. Отцу моему было очень больно, что пришлось похоронить свои иллюзорные представления о дружбе. Он иначе понимал дружбу; он наивно полагал, что его друзья будут рады его успеху, как и он, конечно, радовался бы их успеху. Особенно больно задела отца злоба Тургенева, который, вне себя от успеха «Бедных людей», не знал уже, что бы ему

такое изобрести, чтобы навредить Достоевскому. А он так его любил, так искренне им восхищался! С этого времени начинается их вражда, длившаяся всю их жизнь и заставившая так много говорить о себе в России [62].

Если вспомнить всех друзей моего отца за всю его жизнь, то можно заметить, что друзья ранней юности совершенно отличались от друзей зрелой поры его жизни. До сорока лет Достоевский окружен почти исключительно украинцами, литовцами, поляками и балтами [63]. Григорович, полуукраинец, полуфранцуз, предлагает дружбу моему отцу и старается найти ему издателя для его первого романа; Некрасов, чья мать была полькой, способствует его первому успеху; Белинский, поляк или литовец по происхождению, открывает талант Достоевского русской публике. Граф Соллогуб, потомок большой литовской семьи, и граф Виельгорский, поляк, сердечно принимают его в своих салонах. Потом, в Сибири, Достоевский оказывается под защитой шведа и балтов [64]. Надо полагать, что все эти люди видели в нем европейца, человека западной культуры, писателя, являющегося носителем славяно-норманнской идеи. В то же время все русские — его враги. Его товарищи в Инженерном замке жестоко издеваются над ним; молодые его друзья-литераторы ненавидят и презирают его, пытаются его высмеять. Можно было бы подумать, что они чувствуют в нем что-то враждебное их русскому идеалу.

После сорока, когда Достоевский определенно принимает русскую идею, национальность его друзей совершенно меняется. Славяно-норманны исчезают из его жизни. Русские ищут его дружбы и охраняют его. И после его смерти они продолжают так же ревностно, как и прежде, охранять его. Я так часто говорю о литовском происхождении нашей семьи, что мои соотечественники хмурятся и с негодованием возражают: «Ах, забудьте Вы эту злосчастную Литву! Уже прошло столько времени, как Ваша семья ее покинула. Ваш отец был русский, самый русский из всех русских. Никто не понимал Россию так хорошо, как он».

Я улыбаюсь, когда вижу эту ревность, являющуюся по сути любовью. Я думаю, что русские, собственно, правы, так как именно они дали Достоевскому его великолепный талант. Литва сформировала его характер и его дух, Украина пробудила поэзию в сердцах его предков; но весь этот столетиями собиравшийся хворост воспламенился только, когда святая Русь бросила туда искру его великого гения...

Первый роман отца написан, несомненно, очень хорошо, но он не оригинален. Он является подражанием гоголевскому роману, имитировавшему, в свою очередь, французскую литературу. «Отверженные» Виктора Гюго с их изумительным Жаном Вальжаном дали начало этому новому литературному движению. Конечно, «Отверженные» были написаны позднее; но фигура Вальжана, этого каторжника с большим благородством души, уже начала появляться в Европе. Демократические идеи, разбуженные французской революцией, побудили писателей поставить бедных людей,

крестьян и мелких буржуа на одну ступень со знатью и интеллигентными представителями крупной буржуазии. Это новое литературное направление очень пришлось по вкусу русским, никогда не имевшим феодальной аристократии и поэтому всегда приверженным демократическим идеям. Русские писатели, бывшие тогда светскими, хорошо образованными людьми, не хотели больше описывать салоны; они искали своих героев на чердаках. Они не имели ни малейшего представления об этих людях и вместо того, чтобы описывать их такими, какими они были в действительности, — невежественными и отупевшими от нищеты, наделяли своих новых героев рыцарскими чувствами, заставляли их писать письма, достойные мадам де Севиньи. Это было фальшиво и бессмысленно; и все же эти романы создали ту превосходную литературу XIX столетия, которая составляет славу нашей страны. Постепенно начали понимать, что нужно знать тот мир, о котором собираешься писать. Начали наблюдать за жизнью крестьян, духовенства, купечества и буржуа, появились отличные описания русской жизни, которую еще мало знали. Но это было намного позже. В то время, о котором говорю я, русские писатели писали скорее ради элегантной моды и создавали в высшей степени смешные произведения.

Отец мой, несомненно, почувствовал фальшь этих романов, ибо попытался отойти от этого нового литературного направления во втором своем романе. «Двойник» — это роман, представляющий бесконечно более высокую ценность, чем «Бедные люди». Он оригинален, это уже подлинный Достоевский. Психиатры нашей страны чрезвычайно восхищаются этим небольшим шедевром и поражаются, как молодой писатель, никогда не изучавший медицину *, так хорошо смог описать последние дни сумасшедшего. И все же этот второй роман отца не имел успеха первого. Он был слишком нов; такой скрупулезный анализ человеческого сердца, позднее столь полюбившийся, еще не был понятен. Сумасшедшие еще не вошли в моду; этот роман без героя и героини находили скучным. Критики не скрывали свое разочарование. «Мы ошиблись,— писали они,— талант Достоевского гораздо менее значителен, чем мы думали». Был бы мой отец старше, он не обратил бы на критиков никакого внимания, продолжал бы следовать своей новой манере, приучил бы к ней читателей и уже тогда представил бы им исключительное психологическое исследование. Но он был тогда слишком молод; критика могла сбить его с пути. Отец боялся лишиться прекрасного успеха своего первого романа и вернулся вновь к ложному жанру Гоголя.

На этот раз он не хотел больше писать, исходя из своего «Я». Он изучал новых героев русской литературы, искал обитателей

---

* Достоевский оценивал «Двойника» очень высоко. В письме, отправленном брату Михаилу после возвращения из Сибири, отец, говоря о «Двойнике», пишет следующее: «Это была превосходная идея, величайший тип по своей социальной важности, который я первый открыл и которого я был провозвестником».

чердаков в маленьких чайных, маленьких трактирах столицы. Он вступал с ними в беседу, наблюдал за ними, подробно записывал их нравы и привычки. Так как Достоевский был робок и не знал, как к ним подступиться, он предлагал им поиграть с ним в бильярд. Играть он не умел, и эта игра его не интересовала, естественно, он потерял много денег. Но он не жалел об этом, так как во время игры он делал удивительные наблюдения и записывал оригинальные выражения *. После нескольких месяцев изучения этой своеобразной среды, ранее ему не известной, Достоевский стал описывать этих маленьких людей такими, какими они были в действительности, и думал этим доставить радость читателям. Но, к сожалению, успех был еще меньший, чем прежде. Русская публика, конечно, интересовалась этими несчастными, но только при условии, что они ей преподносились à la Жан Вальжан. Их действительная ничтожная и обыденная жизнь никого не интересовала.

Тогда Достоевский усомнился в своем даровании. Его здоровье пошатнулось, он стал нервным и истеричным. Эпилепсия уже имелась в зародыше в его организме, и, хотя припадков еще не было, чувствовал он себя очень подавленным **. Он избегал теперь посещать салоны, часами запирался дома или блуждал по самым темным и отдаленным улицам Петербурга. Во время ходьбы он разговаривал сам с собой, жестикулировал, так что прохожие оглядывались на него. Друзья, встречавшие его, считали его сумасшедшим. В этом бесцветном и ограниченном Петербурге угасал его талант. Люди из общества были лишь карикатурой на европейское общество, население вело свое происхождение от финно-тюрков, низкой расы, которая не могла дать Достоевскому представление о великом русском народе. У него не было денег для поездки в Европу, на Кавказ или в Крым — путешествие стоило очень дорого в те времена. Отец мой погибал в Петербурге и чувствовал себя счастливым только у брата Михаила, который тоже поселился в столице и, оставив военное поприще, решил себя целиком посвятить литературе. Он женился на немке Эмилии Дитмар, и у них было несколько детей. Мой отец очень любил своих племянников; детский их смех рассеивал его меланхолию.

---

* Друзья Достоевского рассказывают в своих воспоминаниях, что он часто приглашал к себе незнакомых, встреченных им в трактирах, и целый день беседовал с ними и слушал их рассказы. Друзья отца не могли понять удовольствие, которое он получал от разговора с простыми людьми; читая потом его романы, они находили в них те типы, с которыми встречались у Достоевского. Вероятно, отец, как все молодые таланты, мог тогда писать только с натуры. Впоследствии ему не нужны были прототипы, он создавал своих героев сам.

** Доктор Яновский, очень любивший моего отца и часто приглашавшийся для консультации по поводу его здоровья, рассказывает, что задолго до каторги Достоевский страдал нервной болезнью, очень похожей на эпилепсию [65]. Как я выше упоминала, семья моего отца утверждала, что первый припадок случился у него, когда он узнал о трагической смерти моего деда Михаила. Очевидно, что Достоевский страдал эпилепсией с 18-летнего возраста. Однако только после каторги она перешла в тяжелую форму [66].

4 Заказ № 86

Удивительно, в жизни Достоевского этого периода первой молодости, которая у большинства людей посвящена любви, не встречается ни одна женщина. Ни невесты, ни связи, ни даже флирта! Это необычайное воздержание можно объяснить только поздним развитием его организма, что нередко имеет место на севере России. Русский закон позволяет женщине вступать в брак с 16 лет; но только недавно, за несколько лет перед войной, русские ученые начали протестовать против этого варварского закона. Согласно их наблюдениям, организм русской женщины полностью созревает только к 23 годам. Если она выходит замуж раньше, то роды могут ей очень повредить и навсегда испортить ее здоровье. Этому нецелесообразному закону наши врачи приписывают нервозность и истерию, составляющие несчастье столь многих русских браков. Если ученые правы, тогда полное созревание организма русского мужчины на севере отодвигается к 25 годам, так как везде мужчины развиваются позднее, чем женщины. Организмы больные, как при эпилепсии, будут развиваться еще медленнее. Возможно, чувства Достоевского в этом возрасте еще не проснулись. Его развитие было подобно развитию гимназиста, восхищающегося женщинами на расстоянии, испытывающего перед ними страх, но не нуждающегося в них. Коллеги моего отца, изобретавшие анекдоты о его обмороках при виде юных красавиц[67], конечно, заметили эту особенную робость перед женщинами*. Период страстей начинается у моего отца только после каторги, и тогда он уже не падает больше в обморок.

Героини первых романов Достоевского бесцветны, расплывчаты, нежизненны. В этот период ему удались только два женские портрета — маленькой Неточки Незвановой и Кати, девочек десяти и двенадцати лет. Этот роман — лучший, наряду с «Двойником», этого периода. Он имеет только один недостаток, присущий почти всем романам Достоевского: его герои слишком интернациональны. Они могут жить под любым небом, говорить на всех языках, переносить любой климат. У них нет отечества, и они, как все космополиты, бесцветны, неопределенны, расплывчаты. Чтобы их оживить, им надо придумать национальность. Это Достоевский сделал в Сибири.

---

* Доктор Ризенкампф, хорошо знавший моего отца в этот период его жизни, пишет в своих воспоминаниях: «В 20 лет молодые люди ищут обычно идеал женщины и бросаются за каждой юной красавицей. Ничего подобного нельзя было заметить у Достоевского. Он был равнодушен к женщинам, питал почти антипатию к ним.»[68] Однако Ризенкампф добавляет, что Достоевский интересовался сердечными делами своих друзей и охотно пел сентиментальные романсы. На всю жизнь сохранил Достоевский свою привычку петь то, что ему нравилось. Он пел вполголоса, особенно когда считал, что находится один в своей комнате.

ЗАГОВОР ПЕТРАШЕВСКОГО

В этот печальный период жизни мой отец был втянут в политический заговор Петрашевского. Те, кому позднее были знакомы монархические идеи Достоевского, никогда не могли понять, как мог он связаться с революционерами. Это действительно нельзя объяснить, забыв о литовском происхождении Достоевского. Он вступил в заговор против царя, потому что еще не понимал истинного смысла русской монархии.

В то время Достоевский плохо знал Россию. Детство свое он провел как бы в Литве, искусственно созданной его отцом в центре Москвы. В юности, в Инженерном училище, он держался по возможности подальше от своих русских товарищей. Став писателем, он вращался в литературном обществе Петербурга, состоявшем в большей своей части из выходцев из всех стран. Тогда Россия была почти неизвестна; у нас не было географов, не было историков. Путешествия были затруднительны и дорогостоящи. В стране не было ни железных дорог, ни пароходов. Крепостные крестьяне обрабатывали свои земли и молчали; мужика называли «сфинксом». Русские писатели жили европейским духом, читали только французские, английские и немецкие книги и разделяли европейские идеи свободы. Вместо того чтобы разъяснять Западу русские идеи, они наивно просили его разъяснить им, что такое Россия. Если уж мои соотечественники плохо знали Россию, то Европа совсем ее не знала. Европейские писатели, ученые, государственные деятели и дипломаты не знали русского языка, не путешествовали по России и не давали себе труда изучать у себя дома, что такое мужик. Им было достаточно расспросить политических эмигрантов, живших в их городах. Все эти евреи, поляки, литовцы, армяне, финны и латыши не знали русского языка и говорили на ужасно исковерканном языке. Однако это не мешало им обращаться к Европе «во имя русского народа». Они уверяли европейцев, что мужики страдают под игом царя и с нетерпением ожидают того, чтобы народы Европы освободили их и дали им, наконец, ту европейскую республику, о которой, опять-таки по утверждению эмигрантов, мужик мечтал денно и нощно. Европа верила им на слово. Только сегодня, когда Европа увидела на месте бывшего царизма пораженчество и большевизм, она начала понимать, что, возможно, была обманута русскими беженцами.

Но пройдет еще много времени, прежде чем Европа поймет истинную Русь. До тех пор еще не раз ждут ее болезненное пробуждение и разные неприятные неожиданности, припасенные для нее русским колоссом.

Ко времени дела Петрашевского отец мой был больше литовцем, чем русским, и Европа была ближе его сердцу, чем его отечество. Романы, созданные им до каторги, подражают европейским. Шиллер, Бальзак, Диккенс, Жорж Занд, Вальтер Скотт были его учителями. Он верил европейским газетам, как евангелию; он мечтал о том, чтобы жить в Европе, уверял, что он только там может научиться писать, говорил об этом путешествии в своих письмах друзьям и был огорчен, что из-за недостатка денег не может его предпринять. Мысль, что он, чтобы стать великим русским писателем, должен был бы сначала обратиться к Востоку, а не к Западу, вообще не приходила ему в голову. Примесь монгольской крови у русских была глубоко неприятна Достоевскому, в этот период жизни он был совсем Иваном Карамазовым.

Тогда близка была отмена крепостного права. Все говорили об этом, все были убеждены в необходимости этого. Наше правительство, как всегда, медлило с проведением этой реформы. Русские, знающие, что их национальным пороком являются медлительность и лень, понимали, что обещанного три года ждут. Поляки, литовцы и балты, однако, не понимали этих колебаний и считали, что царь никогда не даст свободу своему народу. Они хотели низвергнуть его, чтобы самим освободить крестьян. Достоевский разделял их беспокойство. Он не знал восточной медлительности, всю свою жизнь он был деятелен и энергичен. Если мысль казалась ему справедливой, он немедленно претворял ее в действие; медлительность и лень русских бюрократов были ему непонятны. Достоевский не мог забыть о трагической кончине своего отца и пламенно желал отмены крепостного права, которое делало хозяев жестокими, а рабов — преступниками. В том состоянии духа, в котором находился тогда мой отец, встреча с Петрашевским должна была состояться неизбежно. Судя по фамилии, он был поляк или литовец по происхождению, и это общее происхождение еще теснее связало их друг с другом. Петрашевский был красноречив, ловок и сумел объединить вокруг себя всех молодых мечтателей Петербурга и вдохновить их. Мысль пожертвовать собой для блага ближнего очень соблазнительна для юных и великодушных сердец, особенно если их жизнь так печальна, как у моего отца. Когда Достоевский одиноко блуждал по темным улицам Петербурга, он часто мог говорить себе, что было бы лучше отдать жизнь за великое дело, чем влачить бесполезное существование.

Процесс Петрашевского — наименее известный из всех политических процессов России. Секретные документы, которые были опубликованы, дают лишь малое представление о довольно банальном политическом салоне, где собирались молодые люди, чтобы повторять общие места об идеях, пришедших из Европы, чтобы

брать запрещенные цензурой книги и произносить пламенные речи из революционных брошюр. Но отец всегда утверждал, что речь шла о политическом заговоре, о свержении царя и создании в России республики интеллигентов. Вероятно, Петрашевский, готовивший отряд добровольцев, доверил только некоторым избранным тайную цель предприятия. Возможно, Петрашевский, знавший ум, мужество и моральную силу Достоевского, предназначал для него одну из главных ролей в будущей республике * [69].

Дядя Михаил тоже интересовался этим обществом, но так как он был женат и был отцом семейства, он считал более благоразумным не слишком часто посещать вечера у Петрашевского. Но он пользовался запрещенными книгами из его библиотеки. Дядя Михаил был тогда большим почитателем Фурье и изучал его утопические теории. Дядя Андрей также посещал собрания у Петрашевского [71]. Он был тогда еще совсем молод и только начал заниматься в высшем учебном заведении. Между ним и братьями были разница в возрасте в несколько лет, и он относился к ним скорее, как к главным в семье, чем как к товарищам. Старшие братья, в свою очередь, обращались с ним, как с маленьким мальчиком. Таких отношений нет в русских семьях, но они часты в польских и литовских семьях. Отец мой никогда не говорил с младшим братом о политике, так что дядя Андрей и не предполагал, какую роль тот играл в кружке Петрашевского. Андрей Достоевский не обладал литературным талантом своих братьев; но семейная привычка читать вслух, которой мой дед продолжал следовать для блага своих младших сыновей, развила в нем большой интерес к литературе. Впоследствии, находясь на государственной службе в различных провинциальных городах, он всегда умел собрать вокруг себя образованных людей. Он слышал об интересном обществе, собиравшемся у Петрашевского, и попросил одного из друзей представить его. Присутствуя на нескольких собраниях, он не встретил там моего отца. В один из вечеров, переходя от одной группы к другой и с интересом прислушиваясь к политическим спорам молодых людей, дядя Андрей внезапно столкнулся со своим братом Федором, лицо которого было бледно и искажено гневом.

«Что ты здесь делаешь? — с ужасом спросил он его. — Иди прочь отсюда, иди немедленно и чтобы больше я тебя в этом доме никогда не видел!»

Мой дядя так был напуган гневом брата, что сразу же ушел из салона Петрашевского и больше туда не приходил [72]. Когда потом полиция раскрыла заговор, все три брата были арестованы.

* По мнению одного из членов общества Петрашевского, мой отец был единственным истинным типом заговорщика; он был молчалив, мало общителен и не любил изливать душу перед каждым встречным, как принято в России. Всю жизнь он оставался скрытным человеком, даже по отношению к моей матери, которой в первое время после свадьбы лишь с трудом удавалось заставить его рассказать о своей прошлой жизни [70]. Только тогда, когда Достоевский увидел, что его вторая жена действительно предана ему, он открыл ей свое сердце и не имел больше тайн от нее.

Наивные ответы дяди Андрея показали судьям, что он не имел представления о заговоре, и вскоре его отпустили. Гнев брата спас его. Дядя Михаил провел в тюрьме несколько недель. Достоевский позднее говорил в «Дневнике писателя», что его брат Михаил много знал. Вероятно, у моего отца не было от него тайн[73]. Дядя Михаил также умел молчать и ничего не признал. Он легко смог доказать, что бывал у Петрашевского редко и только брал у него книги. Наконец, его отпустили, и князь Гагарин, занимавшийся его делом и знавший о дружбе, связывавшей двух братьев, поспешил сообщить моему отцу, что его брат на свободе и он может не беспокоиться о нем. Отец никогда не забыл о благородном поступке князя Гагарина и писал потом об этом в «Дневнике писателя».

С Достоевским обошлись суровее, чем с его братьями. Его поместили в Петропавловскую крепость[74], эту страшную тюрьму для политических заговорщиков. Там провел отец самые печальные месяцы своей жизни. Он не любил говорить об этом, ему хотелось их забыть. И удивительным образом роман «Маленький герой», написанный им в тюрьме,— самый поэтичный, прелестный, молодой и свежий из всех его произведений. Когда его читаешь, можно подумать, что Достоевскому хотелось, чтобы аромат цветов, поэтическая сень большого парка с его столетними деревьями, свежий смех детей, красота и элегантность молодых женщин заполнили мрачную тюрьму. В Петербурге было лето, а солнце едва скользило по влажным стенам старой крепости...

Как всегда в России, процесс Петрашевского затянулся надолго. Была уже осень, когда правительство, наконец, нашло возможным всерьез заняться заговорщиками. Наши политические процессы почти всегда велись военными судами; во главе генералов, которым было поручено дело петрашевцев, был Яков Ростовцев. Впоследствии он был назначен председателем комиссии по освобождению крестьян и вел энергичную борьбу с чрезвычайно сильным союзом крупных землевладельцев, которые, хотя и освобождали крестьян, но хотели всю землю оставить себе. Ростовцев при поддержке Александра II, очень его уважавшего, одержал победу, и крестьяне получили землю. Генерал Ростовцев был пылким патриотом и считал всякий политический заговор преступлением. Он внимательно изучил документы, изъятые полицией у Петрашевского и связанных с ним молодых людей, и, вероятно, удивлялся незначительности улик, содержавшихся в них. Ростовцев был не глуп; он понял, что тайна хорошо скрыта и ею владеют лишь немногие посвященные. Так как он знал об одаренности и уме Достоевского, он заподозрил, что тот является одним из главарей общества, и хотел вызвать его на разговор. В день слушания дела генерал Ростовцев проявил восхитительную любезность по отношению к моему отцу. Он говорил с Достоевским, как с молодым и очень талантливым писателем, человеком высокой европейской культуры, который несчастливым образом дал себя втянуть в политический заговор, не сознавая вполне серьезности сво-

его поступка. Очевидно, генерал хотел подсказать Достоевскому ту роль, которую он должен был играть, чтобы избегнуть строгого наказания. Мой отец всегда был очень наивен и доверчив. Он ничего не понял, почувствовал живую симпатию к генералу, обращавшемуся с ним не как с преступником, а как со светским человеком, и охотно отвечал на его вопросы. Но стоило Ростовцеву, вероятно, сказать неосторожное слово, как отец внезапно осознал, что ему предлагают продать своих товарищей ради собственной свободы. Достоевский был возмущен до глубины души тем, что его сочли способным на подобный поступок. Его симпатия к Ростовцеву превратилась в ненависть. Этот молодой истеричный и нервный человек, изнуренный долгими месяцами, проведенными в тюрьме, оказался сильнее генерала. Когда Ростовцев увидел, что его хитрость не удалась, он рассердился, покинул зал суда и поручил допрос остальным членам суда. Несколько раз он открывал дверь соседней комнаты, куда он удалился, и спрашивал: «Окончен допрос Достоевского? Я вернусь в зал только тогда, когда там не будет больше этого закоренелого грешника».

Мой отец никогда не простил Ростовцеву его враждебного поведения. Он называл его комедиантом и всегда говорил о нем с презрением. Достоевский презирал его тем более, что он во время вынесения ему приговора был убежден в своей правоте и считал себя героем, хотевшим спасти свое отечество. Страх, пережитый моим отцом во время допроса, глубоко врезался ему в душу. Позднее это нашло свое выражение в поединке между Раскольниковым и Порфирием и между Дмитрием Карамазовым и его судьями, приехавшими в Мокрое, чтобы его допросить.

Генералы, с Ростовцевым во главе, представили Николаю I на подпись смертный приговор. Он колебался. Император Николай не был злым человеком, он был ограниченным человеком и ничего не понимал в психологии. Между прочим, эта наука в то время едва ли была известна в России. Император не хотел лишать жизни заговорщиков, но он хотел дать молодежи хороший урок. Его советники предложили ему разыграть зловещую комедию. Арестантам объявили, что они должны умереть. Их доставили на площадь, где был сооружен эшафот. Они должны были взойти на него, потом одного из заговорщиков[75] привязали к столбу, после чего завязали ему глаза, и солдаты приготовились стрелять в несчастного... В этот момент появился курьер и объявил, что царь заменил смертный приговор на принудительный труд. В мемуарах этого времени рассказывается, что осторожности ради ружья солдат не были заряжены и что курьер, шедший якобы из дворца, задолго до прибытия осужденных был на площади. Это все несомненно так, но несчастные молодые люди не знали этого и готовились к смерти. Был бы Николай I деликатнее, он должен был бы понять, что милосерднее было бы приказать расстрелять юных заговорщиков, чем подвергать их таким мукам страха. Конечно, царь только следовал нравам своего времени; наши деды питали пристрастие к ложно-сентиментальным комедиям. Возможно,

Николай I полагал, что доставил юным заговорщикам большую радость, подарив им на эшафоте жизнь. Немногие из них перенесли эту радость: одни лишились рассудка, другие рано умерли. Может быть, эпилепсия отца никогда не приняла бы столь тяжелую форму, не будь этой жуткой комедии.

Достоевский, нервный, истеричный, ослабленный долгими месяцами, проведенными в тюрьме, с большим мужеством поднялся на эшафот и отважно смотрел смерти в лицо. Он рассказывает, что в этот момент он ничего не чувствовал, кроме мистического страха при мысли о том, что сейчас непосредственно предстанет перед Богом и что он недостаточно готов к этой торжественной встрече[76]. Его друзья, стоявшие вокруг эшафота, рассказывают в своих воспоминаниях, что Достоевский был спокоен и сохранял большое достоинство. В «Идиоте» отец описывает все, что он пережил в это мгновение. Достоевский изображает чувство страха, переживаемое приговоренным к смерти, но о счастье, которое он испытал, когда узнал о помиловании, он не говорит ничего. Вероятно, после первой волны чисто животной радости он ощутил глубокую горечь, жгучее негодование при мысли о том, что осмелились вести такую игру с его сердцем и так жестоко мучили его. Чистой его душе, уже начавшей свой полет к небу, может быть, было больно вновь опуститься на землю и опять окунуться в ту грязь, которая нас окружает...

Отец вернулся в свою крепость. Спустя несколько дней в сопровождении полицейского он был отправлен в Сибирь. Он покинул Петербург в рождественский вечер. Проезжая в санях по улицам столицы, он смотрел на освещенные окна домов и говорил себе: «В эту минуту у брата Михаила зажигают свечи на рождественской елке. Мои племянники восторгаются, смеются, танцуют вокруг елки, а меня нет среди них. Бог знает, увижу ли я их когда-нибудь»[77]. Покидая холодный Петербург, Достоевский жалел только о своих маленьких друзьях.

Когда Достоевский прибывает в Сибирь, на одной из первых остановок к нему приходят две дамы. Это были жены декабристов *[78], которые считали своим долгом встречать политических заключенных, чтобы иметь возможность сказать им слова утешения и дать советы касательно той жизни, которая ждала их на каторге. Они передали моему отцу Библию, единственную книгу, разрешенную в тюрьме. Улучив момент, когда полицейский повернулся к ним спиной, одна из дам сказала моему отцу по-фран-

* Участники политического заговора против Николая I в начале его правления. Они попытались свергнуть монархическую систему в декабре, почему и получили название «декабристов». Их сослали на принудительные работы, их жены последовали за ними. Они пользовались большей свободой, чем их мужья, уже отбывшие свое наказание ко времени заговора Петрашевского, но оставшиеся еще в Сибири под полицейским надзором. Декабристы хотели установить в России аристократическую республику и разделить власть между представителями союза дворян. Дворяне всегда относились к декабристам с большим уважением и смотрели на них, как на мучеников.

цузски, что он должен хорошо просмотреть книгу, когда останется один. Между двумя склеенными страницами Библии Достоевский нашел 25-рублевую банкноту. На эти деньги отец смог купить немного белья, мыло и табак, несколько улучшить свою грубую пищу и раздобыть белый хлеб. За все годы, проведенные на каторге, у него не было других денег. Братья, сестры, тетка, друзья — все малодушно покинули его, напуганные совершенным им преступлением и последовавшим наказанием...

НА КАТОРГЕ

Когда человека внезапно вырывают из его среды и вынуждают годами жить в окружении, совершенно ему не свойственном, с людьми, способными по низости своей и недостатку воспитания навредить ему и причинить страдания, ему приходится сразу же изыскивать средство парировать, по крайней мере, самые тяжелые удары, намечать для себя план поведения и выбирать позу. Одни презрительно замыкаются в себе, надеясь, что их оставят с миром; другие начинают заискивать и пытаются купить покой с помощью самого низкого лакейства. Достоевский, осужденный на несколько лет каторги и вынужденный жить среди страшных преступников, избрал другой путь: он взял тон христианского братства. Такое поведение не было ново для него; он уже упражнялся в нем, когда еще совсем маленький потихоньку пробирался к решетке отцовского сада, чтобы побеседовать с пациентами Мариинской больницы для бедных, и бывал за это наказан; или же в деревне, когда он разговаривал с крепостными в Даровом и внушал к себе симпатию, помогая крестьянкам, работающим на поле. Потом он так же братски будет относиться к бедным людям Петербурга, которых он встречал в чайных и трактирах столицы, с которыми играл в биллиард и которых угощал, изучая их, пытаясь проникнуть в тайники их сердец. Достоевский понимал, что он не сможет стать большим писателем, описывая одни лишь элегантные салоны и их хорошо вымытых и напомаженных посетителей в ловко сидящих фраках, с модными галстуками, но пустой головой, бесцветной душой и угасшим сердцем. Истоки каждого писателя в народе, в простых душах, которых хорошее воспитание еще не научило скрывать свои страдания за банальными словами. Мужики Ясной Поляны большему научили Толстого, чем его московские друзья. Крестьяне, с которыми охотился Тургенев, дали ему больше оригинальных идей, чем его европейские друзья. Также и Достоевский зависел от бедных и инстинктивно с самого детства искал средства и пути сближения с ними. Эта способность, которую он уже наполовину усвоил, оказала ему в Сибири большую услугу.

Достоевский не скрыл от нас, как ему удалось завоевать симпатии каторжников. В романе «Идиот» он подробно рассказывает о своих первых шагах. Князь Мышкин, потомок длинного ряда

представителей европейской культуры, путешествует в один из холодных зимних дней. Он — русский, но всю юность провел в Швейцарии и поэтому плохо знает свое отечество. Его очень интересует Россия, она влечет его; он хотел бы постичь ее душу и разгадать ее тайны. Поскольку князь беден, он путешествует в третьем классе. Он не сноб; его простые и грязные спутники не вызывают у него отвращения. Они первые истинные русские, которых он видит; в Швейцарии он встречал только наших интеллектуалов, подражавших европейцам, или политических эмигрантов, говоривших на ломаном русском языке и, несмотря на это, выдававших себя за истинных патриотов и носителей святой мечты нашего народа. Князь Мышкин, конечно, понимал, что до сих пор он видел только копии и карикатуры; теперь он хотел познакомиться с оригиналом. Он с симпатией смотрел на своих товарищей по 3-му классу и ждал первых слов, чтобы завязать беседу. Его попутчики, в свою очередь, с любопытством разглядывали его. Никогда еще они не видели вблизи столь удивительную птицу. Вежливые манеры, европейская одежда князя казались им смешными. Они начали переговариваться друг с другом, чтобы позабавиться над ним, повеселиться, рассеяться за его счет. Они грубо смеялись и толкали друг друга локтями, как только услышали первые слова князя Мышкина; но когда он продолжал говорить, они перестали смеяться. Его восхитительная вежливость, отсутствие снобизма, та естественность, с которой он обращался с ними, как с равными, как с людьми его круга, позволили им предположить, что перед ними чрезвычайно удивительное и редкое существо, истинный Христос. И уже молодой Рогожин чувствует, как притягивает его к себе эта христианская доброта, и спешит доверить этому благородному незнакомцу, слушающему его с интересом, свою сердечную тайну. Хотя Рогожин почти необразован, но он развит интеллектуально; он понимает нравственное превосходство Мышкина. Он восторгается им, склоняется перед ним, но ясно видит, что бедный князь — большой ребенок, наивный мечтатель, не имеющий никакого представления о жизни. Рогожин же хорошо ее знает, эту суровую и ужасную жизнь, он знает, как злы и безжалостны люди. Желание защитить этого достойного любви князя овладевает благородным сердцем Рогожина. «Приходи ко мне,— говорит он ему, расставаясь с ним на вокзале в Петербурге. — ...Одену тебя в кунью шубу... фрак тебе сошью первейший... денег полны карманы набью».

В холодный зимний день Достоевский прибывает в Сибирь. Он путешествует «3-им классом», т. е. в обществе воров и убийц, которых родное отечество отсылает подальше от себя, в различные остроги Сибири. С любопытством смотрит он на своих новых попутчиков. Вот, наконец, она, истинная Русь, которую он напрасно искал в Петербурге! Вот они, эти русские, эта странная смесь из славян и монголов, сумевших завоевать шестую часть земного шара! Достоевский изучает угрюмые лица своих попутчиков и с ясновидением, присущим в большей или меньшей степени всем

писателям, уже может угадывать их мысли и читать в их детских сердцах. Он с симпатией рассматривает арестантов, идущих рядом с ним, и ждет только первого их слова, чтобы вступить с ними в разговор. Арестанты же смотрят на него с любопытством, но неблагосклонно. Разве он не дворянин, не принадлежит к тому проклятому классу вечных тиранов, обращавшихся со своими крепостными, как с собаками, и видевших в них лишь рабов, которые всю жизнь должны работать, чтобы их господа могли жить в изобилии? Они начинали говорить с Достоевским, надеясь поиздеваться над ним и поразвлекаться на его счет. Они толкали друг друга локтями и смеялись над моим отцом, когда услышали его первые слова; но по мере того, как он говорил, смех и издевки постепенно прекращались. Мужики увидели перед собой свой идеал, истинного Христа, мудрого и смиренного человека, ставящего Бога превыше всего, который искренне полагает, что ни титул, ни воспитание не могут создать пропасти между людьми, что перед Богом все равны и что образованные люди должны передать свои знания другим, а не гордиться ими[79]. Так представляли себе мужики истинных дворян, настоящих «бар», но те редко встречались на их пути. С каждым произнесенным им словом Достоевский вырастал в глазах его попутчиков. Добрая слава о нем последовала за ним на каторгу; его попутчики, оставленные вместе с ним в Омске, рассказали новым товарищам о том, что за удивительный и редкий человек Достоевский, который должен отбывать свое наказание среди них. Некоторые заключенные, обладавшие благородным сердцем, уже изыскивали пути и средства для спасения больного молодого человека, этого мечтателя, так много думавшего о героях своих романов, что у него не оставалось времени для постижения действительной жизни. Заключенные говорили себе, что если для них, с юности привыкших к лишениям и изнурительному труду, жизнь на каторге тяжела, то еще тяжелее это адское существование должно быть для Достоевского, привыкшего к комфорту и, благодаря социальному положению, пользовавшегося всеобщим почтением. Они пытались его утешить, говорили ему, что жизнь долгая, он еще молод и его еще ждет счастье после освобождения. Они проявляли по отношению к нему ту чуткость, которая свойственна лишь русским крестьянам. В «Записках из Мертвого дома» отец рассказывает, что часто, когда он печально бродил около острога, каторжники присоединялись к нему и расспрашивали его о политике, загранице, дворе, жизни в столицах. «Мои ответы их, видимо, не интересовали,— замечает отец. — Я никогда не мог понять, зачем они спрашивали меня об этом». И все же есть очень простое объяснение: добросердечный каторжник видел моего отца, печально отправляющегося на прогулку, с устремленным вдаль мечтательным взглядом. Его сердце сжималось, ему хотелось рассеять отца. По мнению крестьян, господа не могут интересоваться обычными вещами, и дипломат-крестьянин говорил с моим отцом о высокой материи: о политике, правительстве, Европе. Ответы его мало интересовали,

но цель была достигнута: жизнь возвращалась к Достоевскому, его лоб разглаживался, меланхолия оставляла его.

Но каторжники видели в моем отце не только печального и больного молодого человека; они понимали также его гениальность. Эти необразованные крестьяне вообще не знали, что такое роман, но безошибочным чутьем великого народа они угадывали, что Бог послал на землю этого мечтателя, чтобы он совершил великие дела. Они чувствовали его нравственную силу и обращались с ним так хорошо, как умели. В «Записках» Достоевский рассказывает, как однажды каторжников повели в баню. Там один из них попросил у отца позволения помочь ему мыться, проделывал это с превеликой осторожностью и поддерживал его, как ребенка, чтобы тот не поскользнулся на мокром полу. «Он мыл меня так, как если бы я был сделан из фарфора»,— замечает Достоевский, пораженный такой заботливостью. Отец угадал: в глазах его смиренного товарища он был действительно ценным предметом. Они чувствовали, что он мог оказаться полезен всей России, и защищали его. Однажды каторжники, возмущенные плохой пищей, которую они получали, устроили своего рода демонстрацию и потребовали, чтобы с ними говорил комендант Омской крепости. Отец считал своим долгом присоединиться к ним, но они не допустили этого. (Я уже упоминала выше, что Достоевский не принял участия ни в одной демонстрации учеников Инженерного училища. Изъявив желание участвовать в демонстрации каторжников, он тем ясно показал, что ценит ее выше демонстраций русских дворян и интеллигентов). «Твое место не здесь»,— кричали ему со всех сторон и потребовали, чтобы он вернулся в острог. Каторжники, конечно, знали, что они будут подвергнуты тяжелому наказанию за свой протест против плохого питания, и хотели, чтобы Достоевский избежал его. Эти униженные крестьяне обладали рыцарской душой. Они были великодушнее по отношению к моему отцу, нежели его петербургские товарищи, те ничтожные и заурядные писатели, превзошедшие себя в изобретении средств, призванных отравить его юную литературную славу.

Когда Достоевский хочет изобразить в каком-нибудь герое себя самого и рассказать нам о каком-то периоде своей жизни, он наделяет этого героя всеми мыслями и чувствами, которые были присущи ему в тот период. То, что князь Мышкин, герой романа «Идиот», не преступник и никогда не бывший осужденным, приезжая в Петербург, говорит лишь о последних мгновениях приговоренного к смерти, кажется несколько странным. Чувствуешь, что он совершенно поглощен этой мыслью. Объясняя эту странность, Достоевский рассказывает, что директор санатория, куда родные поместили бедного князя, взял его с собой в Женеву на казнь. Видимо, у швейцарцев странный метод лечения больных с психическими заболеваниями; не следует удивляться, что им не удалось вылечить бедного князя. Отец использует это за волосы притянутое объяснение, чтобы утаить от широкого читателя, что князь Мышкин — это не кто иной, как несчастный каторжник и полити-

ческий преступник Федор Достоевский, в течение всего первого года каторги находившийся под впечатлением воспоминания об эшафоте и не способный думать ни о чем другом. Нет нужды, конечно, доказывать, что никакого снобизма нет в намерении Достоевского изобразить себя в образе князя. Он хотел этим показать, какое огромное нравственное влияние может оказать на народ человек высокой наследственной культуры, если он обращается с ним, как брат и Христос, а не как сноб.

В «Идиоте» князь Мышкин рассказывает о всех впечатлениях осужденного слуге Епанчиных. Когда Епанчины потом спрашивают его о смертной казни, князь отвечает: «Я сказал уже о своих впечатлениях Вашему камердинеру, я не хочу больше об этом говорить». Большого труда стоило Епанчиным заставить Мышкина говорить на эту тему. Точно так же ведет себя Достоевский; он рассказывает каторжникам о своих страданиях и отказывается говорить об этом с петербургской интеллигенцией. Сколько ни расспрашивали с жадностью его, Достоевский всегда морщил лоб и менял тему[80].

Удивительно также, что князь Мышкин, влюбляясь в Настасью Филипповну, не становится ее любовником, а молодой девушке, которая его любит и хотела бы выйти за него замуж, он говорит: «Я болен, я не могу жениться». Вероятно, это было убеждение Достоевского в период первой его молодости; мнение свое он изменил только после каторги. Сходство Достоевского с его героем проявляется в мельчайших подробностях. Князь Мышкин приезжает в Петербург без багажа, с одним только узелком, в котором есть немного белья. У него нет ни копейки денег, и только генерал Епанчин дает ему двадцать пять рублей. Достевский тоже появляется в Сибири с узелком белья, который позволила взять с собой полиция, у него тоже ни копейки, и жены декабристов передают ему 25 рублей, вклеенные между двумя листами Библии.

Если каторжники защищали моего отца, то он, в свою очередь, мог оказывать на них большое нравственное влияние. Достоевский слишком скромен, чтобы говорить об этом; об этом позаботился Некрасов. Этот русский поэт был очень дальновиден; уже в первом романе отца, «Бедных людях», который он спешил опубликовать в своем журнале, увидел он огромное дарование Достоевского. Когда Некрасов познакомился с ним, его взволновали чистота сердца и благородство души молодого сочинителя. Ничтожество, завистливость, интриги того мира, в котором жили русские литераторы того времени, помешали Некрасову стать близким другом отца; но он никогда не мог его забыть. Когда Достоевский был сослан, Некрасов часто о нем думал. Этот писатель отличался от других глубоким знанием крестьянской души. Все свое детство он провел в небольшом поместье своего отца и каждое лето возвращался туда. Он, знавший русский народ и знавший также Достоевского, спрашивал себя, каковы отношения между каторжниками и молодым писателем. Поэты мыслят стихами, и Некрасов оставил нам прекрасную поэму «Несчаст-

ные», где он говорит о жизни Достоевского среди преступников. Он не называет его — цензура, очень строгая в те времена, не пропустила бы его, — но он читает ее своим литературным друзьям, а потом и самому Достоевскому.

В этой поэме один из каторжников, бывший прежде светским человеком, рассказывает, как он убил свою жену, которую он ревновал. Он был отправлен на каторгу, подружился там с самыми закоренелыми преступниками, пил, играл с ними в карты, презирая их в то же время. Его внимание привлекает один арестант, не похожий на других. Он очень слаб, у него детский голос, светлые волосы, нежные, как пух. (Описывая в «Идиоте» внешность князя Мышкина, Достоевский пишет, что тот был очень худым и производил впечатление больного. Волосы его были настолько светлые, что казались почти белыми). Он очень молчалив, сторонится других, ни с кем не подружился. Каторжники не любят его за его «белые руки», т. е. за то, что он не может выполнять тяжелой работы. Так как каторжники видят, что он трудится весь день, а результаты невелики, потому что он слаб, они насмехаются над ним и дают ему прозвище «крот». Им доставляет удовольствие издеваться над ним, они смеются, когда видят, как он бледнеет, услышав грубую команду надзирателя. Однажды вечером каторжники играют в карты, пьют. Один из них, давно уже больной, находится в состоянии агонии. Каторжники издеваются над ним и поют ему «реквием». «Несчастные! Не боитесь вы Бога?» — раздается чей-то ужасный крик. Каторжники с удивлением оборачиваются. Это — «крот», к которому вернулся в этот момент облик человека благородного происхождения. Тихий арестант приказывает им замолчать, почтить последние минуты умирающего, говорит им о Боге и о той пропасти, в которую они низвергнуты. С этого дня он становится господином всех преступников, не утративших сознания своей вины. Почтительная толпа окружает его, жадно внимает его словам. Этот арестант — ученый; он говорит с каторжниками о поэзии, о науке, о Боге, но особенно о России. Он — патриот, восторгающийся своей страной, предсказывающий ей великое будущее. Он не обладает красноречием и блестящим стилем, но речи его проникают в душу и глубоко трогают сердца его учеников. В поэме идеальный арестант умирает на каторге, окруженный почитающими его и восхищающимися им каторжниками. Они самозабвенно ухаживают за ним во время его болезни, сооружают нечто вроде носилок и каждый день выносят его на тюремный двор, чтобы он дышал свежим воздухом и видел солнце, которое так любил. После смерти его могила стала целью паломничества всех местных жителей.

Когда мой отец вернулся из Сибири, Некрасов показал ему эту поэму и сказал: «Вы — герой!» Отец был очень тронут этими словами, был в большом восторге от поэмы «Несчастные», но, когда друзья-литераторы спросили его, правильно ли описал его Некрасов, ответил с улыбкой: «О нет, он преувеличил мое значение. Наоборот, я был учеником каторжников».

Трудно судить, кто из обоих был прав, Некрасов или Достоевский. Возможно, поэма Некрасова — лишь поэтическая мечта, но она доказывает, какого высокого мнения он был о моем отце. То, что сказал Некрасов в своей поэме о Достоевском, является блестящей местью за все те низкие обвинения, высказывавшиеся его литературными соперниками, не знавшими, что бы такое изобрести с целью очернить этот их всех превзошедший великий талант. Удивительно, что ни один из русских биографов Достоевского не упоминает поэмы Некрасова, за исключением Николая Страхова, пишущего об этом в своих мемуарах, тогда как все они добросовестно повторяют низкую клевету, распространявшуюся молодыми писателями о Достоевском в период успеха «Бедных людей». И ведь не могли биографы отца быть в неведении относительно того, что он является героем поэмы «Несчастные», потому что Достоевский сам в «Дневнике писателя» рассказывает о своем разговоре с Некрасовым после возвращения из Сибири. Надо думать, они хотели утаить от читателей лестное мнение русског поэта [81].

ЧЕМУ НАУЧИЛИ КАТОРЖНИКИ ДОСТОЕВСКОГО

Достоевский, конечно, имел право утверждать, что каторжники были его учителями. Они действительно научили его тому, что для него было важнее всего — знать и любить нашу прекрасную, нашу благородную Русь. Как только Достоевский впервые в жизни очутился в истинно национальной среде, все сильнее стала давать себя знать в нем кровь его матери. Отец начал понимать то русское обаяние, которое по сути составляет подлинную силу нашей страны. Не огнем и мечом побеждала Русь своих соседей; русское сердце создало огромную империю. Наша армия слаба; наших бедных, маленьких солдат часто бьют; но повсюду, куда они приходят, они оставляют неизгладимые воспоминания о себе. Они братаются с побежденными, вместо того чтобы их подавлять, открывают им свое сердце, обращаются с ними, как с товарищами; и побежденные, тронутые этим великодушием, вечно хранят память о них. «Там, где однажды был поднят русский флаг, он останется навсегда», говорят в России. Мои соотечественники хорошо знают свою волшебную силу.

Русскому крестьянину, такому грязному, такому нецивилизованному и всегда оборванному, присуще большое обаяние. У него кроткое, нежное, открытое радости сердце, как у ребенка. Он необразован, но обладает широким, ясным, проницательным умом. Он наблюдателен и размышляет о вещах, никогда не приходящих в голову мелким буржуа в Европе. Он трудится всю жизнь, но прибыль его не интересует. Материальные потребности его незначительны; тем выше зато требования нравственности. Он — мечтатель, душа его ищет поэзии. Часто он покидает свои поля, свою семью, странствует по монастырям, молится у гробниц святых, совершает паломничество в Иерусалим. Он принадлежит к тем народам Востока, которые дали миру Кришну, Будду, Заратустру, Магомета. Русский крестьянин всегда готов оставить мир и искать Бога в пустыне. Он живет в гораздо большей степени в мире потустороннем, чем на земле. У него великий идеал справедливости: «Зачем браниться, зачем ссориться? Надо жить по правде Божией» — часто можно слышать от русских крестьян. Эта Божия правда дает им богатую пищу для размышлений; они стараются жить по Евангелию. Они охотно ласкают маленьких детей, утешают плачущих женщин, помогают старикам. В русских городах

редко можно встретить джентльмена; но много их в наших деревнях.

Достоевский, пытаясь понять своих товарищей по несчастью, справедливо оценил их благородство, широту и красоту их души и научился теперь любить свою родину, как она этого заслуживает. С помощью смиренных каторжников Сибири Россия навсегда завоевала литовское сердце Достоевского. Отец не умел делать что-либо наполовину. Душой и телом он предался России и служил русскому дворянству так же верно, как его предки служили под знаменем Радванов. Те, кто хотел бы до конца понять перемену мировоззрения Достоевского, должны прочесть его письмо к поэту Майкову, написанное вскоре после его освобождения. Это настоящий гимн России. «Я — русский, сердце мое — русское, мысли мои — русские», — повторяет Достоевский в каждой строчке[82]. Читая это письмо, понимаешь, что произошло в его сердце. Всякий серьезный и идеальный юноша стремится стать патриотом, ибо один только патриотизм способен дать ему силу служить своей стране. Юный русский — инстинктивно патриот, но славянин, предки которого с отцовской стороны происходят из другой страны, воспитанный на другой культуре, не может быть прирожденным патриотом. Прежде чем юный литовец начнет служить России, он желает знать цель, к которой стремится эта страна. Выйдя из стен Инженерного замка, Достоевский пытался получить ответ в петербургском обществе и не получил его. В петербургских салонах он встречал лишь людей, стремившихся сделать карьеру, или интеллигентов, ненавидевших свою страну и стыдившихся того, что они русские. Эти бледные и тусклые личности могли дать отцу лишь слабое представление о величии России. В романе «Подросток» Достоевский описывает особый тип, студента Крафта, русского немецкого происхождения, совершающего самоубийство, так как приходит к убеждению, что Россия будет играть только вторичную роль в человеческой цивилизации. Вполне возможно, что Достоевский в первой молодости страдал той же болезнью, что и Крафт, которой более или менее страдают все русские инородного происхождения. Отец часто повторял друзьям, что тогда он был близок к самоубийству и спас его от этого арест. Но если бесцветный Петербург не смог привить Достоевскому идею патриотизма, то русский народ, с которым отец встретился на каторге, быстро внушил ему великую русскую идею христианского братства, ту прекрасную идею, которая объединила столь многие народы под нашим знаменем. Ослепленный ее красотой, юный литовец захотел ей служить. Был ли он первым славо-норманном, предавшим себя душой и телом России? Нет. Достоевский только последовал примеру других прославленных почитателей нашей страны. Все московские великие князья, основавшие Великую Русь, защищавшие православную церковь и отважно сражавшиеся с татарами, были славо-норманнами, потомками князя Рюрика. Благодаря своему норманнскому мировоззрению, эти первые русские патриоты гораздо лучше поняли нашу великую идею, чем

сами русские, которые были еще слишком молоды и слепы. Часто бывает так, что молодые народы чисто инстинктивно представляют свою национальную идею, не осознавая ее, из-за чего их патриотизм никогда не бывает явным. Созревая только постепенно, нации отдают себе отчет в том, над осуществлением какой идеи они трудятся, и если, наконец, понимают, какую пользу это окажет человечеству, они начинают гордиться своим отечеством. У древних народов патриотизм достигает своей головокружительной кульминации. Тогда появляются Наполеон, Вильгельм II, которые в гордом сознании своей национальной культуры стремятся насильно навязать ее всему миру.

Достоевский, восприняв теперь русскую идею, ревностно стал следовать примеру знаменитых славо-норманнов, историю которых он так хорошо знал. Он изучал ее еще в детстве, с восторгом читал ее, а книги Карамзина, этого великолепного историографа московских великих князей, знал наизусть. Достоевский объяснял своим соотечественникам русскую идею так, как прежде это делали московские великие князья; подобно им он любил все своеобразное в России: наши идеи, нашу веру, наши нравы и предания. Отказавшись от республиканских идей, он начал служить своей стране как патриот. Раньше эти идеи казались ему прекрасными, когда он обсуждал их в салонах Петербурга посреди восторженной толпы поляков, литовцев, шведов из Финляндии, немцев из балтийских провинций и молодых русских, получивших, подобно ему, космополитическое воспитание. Теперь, на каторге, где он ежедневно беседовал с представителями русского народа, прибывшими в Сибирь из самых разных мест нашей громадной империи, ему казалась абсурдной мысль о введении на святой Руси современных европейских порядков. Он понял, что русский народ со времен завоевания Константинополя турками имел только византийскую культуру, задержавшуюся в своем развитии. Православное духовенство, распространившее эту культуру среди наших крестьян, не могло развить ее дальше, и русский народ жил все еще в XV столетии и разделял мистические и наивные представления этого времени. Конечно, насаждение европейских идей XIX века на столь мало подготовленной почве привело бы к ужасающей анархии, которая уничтожила бы всю европейскую цивилизацию, с таким трудом созданную в России потомками Петра Великого. Участвуя в заговоре Петрашевского, отец мечтал о замене монархии республикой интеллигентов. Теперь он понял, что это было невозможно, так как народ питал дикую и непреклонную ненависть ко всему «барью» (дворянам и интеллигентным буржуа). Крестьяне не могли забыть жестокость своих господ и не доверяли всем знатным или образованным людям. Достоевскому стало ясно, что в России была бы возможна только крестьянская республика, т. е. господство грубости и невежества, что еще больше, чем прежде, отдалило бы Россию от Европы. Русский народ питает глубокое отвращение к европейцам и с симпатией относится только к славянским странам и монгольским народностям

Азии, с которыми он ощущает кровное родство. Установление республиканского режима превратило бы Россию в монгольскую империю, и погибли бы старания наших царей и нашего дворянства европеизировать страну. В то время Достоевский слишком сильно любил Европу, чтобы желать лишить Россию европейского влияния. Он скорее отказался бы от своих политических идей, чем согласился бы ввергнуть свою страну в пропасть жестокости и невежества. Это случилось не вдруг. В «Дневнике писателя» Достоевский говорит по этому поводу следующее: «Не годы ссылки, не страдания сломили нас... Нечто другое изменило... наши убеждения и сердца наши: ...непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастии... это не так скоро произошло, а постепенно и после очень-очень долгого времени... Посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным» [83].

Поняв, что европейские общественные установления XIX века не были пригодны для русского народа, Достоевский стал искать другие пути повышения уровня цивилизации своей страны. Он думал, что следует развивать византийскую культуру, уже укоренившуюся в сердце и уме наших крестьян. В свое время византийская культура была выше средневековой европейской культуры. Только когда турки изгнали из Константинополя греческих ученых и они бежали в крупные города Европы, мрак средневековья над Европой начал рассеиваться. Если византийская культура содействовала развитию культуры в Европе, она могла это сделать и в России. Достоевский стал также изучать нашу церковь, которая смогла верно хранить эту культуру и донести ее такой, какой она пришла из Византии. Последние московские патриархи, более образованные, чем прежние, уже начали развивать ее согласно русским идеям, когда их труд, так много обещавший, был внезапно остановлен Петром Великим. До сих пор мой отец обращал мало внимания на православную церковь. Сколько ни ищи, ни в одном романе, написанном до каторги, не найдешь упоминания о ней [84]. Но теперь о ней говорится в каждом новом романе; герои Достоевского все чаще говорят о ней, и в последнем его романе «Братья Карамазовы» центром всего действия становится православный монастырь. Отец теперь понимает, какую важную роль играет в России религия, и со всем рвением начинает ее изучать. Позднее он посещает монастыри, беседует с монахами, знакомится с преданиями православной церкви, становится их защитником, первый осмеливается утверждать, что наша церковь была парализована Петром Великим, требует ее независимости, хочет видеть во главе ее патриарха. И русское духовенство спешит пойти ему навстречу. Русский клир, привыкший к тому, что русская интеллигенция считает церковь устаревшим и ограниченным институтом, был тронут отношением к нему Достоевского, называет его «верным сыном православной церкви» и верен его памяти.

Отец изучал также историю русской монархии и понял, наконец, что царь, этот так называемый восточный деспот, в глазах

русского народа — не кто иной, как глава их большого сообщества, единственный человек во всей стране, вдохновляемый Богом. Согласно православию, коронация — таинство; святой дух нисходит на царя и руководит им во всех его поступках. Раньше вся Европа разделяла эту веру; но по мере распространения на земле атеистических идей вера эта иссякла, и теперь европейцы смеются над ней. Русский народ, продолжающий жить в XV столетии, остается верен своим убеждениям. Глубоко мистический, он нуждается в Божьей помощи и не может без нее обойтись. Русские послушны только человеку, коронованному в московском соборе архиепископом или патриархом. Как бы ни был умен президент русской республики, в глазах крестьян он не кто иной, как более или менее смешной болтун; он лишен ореола коронации. Народ не будет доверять ему; слишком хорошо, к сожалению, известно, как легко продается русский чиновник. Наши президенты могут подписывать соглашения и обещать Европе помощь русской армии, но подпись для них ничего не значит. Достаточно распространиться слуху, что президент куплен Европой, чтобы немедленно кричать об общем пораженчестве.

Достоевский стал монархистом, как только понял, какое огромное значение для России имеет царь, какое нравственное влияние он оказывает на крестьян и что он один обладает силой удержать их от анархии, угрожающей всем монгольским народам. Велико было возмущение всех наших писателей, всего интеллигентного Петербурга, боровшегося против царизма, когда они узнали, что Достоевский отрекся от своих революционных идей. В то время как отец знакомился с русским народом на каторге, эти господа продолжали болтать в салонах, черпать мудрые мысли о России из европейских книг и считать наших крестьян идиотами, которым можно навязать любой закон и любое общественное устройство, не взяв на себя труд узнать их мнение по этому вопросу. Эти интеллигенты не могли понять причин изменения образа мыслей Достоевского и не могли простить ему «его измены святому делу свободы». Они ненавидели отца на протяжении всей его жизни и продолжали ненавидеть его после смерти. Как только выходил новый роман Достоевского, его встречали не беспристрастные критики, анализирующие произведение и дающие автору ценные советы, которых каждый писатель ожидает с нетерпением; нет, это была свора злобных собак, бросавшихся на шедевры отца и под предлогом критики кусавших Достоевского, рвущих его на части; его осыпали бранью и жесточайшим образом оскорбляли. То нравственное влияние, которое отец оказывал на петербургских студентов, все возраставшее по мере того, как креп его талант, приводило в ярость русских писателей. Когда Третьяков, богатый московский купец, завещавший родному городу великолепную национальную картинную галерею, захотел приобрести для своего «Салона великих русских писателей» портрет моего отца и направил его к одному известному художнику[85], негодование политических врагов Достоевского не знало уже границ, они потеряли

всякую меру. «Идите на выставку и посмотрите на лицо этого сумасшедшего,— кричали они подписчикам своих газет,— теперь вы, наконец, поймете, кого вы любите, кого вы слушаете, кого вы читаете» [86].

Эта жгучая и непреклонная ненависть глубоко обижала отца. Ему хотелось жить в мире со всеми другими писателями, вместе с ними трудиться ради счастья, славы своей страны. Он не мог отказаться от своих убеждений, основанных на серьезном изучении русского народа, начатом им на каторге и не прекращавшемся на протяжении всей жизни. Он не имел права скрывать правду от России; он должен был показать ей пропасть, к которой ее толкали социалисты и анархисты петербургских салонов. Чувство исполненного долга давало ему силы для борьбы, но жизнь его была тяжела, и Достоевский умер, не узнав, что был прав. Мы, несчастные жертвы русской революции, видим теперь, что предсказания его сбываются, и расплачиваемся за бессмысленную болтовню наших либералов.

На каторге отец не только постигал русскую душу, но занялся также серьезным изучением Библии, единственной книги, которую разрешалось читать в тюрьме. Мы все хвалимся, что мы христиане, и все же — кто из нас знает Евангелие? Большинство людей довольствуется тем, что слушает его в церкви, смутно припоминая подготовку к первому причастию. Вероятно, отец в юности знал Библию, как знают ее обычно молодые люди его круга, иными словами поверхностно. Он сам признается в этом в рассказе Зосимы в «Братьях Карамазовых», являющемся в некотором роде биографией самого Достоевского. «Я не читал Библию,— рассказывает Зосима о своих юных годах,— но я никогда не отделял себя от нее. У меня было предчувствие, что однажды она мне понадобится». Из писем, отправленных дяде Михаилу, видно, что Достоевский уже в Петропавловской крепости начал погружаться в Библию. На каторге он продолжил это, читая в течение 4 лет только Евангелие. Он изучал эту ценную книгу, которую передали ему жены декабристов по прибытии его в Сибирь, задумывался над каждым словом, выучил ее наизусть и никогда не забывал. Ни у кого из писателей его времени не было таких широких познаний в вопросах христианства, как у Достоевского. Все его произведения были проникнуты им; именно это и составляет их силу. «Какая странная случайность, что именно в те самые важные четыре года жизни, когда происходит решающее формирование характера человека, Ваш отец мог читать только Евангелие»,— часто говорили мне почитатели отца. Случайность? А происходит ли в нашей жизни что-либо случайно? Не предопределено ли все? Дело Иисуса еще не завершено; в каждом поколении он выбирает своих учеников, дает им знак следовать за ним и наделяет их той же силой над человеческими сердцами, какую дал однажды бедным рыбакам Галилеи...

Достоевский никогда не расставался со своей старой Библией, его верным другом на каторге, она утешала его в самые печаль-

ные моменты его жизни. Он брал ее с собой в путешествия, хранил ее в выдвижном ящике письменного стола, чтобы всегда иметь под рукой. У отца была привычка в важные моменты жизни гадать по Библии. Он наугад раскрывал Евангелие, читал первые строчки, попавшие ему на глаза, и считал это ответом на свои сомнения [87].

На каторге Достоевский не написал ничего; он записывал там только некоторые особые слова и выражения каторжников, которые использовал потом при написании «Записок из Мертвого дома». Он записывал их в маленькой тетради, которую сделал сам. Эта тетрадка находится в Музее Достоевского в Москве. И все же он покинул омский острог более значительным писателем, чем был до сих пор. Каторга превратила юного литовца, который, конечно, очень любил Россию, но мало ее понимал, в истинного русского. Всю жизнь он был верен характеру и культуре своих литовских предков и поэтому лишь сильнее любил Россию. Он ценил ее как доброжелательный славянин, околдованный русскими чарами. Наши пороки его не пугали, он понимал, что они являются следствием того, что народ наш еще очень молод, и со временем исчезнут. Как сын маленькой Литвы, время величия которой прошло и, вероятно, не повторится, Достоевский хотел отдать свой талант на службу великой России. Возможно, он понимал, что кровь его матери сделала его собственностью этой страны и что русские поэтому имеют больше прав на его талант, чем литовцы и украинцы. Между прочим, тогда еще не было принято, как любят это делать теперь, делить Россию на много маленьких стран, и если Достоевский трудился для России, то полагал, что трудится также для Украины или Литвы.

Так Достоевский стал пылким почитателем и ревностным учеником Христа, у него была любимая родина, которой он мог служить, и теперь он был больше подготовлен к творчеству, чем до каторги. Ему не нужно было теперь подражать европейским писателям; он мог черпать материал из русской жизни, вспоминая признания каторжников, мнения и верования наших крестьян. Этот литовец понял русский идеал, он склонился перед русской церковью и забыл Европу, чтобы полностью посвятить себя описанию славяно-монгольских нравов нашей великой страны.

ДОСТОЕВСКИЙ — СОЛДАТ

Последний год пребывания на каторге был для Достоевского легче первых трех. Жестокий человек, командовавший Омской крепостью и отравлявший жизнь заключенным, был, наконец, уволен [88]. Новый комендант Омска был европейски образованным человеком [89]. Его интересовал мой отец, и он пытался быть ему полезным. Закон позволял использовать образованных заключенных для работы в канцелярии. Он приказал доставить к нему моего отца, который должен был идти по городу в сопровождении солдата. Комендант давал Достоевскому легкую работу, обеспечил хорошее питание, приносил ему книги, газеты, которые мой отец с жадностью проглатывал. Отец никогда публично не упоминал об этом коменданте из опасения повредить ему в глазах правительства, но он часто рассказывал о нем своим родным. Насколько не любил Достоевский говорить о страданиях, пережитых им на каторге, настолько же охотно вспоминал он людей, поддержавших его в то тяжелое время испытаний.

Четыре года он не видел ни одной газеты и ничего не знал о том, что происходило в мире. Он возродился, вскоре он должен был покинуть «свой» «Мертвый дом». «Экая славная минута».— восклицает он восхищенно, описывая в записках свое освобождение.

Одновременно с ним вышел из тюрьмы и его товарищ по организации Дуров. Бедняга, к сожалению, не нашел в себе больше сил порадоваться свободе. «Он угас, как свеча,— пишет мой отец.— Молодым и прекрасным пришел он на каторгу; полумертвым... покинул ее». А ведь Дуров не был эпилептиком, как мой отец, и в момент ареста отличался завидным здоровьем. Как же можно объяснить, почему оба заговорщика после четырех лет каторги вернулись в мир в столь различном состоянии? Я думаю, объяснение следует искать в их национальности. Дуров был русским, принадлежал к еще очень молодому народу, который быстро теряет силу, падает духом при первом же препятствии и не знает толка в борьбе. Достоевский был литовцем, принадлежал к гораздо более древнему народу, в жилах которого текла кровь норманнов. Борьба всегда доставляла литовцам особое удовольствие. Видунас, так хорошо изучивший свой народ, говорит об этом следующее: «Как ни старайтесь, вы не найдете литовца, которого можно было бы сломить. Это не должно

означать, что он безразличен к тому, что несет ему жизнь. Его чувствительность слишком развита, но она обладает значительной эластичностью и подъемной силой. То, что нельзя изменить, он терпит и мужественно смотрит вперед. Непроизвольно литовец стремится к тому, чтобы подчинить себе череду жизненных обстоятельств. Это особенно проявляется тогда, когда надо осилить трудное дело. Напряжение, в котором находится тогда ум, снимается очень характерным образом: независимо от того, что предпринимает литовец — тяжелую работу, опасное или затруднительное дело,— он всегда склонен встречать затруднение бодро, шутками и остротами, и тем более, чем значительнее оно».

Вероятно, Достоевский начал борьбу за жизнь с первого дня каторги. Он боролся с отчаянием, изучая с интересом характер арестантов, их нравы, обычаи, мнения и разговоры. Он видел в них будущих героев своих романов и тщательно фиксировал все ценные наблюдения, сделанные им над каторжниками; иностранцы не имеют никакого понятия о прямодушном, проницательном и наблюдательном уме русского крестьянина. Когда по праздникам каторжники напивались и впадали в животное состояние, Достоевский, которому это внушало отвращение, искал утешения в словах Евангелия. «Я не могу видеть его душу; кто знает, не прекраснее ли она моей»,— говорил себе мой отец, видя какого-нибудь пьяного шатающегося арестанта, распевающего непристойные песни. Достоевский вскоре понял, что принудительная работа являлась отличным средством от отчаяния. Обладая тем норманнским инстинктом, живущим в глубине души каждого литовца, Достоевский смотрел на нее, как на спорт, и отдавался ей с такой же страстью, с какой делал все, что его интересовало. В некоторых главах «Мертвого дома» говорится о том, как нравились ему работа на свежем воздухе или дробление алебастра. Достоевский говорит о работе, которую должен был выполнять на каторге: «Я должен был вертеть колесо, это было трудно, но служило мне отличной гимнастикой». Далее отец рассказывает, что он должен был носить на спине кирпичи и что эта работа ему очень нравилась, потому что развивала физическую силу.

Вынужденный скрывать от каторжников гнев, презрение, которые вызывали в нем некоторые их поступки, Достоевский учился обуздывать свой возбудимый характер. Реальная, суровая и неумолимая жизнь исцеляла его от воображаемых страхов. «Если ты думаешь, что во мне еще есть остаток той раздражительной мнительности и подозревания в себе всех болезней, как и в Петербурге, то, пожалуйста, разуверься, и помину прежнего нет, так же как, вместе с тем, и многого другого прежнего...»— пишет он своему брату Михаилу через некоторое время после освобождения из каторжной тюрьмы [90].

Достоевский во время пребывания на каторге вынашивал другую, гораздо более великую идею и утешался ею. Отец, глубоко верующий, каким он был всегда [91], часто должен был задавать себе вопрос, почему Бог так тяжело покарал его, невиновного,

мученика прекрасной идеи. Он считал себя тогда героем и был очень горд заговором Петрашевского. Мысль о том, что этот заговор был преступен и мог бы ввергнуть Россию в анархию, понимание того, что горсточка юных мечтателей не имела права навязывать свою волю громадной стране, пришла к нему гораздо позднее, возможно, через десять лет после каторги. Достоевский, считавший себя невиновным, не сознававший порочности своих действий, никогда не имевший никаких других мыслей, кроме благородных и чистых, должен был в смущении спросить себя, чем же заслужил он эти ужасные страдания, какой его поступок навлек на него гнев Божий, так как он все еще любил его нежно и благоговейно. Тогда он сказал себе все же, что Бог послал ему эти страдания не для того, чтобы наказать, а чтобы укрепить, чтобы сделать его великим писателем, который должен принести пользу своей стране, своему народу. Невежественная публика часто путает талантливого человека с самим талантом и не умеет отличить одно от другого. Талантливые же никогда не совершают такой ошибки. Как большие, так и маленькие таланты знают, что их талант является особым даром, принадлежащим в большей степени человечеству, чем им лично. Каждый писатель, музыкант, художник, скульптор, ученый, если он хоть до некоторой степени верующий, считает себя мессией и добровольно несет свой крест. Каждый из них ясно сознает, что Бог дал ему талант не для того, чтобы поставить его над толпой, а, наоборот, чтобы принести его в жертву счастью других и сделать его слугой человечества. Чем крупнее талант, тем явственнее мысль о жертве у гениального человека. Вероятно, иногда он возмущается и гневно отталкивает от себя ту горькую чашу, которую преподносит ему жизнь. В иные мгновения он горд при мысли о том, что избран Богом для того, чтобы распространять на земле его мысли. Чем больше размышляет гениальный человек о своей миссии, тем скорее исчезнет его гнев, его возмущение. Он парит над толпой, он чувствует себя ближе к Богу, чем прочие смертные, и с каждым днем растет его усердие при выполнении высокой задачи. «Позволь мне страдать, если это возвысит мой талант, усилит мое влияние на людей,— говорит он мужественно Богу.— Не щади меня! Я перенесу все, если только дело, ради которого ты послал меня на землю, будет завершено». Если гениальный человек достигает этого смирения, больше его ничто не пугает, и его преданность делу людей не знает границ. Когда Достоевский позднее вернулся в Петербург, он сказал своим друзьям, считавшим его арест несправедливым: «Нет, он был справедлив. Народ осудил бы нас; это я понял на каторге. И потом, кто знает — Бог, возможно, послал меня туда, чтобы я научился главному, без чего нельзя жить, без чего истребляли бы друг друга, чтобы я принес это главное другим, чтобы они стали лучше, хотя бы немного и хотя бы их число было невелико. Ради одного этого стоило идти на каторгу».

* * *

По русским законам наказание Достоевского еще не окончилось. Он должен был служить солдатом в Семипалатинске, маленьком сибирском городе, до тех пор, пока не будет произведен в офицеры и таким образом вновь достигнет положения свободного человека. Военная служба, однако, была почти свободой по сравнению с тем, что претерпел он на каторге. Офицеры его полка обращались с ним скорее как с товарищем, а не с подчиненным. Сибиряки в то время относились с большим почтением к политическим преступникам. Декабристы, принадлежавшие к лучшим семействам страны, переносившие свое наказание с большим достоинством, никогда не жалуясь, подготовили почву для петрашевцев. Моего отца весь город принимал бы с распростертыми объятиями, если бы он и не был писателем. Его произведения, читавшиеся многими в провинции, усилили симпатии жителей Семипалатинска к Достоевскому. Отец, в свою очередь, искал их дружбы. Жизнь в непосредственной близости с каторжниками навсегда исцелила его от нелюдимости. Он не проявляет больше литовскую надменность по отношению к невежественным московитам; мой отец знает теперь, что недостаток образования не мешает русским иметь золотое сердце. Он бывает в обществе, принимает участие в развлечениях семипалатинцев, его любит весь город. Одним словом, отец становится русским. Огромная радость жизни наполняет его. Тогда как бедный Дуров угас, как свеча, и умер вскоре после своего освобождения [92], Достоевский продолжал жизнь, прерванную в момент осуждения. Первые свои письма брату Михаилу он отправил еще с каторги и смог получить от него деньги благодаря любезности коменданта, ставшего посредником между братьями.

Он спешит возобновить дружеские отношения с московскими и петербургскими родными. Он великодушно прощает им то, что они бросили его на произвол судьбы в годы каторги; в порыве радости, став, наконец, свободным, он называет своих сестер, так холодно к нему относившихся, «ангелами». Он пишет своим друзьям-литераторам в Петербург, просит прислать их сочинения, интересуется, что было сделано ими во время «его смерти». Он завязывает дружеские отношения с офицерами и солдатами своего полка. Потом он расскажет в своей газете «Гражданин», что он любил вечерами читать вслух своим товарищам-солдатам, когда они собирались в казармах. Отец добавляет, что это чтение вслух и начинавшиеся вслед за ним дискуссии среди солдат доставляли ему большое удовольствие.

По случаю отъезда одного из его новых друзей, некоего Валиханова [93], Достоевский сфотографировался с ним у не очень умелого фотографа в Семипалатинске. Благодаря этому мы располагаем единственной юношеской фотографией моего отца.

Через несколько месяцев после освобождения Достоевский встретился в Семипалатинске с человеком его круга, бароном Врангелем, который незадолго до этого был направлен по делам своего министерства в Сибирь [94]. Он был балтийцем шведского

происхождения, совершенно, впрочем, обрусевшим, и большим почитателем моего отца. Он предложил Достоевскому поселиться вместе с ним, и отец принял это предложение. Примечательно, что оба раза, когда Достоевский решался на совместное проживание с друзьями, речь шла о русских европейского происхождения: Григорович — француз, Врангель — швед. Вероятно, отец не перенес бы полувосточный образ жизни русских, отсыпавшихся днем после ночи, проведенной за карточным столом. Ему нужна была регулярная жизнь, нужен был хорошо воспитанный товарищ, относящийся с уважением к часам его работы и размышлений. Совместная жизнь с Врангелем была счастливой для него. Зимой они жили в городе, летом оба друга снимали в окрестностях Семипалатинска маленький крестьянский домик, служивший им дачей, сажали там цветы, которые оба очень любили, что доставляло им радость.

Впоследствии барон Врангель оставил министерство и посвятил себя дипломатии. Он стал посланником на Балканах, долгое время жил там и встречался со многими выдающимися людьми. Но в конце своей жизни он вспоминал только о своей дружбе с Достоевским. Мои соотечественники, встречавшиеся с ним в Дрездене, когда он занимал там свой последний пост русского консула, рассказывали мне, что каждый раз, когда с ним знакомился какой-нибудь русский, барон Врангель тотчас же ему рассказывал о дружбе с великим писателем Достоевским и сообщал мельчайшие подробности их совместной жизни в Семипалатинске. «Это стало настоящей манией»,— говорили мне русские наивно. Им был бы понятен его энтузиазм, будь то герцог или маркиз, но писатель! Ведь этим нельзя гордиться. Балтийский барон был гораздо умнее и образованнее моих бедных снобов-соотечественников, к сожалению, столь невежественных и столь банальных в своих вкусах. Достигнув преклонного возраста и подводя итоги жизненного пути, барон Врангель понял, что лучшей страницей в книге его жизни была дружба с великим писателем и что он не мог бы оказать большей услуги человечеству, создав, благодаря своей деликатности и хорошему воспитанию, большому и гениальному человеку, покинутому родными, несколько месяцев покоя после только что пережитого им страшного испытания...

Барон Врангель опубликовал свои записки о моем отце[95]. Интимную жизнь Достоевского он не мог описывать (отец говорил о ней только с родными или друзьями, испытанными на верность в течение долгих лет); но он интересно описывает семипалатинское общество и ту роль, которую играл отец в этом маленьком городе. Воспоминания барона Врангеля — единственные дошедшие до нас воспоминания об этом отрезке жизни Достоевского[96].

ПЕРВЫЙ БРАК ДОСТОЕВСКОГО

Принудительная работа, которую отец должен был выполнять на каторге, была очень тяжелой, но принесла ему пользу, укрепив его организм. Он не болел больше, от запоздалой юношеской незрелости не осталось и следа, он стал мужчиной и хотел любить. Первая же женщина, оказавшаяся несколько более ловкой по сравнению с неотесанными красавицами Семипалатинска, легко завладела его сердцем. Это произошло всего через несколько месяцев после его освобождения. Но какую ужасную женщину послала судьба моему отцу! [97]

Среди офицеров семипалатинского полка был некий капитан Исаев, порядочный человек среднего ума и очень слабого здоровья, от него отказались все врачи города. Он относился к отцу с восторженной приязнью и часто приглашал его к себе. Его жена Мария Дмитриевна принимала моего отца с большим радушием, старалась ему понравиться и сделать его более обходительным. Она знала, что скоро станет вдовой и должна будет существовать на скромную пенсию, назначаемую русским правительством офицерским вдовам, которой ей едва хватит, чтобы прокормиться вместе с сыном, семилетним мальчиком [98]. Предусмотрительно она уже подыскивала себе второго супруга. Достоевский казался ей лучшей партией в городе: он был очень одаренным писателем, у него была в Москве богатая тетка, посылавшая ему теперь все чаще деньги. Мария Дмитриевна изображала из себя поэтичную женщину, которая, будучи непонятой обществом маленького провинциального города, ищет избранную душу, сердце столь же возвышенное, как и ее. Она вскоре завладела простодушным сердцем моего отца, в 33 года полюбившего впервые.

Внезапно эта влюбленная дружба оборвалась. Капитан получил приказ о назначении в Кузнецк, маленький сибирский город, где находился полк другой дивизии, расквартированной в Семипалатинске [99]. Он взял с собой жену и ребенка и через несколько месяцев после прибытия в Кузнецк умер от чахотки, которой давно страдал. Мария Дмитриевна сообщает Достоевскому о смерти мужа и начинает оживленно с ним переписываться. Пока, наконец, правительство не назначает ей скудную пенсию офицерской вдовы, она живет в нужде и горько жалуется на это моему отцу. Достоевский посылает ей почти все деньги, полученные

им от родных. Он искренне жалеет ее, хотел бы защитить ее, но чувство его к Марии Дмитриевне — скорее сострадание, чем любовь. Поэтому, когда Мария Дмитриевна сообщает ему, что нашла в Кузнецке жениха[100] и скоро выйдет замуж, он радуется этому, вместо того чтобы огорчаться, и счастлив при мысли, что у бедной женщины будет наконец защитник. Он даже предпринимает шаги, прося своих друзей помочь устроить соперника в министерство, куда тот стремится попасть. И между прочим Достоевский совсем не смотрит на будущего супруга Марии Дмитриевны как на соперника. Тогда отец сомневался, может ли он вообще жениться, и считал себя больным. Давно исподволь развивавшаяся в нем эпилепсия начала давать себя знать, у него бывали странные приступы, внезапные судороги, изнурявшие его и делавшие не способным к работе. Полковые врачи, лечившие его, медлили еще с определением характера этих явлений; лишь гораздо позднее была названа болезнь Достоевского — эпилепсия. Между тем все — врачи, полковые товарищи, родные, барон Врангель, брат Михаил — отговаривали его от женитьбы, и Достоевский печально покоряется судьбе оставаться холостяком. Также и здесь у него много общего с князем Мышкиным в «Идиоте», который любит Настасью Филипповну, позволяет, несмотря на это, Рогожину увести ее и сохраняет со своим соперником дружеские отношения.

Тем временем Мария Дмитриевна порывает со своим возлюбленным, тот покидает Кузнецк[101]. Она получает теперь, наконец, свою вдовью пенсию, но избалованную, ленивую и честолюбивую женщину не устраивало столь нищенское существование. Она хватается за свой первый план выйти за Достоевского, уже произведенного к тому времени в офицеры. В письмах, становившихся все более частыми, она преувеличивает свою нужду, говорит, что устала от нее и грозится убить себя и сына. Достоевский очень беспокоится, хочет видеть ее, убедить, образумить. Как бывший политический ссыльный он не имел права покидать Семипалатинск, но ему часто приходилось сопровождать научные экспедиции, разъезжавшие по поручению правительства по Сибири. Так, отец рассказывает в одном письме, как он сопровождал Петра Семенова и его друзей, членов Географического общества, в Барнаул, маленький город, расположенный между Семипалатинском и Кузнецком. Когда генерал Гернгрос, губернатор Барнаула, услышал об их прибытии, он пригласил всю комиссию на бал и был особенно любезен с моим отцом. В глазах этого балтийца Достоевский, недавний каторжанин, был не преступником, а знаменитым писателем.

Его товарищи-офицеры, которым он доверил свое желание попасть в Кузнецк, нашли пути и средства послать его туда «по делам полка». Дивизия, квартировавшая в Семипалатинске, посылала своему полку в Кузнецк фургон, груженный канатом, который, по предписанию, должны были сопровождать вооруженные офицеры и солдаты. Обычно от Достоевского не требовали

выполнения подобных обязанностей — офицеры всегда втайне покровительствовали ему, но на этот раз мой отец был счастлив, что может использовать такой случай, и проделал путь в несколько сот верст, сидя на связках каната, который он якобы должен был охранять *. Мария Дмитриевна встретила его с распростертыми объятиями и вскоре приобрела прежнюю власть над моим отцом, возможно, несколько ослабевшую за время длительной разлуки. Взволнованный ее жалобами, ее несчастьем, ее угрозами покончить с собой, Достоевский забыл советы друзей, сделал ей предложение, дал обещание защищать ее и любить маленького Павла. Мария Дмитриевна поспешно приняла предложение. Отец вернулся в своем фургоне в Семипалатинск и попросил у командира полка разрешения на женитьбу. Разрешение было получено, а также ему был дан отпуск на несколько недель. Отец вернулся в Кузнецк, на этот раз с большими удобствами, чем в первый раз, в хорошем дорожном экипаже, в котором он намеревался везти обратно в Семипалатинск новоиспеченную госпожу Достоевскую и своего будущего пасынка. Предоставленный отцу отпуск был непродолжителен — правительство боялось давать слишком большую волю политическим ссыльным — и Достоевский должен был жениться через несколько дней после своего приезда в Кузнецк. Как счастлив был отец, собираясь отправиться в церковь венчаться с Марией Дмитриевной! Наконец-то ему улыбнулось счастье, судьба хотела вознаградить его за все страдания на каторге, посылая ему нежную и любящую супругу, а возможно, и отцовство. Каким мыслям могла предаваться его невеста в то время, когда Достоевский убаюкивал себя сладкими грезами о счастье? Ночь накануне свадьбы Мария Дмитриевна провела у своего любовника [102], ничтожного домашнего учителя, красивого мужчины, которого она нашла, приехав в Кузнецк, и которого давно втайне любила. Вероятно, ее жених из Кузнецка, имени которого я не знаю, отказался от женитьбы на Марии Дмитриевне, потому что узнал о ее тайной любви к красивому учителю [103]. Мой отец, только дважды приезжавший в Кузнецк на непродолжительное время и никого там не знавший, не мог ничего знать о тайной связи своей невесты, тем более что Мария Дмитриевна в его присутствии всегда играла роль серьезной и порядочной женщины.

Эта бесстыжая женщина была дочерью наполеоновского мамелюка, попавшего в плен во время бегства из Москвы, переселившегося потом в Астрахань у Каспийского моря, где он сменил имя и религию, чтобы жениться на молодой девушке из хорошей семьи, безумно в него влюбившейся. По странной игре природы Мария Дмитриевна унаследовала целиком и пол-

---

* Верста — это расстояние немного меньше километра. Путь от Семипалатинска до Кузнецка очень долог, и я не думаю, чтобы отец проделал его, сидя на канате. Вероятно, его товарищи поручили ему сначала сопровождать кого-то из путешествующих должностных лиц, а уже из Барнаула он ехал в фургоне, груженном канатом.

ностью русский тип своей матери. Я видела ее портрет: ничто не выдает восточное происхождение. Сын же ее Павел, с которым я позднее познакомилась, был почти мулатом. У него была желтая кожа, черные, с блеском, волосы, он вращал глазами, как это делают негры, энергично жестикулировал, принимал неожиданные позы, был злым, глупым и бесстыдным, плохо мылся и от него скверно пахло. Ко времени второго замужества своей матери он был красивым маленьким мальчиком, живым и веселым, которого ласкал мой отец, чтобы доставить удовольствие Марии Дмитриевне. Достоевский не имел ни малейшего представления об африканском происхождении своей жены, которое та тщательно скрывала; он узнал о нем гораздо позднее. Будучи женщиной хитрой, Мария Дмитриевна разыгрывала роль примерной супруги, она сумела объединить вокруг себя образованных людей Семипалатинска и создать своего рода литературный салон. Она выдавала себя за француженку, говорила по-французски, как на своем родном языке, много читала, была хорошо воспитана. Семипалатинское общество считало супругу Достоевского безупречной женщиной. Барон Врангель в своих мемуарах говорит о ней с большим уважением и находит ее очаровательной. Между тем она тайно под покровом темноты посещала своего красавца-учителя, последовавшего за ней в Семипалатинск, и обманывала таким образом свет и своего бедного мечтателя-супруга [104]. Достоевский знал этого молодого человека, как знают все друг друга в маленьком провинциальном городе; но красивый молодой человек был настолько незначителен, что мысль о том, что он может быть его соперником, никогда не приходила в голову Достоевскому. Он считал Марию Дмитриевну верной, всецело преданной ему женой. Однако у нее был неприятный характер, она была подвержена частым и ужасным вспышкам гнева. Мой отец приписывал их ее слабому здоровью (у Марии Дмитриевны были больные легкие) и прощал ей частые сцены, которые она ему устраивала. Она была хорошей хозяйкой и умела создать в доме уют. После ужасов каторги Достоевскому его дом казался раем. Вопреки опасениям родных и знакомых, брак оказал на Достоевского благотворное влияние. Он поправился, повеселел и выглядел довольным. Фотография, сделанная в Семипалатинске, о которой я говорила в предыдущей главе, представляет нам человека, полного сил, жизни и энергии. Она не имеет ничего общего ни с портретом князя Мышкина в «Идиоте», ни с каторжником и пророком из поэмы Некрасова. Эпилепсия у отца, наконец, вполне проявилась и успокоила нервы. Хотя он тяжко страдал во время припадков, но сознание его прояснялось, он становился спокойнее, когда они проходили. Здоровый, ядреный и сухой воздух Сибири, военная служба, заменявшая ему физические упражнения, мирная жизнь маленького провинциального города — все это способствовало укреплению здоровья Достоевского. Как всегда, он был полностью поглощен своими романами. Он добросовестно выполнял свои воинские обязанности, но сердце его

не участвовало в этом. Отец только мечтал о том мгновении, когда будет освобожден и станет свободным и независимым писателем. За время пребывания в Семипалатинске Достоевский написал два произведения: «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково». Герои этих новых романов уже не являются космополитами, как было до каторги. Они ничем не напоминают бледных петербуржцев, они живут в деревне или в маленьком провинциальном городе, вполне русские и очень жизненные. Когда читаешь первые опубликованные после каторги произведения, замечаешь, что Достоевский окончательно отказывается от ложного гоголевского жанра и возвращается к идее «Двойника». В новых романах он описывает патологические типы: князя К., дегенерата, впавшего в детство, и авантюриста Фому Опискина, обладающего большой гипнотической силой. Оба эти романа комичны и ироничны, тогда как почти все написанные до каторги произведения мелодраматичны. Очевидно, Достоевский вступил в тот период жизни, когда человек не воспринимает больше бытие трагически, может относиться к нему с юмором, рассматривает его объективно и начинает понимать, что он не останется здесь, что эта жизнь является лишь эпизодом в длительной цепи бытия, которую должна пройти душа. Эта ирония усиливается по мере того, как растет талант Достоевского и он учится лучше понимать человека и жизнь. Она никогда не бывает злой или горькой, так как любовь к человечеству, восхищение проповедью христианского братства в Евангелии все растут в сердце Достоевского.

Отец получает разрешение опубликовать оба романа, но рукопись «Записок из Мертвого дома» он должен был хранить в своем портфеле. Он давно работал над этой вещью, знал ей цену, но не мог напечатать из-за цензуры, очень строгой в отношении всего, что касалось каторги. Достоевский теперь мог жить в любом сибирском городе, но не имел права жить в России. Он же только и мечтал о том времени, когда он сможет вернуться в Петербург, который, однако, ненавидел. Кочующие интеллигенты Литвы обладают одной особенностью: они не могут жить ни в деревне, ни в провинции; они должны находиться в том месте страны, в которой они поселились, где достигнут полный размах цивилизации. В Петербурге готовились великие реформы, которые должны были прославить царствование Александра II. Отцу хотелось присутствовать при этом вместе с другими русскими писателями. Он боялся, что, оставаясь в Сибири, не сможет понять новые идеи, волновавшие тогда нашу страну. Достоевский лихорадочно искал возможность получить разрешение вернуться в Петербург. Он писал многочисленные письма и обращался ко всем старым друзьям, пока, наконец, не нашел заступника. Закончилась осада Севастополя. Весь мир говорил о генерале Тотлебене, отличившемся при этом и удостоенном только что графского титула [105]. Отец вспомнил о братьях Тотлебен, которых он знал в свое время по Инженерному училищу [106]. Он написал им, прося их похлопотать за него перед правительством. Тотлебены

очень хорошо помнили своего бывшего школьного товарища, никогда не казавшегося им таким странным, как его русские товарищи; Тотлебены были родом из Курляндии, и их предки могли не один раз встретиться с Достоевскими на берегах Немана. Они попросили своего прославленного брата предпринять шаги в пользу моего отца. Русское правительство не могло ни в чем отказать графу Тотлебену, которого весь мир называл «защитником Севастополя». Вскоре Достоевский получил разрешение на проживание в любом городе России, за исключением обеих столиц. Отец выбрал для постоянного проживания Тверь, город, расположенный на Волге и являющийся одной из станций на железнодорожной линии Петербург — Москва. С радостью он вышел в отставку, попрощался с полковыми товарищами и добрыми жителями Семипалатинска, так гостеприимно встретившими его, и отправился с женой и пасынком обратно в Россию. Для долгого путешествия Достоевский купил коляску, которую по прибытии в Тверь продал; так тогда путешествовали в нашей стране. Как счастлив был отец, когда ехал назад, свободный и независимый, той же дорогой, по которой десять лет назад он должен был следовать в сопровождении полицейских. Он увидит снова брата Михаила и вернется в литературный мир, к друзьям, с которыми сможет обменяться мнениями, интересующими его. Он представит своим родным любимую жену, которая тоже так его любит. В то время как Достоевский в своей коляске предавался этим мечтам, за ним на расстоянии одной почтовой станции в бричке ехал красавец-учитель, которого его жена всюду возила с собой, как собачонку. На каждой станции она оставляла ему написанные второпях любовные записки, сообщала ему, где они проведут ночь, приказывала ему задержаться на предыдущей станции, чтобы не обогнать ее [107]. Что за удовольствие получала эта белокожая негритянка, видя по-детски счастливое лицо своего бедного мужа-писателя.

Устроившись в Твери, Достоевский вскоре подружился с графом Барановым, губернатором Твери. Его жена, урожденная Васильчикова, была двоюродной сестрой графа Соллогуба, писателя, имевшего раньше литературный салон в Петербурге. Мой отец, в юности часто бывавший в этом салоне, после успеха «Бедных людей» был представлен Васильчиковой. Она никогда не могла его забыть и, узнав о приезде Достоевского в Тверь, поспешила возобновить отношения. Она часто приглашала его к себе и убеждала мужа позаботиться о Достоевском. Граф Баранов сделал все возможное, чтобы добиться позволения Достоевскому жить в Петербурге. Когда граф узнал, что начальник полиции князь Долгоруков [108] противится этому [109], он посоветовал моему отцу написать прямо императору. Подобно многим энтузиастам, отец тогда восторгался Александром II. Он написал по поводу его коронации стихотворение и возлагал большие надежды на его правление. Он написал императору простое и достойное письмо и просил его разрешить ему вновь поселиться

в Петербурге[110]. Это письмо очень понравилось Александру II, и он выполнил просьбу моего отца[111]. Счастливый от одной мысли, что он сможет, наконец, вновь оказаться в литературном мире и так близко к брату Михаилу, Достоевский немедленно выезжает в Петербург в сопровождении жены и пасынка, которого определяет в кадетский корпус. Вскоре отцу разрешают опубликовать «Записки из Мертвого дома». Окончилось правление Николая I; света больше не боялись, к нему стремились. «Записки» имели огромный успех и обеспечили Достоевскому место в первом ряду русских писателей. С тех пор он всегда занимал это выдающееся положение; каждый новый роман только еще более упрочивал его. Счастье, казалось, улыбнулось моему отцу, но судьба готовила ему новое жестокое испытание.

Мария Дмитриевна плохо перенесла перемену климата. Влажный и гнилой воздух Петербурга способствовал развитию туберкулеза легких, который уже давно ей угрожал. Напуганная Мария Дмитриевна возвратилась в Тверь, где был более здоровый климат. Но было слишком поздно; болезнь развивалась, и через несколько месяцев Марию Дмитриевну едва можно было узнать. Кашляющая и харкающая кровью женщина скоро стала вызывать отвращение у своего молодого любовника, до сих пор всюду следовавшего за ней. Он пресытился ею и бежал из Твери, не оставив адреса[112]. Это довело Марию Дмитриевну до крайности. Во время одной из сцен, которые она постоянно устраивала своему мужу, она во всем призналась Достоевскому *, рассказав во всех подробностях историю своей любви к молодому учителю. С утонченной жестокостью она сообщила отцу, как они вместе веселились и насмехались над обманутым мужем, призналась, что никогда не любила его и вышла замуж только по расчету. «Женщина, хоть немного уважающая себя,— сказала эта бесстыжая моему отцу,— никогда не может полюбить человека, проведшего четыре года на каторге в обществе воров и убийц»[114].

Бедный отец! Сердце его разрывалось, когда он слушал безумную исповедь своей жены. Вот какова была эта любовь, великая любовь, в которую он столь наивно верил все эти годы! Эту мегеру он считал любящей и преданной женой! Достоевского охватил ужас перед Марией Дмитриевной, он покинул ее, бежал в Петербург[115] и искал утешения у брата Михаила, у своих племянниц и племянников. Ему было теперь сорок лет, и его еще никто не любил. С грустью он повторял позорные слова Марии Дмитриевны: «Ни одна женщина не полюбит бывшего каторжника». Лишь дочь раба могла следовать этому принципу лакейской души; подобная мысль никогда не зародилась бы в великодушной европейской душе.

Но увы! Достоевский плохо знал женщин в тот период своей жизни. Мысль о том, что у него никогда не будет детей и домаш-

---

* Достоевский, занятый публикацией своего романа, оставался в Петербурге, но часто приезжал в Тверь навестить свою жену[113].

него очага, делала его глубоко несчастным. Весь гнев обманутого мужа он изливает в позднее написанном романе «Вечный муж». Замечательно, что Достоевский изображает героя романа «Вечный муж» как существо презренное, уродливое, старое, вульгарное и смешное. Возможно, отец сам презирал себя за наивность, доверчивость, благодаря которым он не смог раньше раскрыть бесстыдную интригу и наказать вероломных любовников. Достоевский страдал и был близок к отчаянию; несмотря на это, он продолжал посылать деньги Марии Дмитриевне, он окружил ее надежными слугами, писал ее сестрам в Москву, прося их навестить ее в Твери, позднее ездил сам туда несколько раз, чтобы убедиться, не нуждается ли в чем-нибудь его больная жена. Их брак был разорван, но чувство долга по отношению к той, которая носила его имя, всегда оставалось неизменным в литовском сердце Достоевского. Это, однако, не обезоруживало Марию Дмитриевну. Она ненавидела моего отца той неумолимой ненавистью, которая свойственна лишь негритянкам. Люди, ухаживавшие за ней, потом вспоминали, что она проводила долгие часы неподвижно в своем кресле в мучительных размышлениях. Потом внезапно поднималась и лихорадочно пробегала по комнатам, останавливалась перед портретом Достоевского, долго смотрела на него, грозила ему кулаком и кричала: «Каторжник, бесчестный каторжник!» Теперь она ненавидела также и своего первого мужа и с презрением говорила о нем. Она ненавидела и своего сына Павла и отказывалась от свидания с ним. Достоевскому приходилось отправлять пасынка в семью брата Михаила, чтобы он проводил там каникулы [116].

ЛЮБОВНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Вернувшись из Сибири, отец нашел Михаила Достоевского окруженным группой видных молодых писателей. Дядя Михаил сделал себе имя в русской литературе отличными переводами Шиллера и Гете и любил собирать в своем доме современных писателей; это дало повод моему отцу предложить издавать журнал. Он загорелся мыслью разъяснять нашей интеллигенции великую русскую идею, понятую им на каторге, не известную русскому обществу, глухому и слепому в то время. Журнал был назван «Время», труды по его изданию поделили между собой братья, дядя мой брал на себя издательскую и финансовую часть, а отец — литературную. Он публиковал во «Времени» свои романы и критические сочинения. Журнал имел большой успех; новая идея понравилась читателям. Оба брата привлекли к сотрудничеству очень хороших писателей, серьезных людей, по достоинству оценивших моего отца. Вместо того чтобы насмехаться над ним, как делали в свое время его товарищи-литераторы, они стали его друзьями и почитателями. Среди них особо надо упомянуть писателя Аполлона Майкова, которого Достоевский поверхностно знал еще до каторги, и философа Николая Страхова, оба они оставались друзьями Достоевского на протяжении всей его жизни и были рядом с ним в момент его смерти.

После «Записок из Мертвого дома» отец опубликовал «Униженных и оскорбленных», первый свой большой роман, также имевший значительный успех. В литературных салонах, которые снова стал посещать Достоевский, он всегда был окружен почитателями, осыпавшими его любезностями. Он появлялся также в общественных кругах. Во время пребывания моего отца в Сибири петербургские студенты и студентки стали играть важную роль в литературном мире России. Чтобы иметь возможность оказать помощь неимущим товарищам, они устраивали литературные вечера, где известные писатели читали отрывки из своих произведений. Студенты бурно ими восхищались, усиленно их рекламировали, из чего честолюбивые сочинители романов пытались извлечь для себя пользу, льстя молодежи. Отец мой не был честолюбив и никогда не льстил студентам, наоборот, он всегда говорил им горькую истину. Поэтому они и ценили его выше других писателей и больше им восхищались. Любовь, которой пользо-

вался Достоевский у студенчества, и заставила обратить на него внимание молодую девушку Полину Н.[117] Она являла собой именно тот особый тип «вечной студентки», встречающийся только в России. Тогда в России еще не было высших женских курсов. Правительство разрешило женщинам временно посещать университет вместе с молодыми людьми.

Полина Н. приехала из русской провинции, где у нее были богатые родственники, посылавшие ей достаточно денег для того, чтобы удобно жить в Петербурге. Регулярно каждую осень она записывалась студенткой в университет, но никогда не занималась и не сдавала экзамены. Однако она усердно ходила на лекции, флиртовала со студентами, ходила к ним домой, мешая им работать, подстрекала их к выступлениям, заставляла подписывать протесты, принимала участие во всех политических манифестациях, шагала во главе студентов, неся красное знамя, пела Марсельезу, ругала казаков и вела себя вызывающе, била лошадей полицейских, полицейские, в свою очередь, избивали ее, проводила ночь в арестантской, а когда возвращалась в университет, студенты с триумфом несли ее на руках как жертву «ненавистного царизма»[118]. Полина присутствовала на всех балах, всех литературных вечерах студенчества, танцевала с ними, аплодировала, разделяла все новые идеи, волновавшие молодежь. Тогда в моду вошла свободная любовь. Молодая и красивая Полина усердно следовала веянию времени, служа Венере, переходила от одного студента к другому и полагала, что служит европейской цивилизации[119]. Услышав об успехе Достоевского, она поспешила разделить новую страсть студентов. Она вертелась вокруг Достоевского и всячески угождала ему. Достоевский не замечал этого. Тогда она написала ему письмо с объяснением в любви. Это письмо было найдено в бумагах отца[120]; оно было простым, наивным и поэтичным. Можно было предположить, что писала его робкая молодая девушка, ослепленная гением великого писателя. Достоевский, растроганный, читал письмо Полины. Это объяснение в любви он получил именно в тот момент, когда он больше всего в нем нуждался. Сердце его было разбито предательством жены; он презирал себя, как обманутого и осмеянного мужа. И вдруг свежая и красивая молодая девушка предлагает ему свою любовь! Итак, его жена все же заблуждалась! Его можно было полюбить, его, побывавшего на каторге в обществе воров и убийц. Достоевский с жадностью ухватился за то утешение, которое ему было послано судьбой. О легких нравах Полины он не имел ни малейшего представления. Отец наблюдал жизнь студентов только с кафедры, на которой выступал с чтением своих произведений. Студенты, окружавшие его, представляли собой полную почтения толпу, которой он говорил о Боге, отечестве и цивилизации. Мысль о том, чтобы знаменитого писателя, почитаемого всем миром, посвятить в проблемы аморального поведения молодых людей, не могла прийти им в голову. Когда позднее они заметили любовь Достоевского к Полине Н., естественно, они не

решились разъяснить ему, что она из себя представляет. Отец считал Полину юной провинциалкой, одурманенной утрированными идеями эмансипации, каких много было тогда в России. Он знал, что врачи отказались от Марии Дмитриевны и что через несколько месяцев он сможет жениться на Полине. У него не было сил ждать и отказываться от этой молодой любви, отдававшей ему себя свободно и без оглядки на общество и условности. Достоевскому было сорок лет, и его еще никогда не любили...

Влюбленные решили провести медовый месяц за границей. Уже давно мечтал Достоевский о путешествии в Европу. Иван Карамазов, прототип Достоевского, когда ему было двадцать лет, тоже мечтал путешествовать по Европе. Европа казалась ему лишь огромным кладбищем, но он хотел благоговейно преклонить колени перед могилами великих покойников. Теперь, когда, наконец, у Достоевского есть деньги, он спешит осуществить давно лелеемую мечту. День отъезда приближался; в последний момент дела, связанные с журналом «Время», задержали его в Петербурге. В период участившихся приступов запоя, которым был подвержен мой дядя Михаил [121], Достоевский был вынужден один вести все дела журнала. Полина уехала одна и хотела встретиться с ним в Париже. Спустя две недели Достоевский получил письмо, в котором Полина уведомляла его, что любит француза [122], с которым познакомилась в Париже. «Все между нами кончено,— писала она отцу.— Ты сам виноват. Зачем ты оставлял меня так долго одну». Достоевский прочитал письмо и, как безумный, помчался в Париж. Впервые в жизни попавший за границу [123], он проехал, не останавливаясь, через Берлин и Кельн. Когда позднее он вернулся на берега Рейна, он принес свои извинения кельнскому собору, что не заметил его красоты. Полина приняла его холодно, заявила, что нашла, наконец, свой идеал мужчины и не собирается возвращаться в Россию, ее французский возлюбленный страстно ее любит, и она очень счастлива. Мой отец всегда уважал чужую свободу и не делал разницы в этом отношении между мужчиной и женщиной. Полина не была его женой, не давала клятвы; она отдалась добровольно и была, таким образом, вольна взять назад свое расположение. Мой отец подчинился ее воле и не пытался больше ни говорить с ней, ни видеть ее. Видя, что в Париже ему больше нечего делать, Достоевский поехал в Лондон, чтобы встретиться там с Александром Герценом [124]. Тогда ездили в Англию к Герцену, как позднее к Толстому в Ясную Поляну. Отец мой был далек от того, чтобы разделять революционные идеи Герцена; но этот человек интересовал его, и он воспользовался возможностью с ним познакомиться. Лондон показался Достоевскому гораздо интереснее Парижа. Он остался там надолго, основательно его изучил, восторгался красотой молодых англичанок и утверждал впоследствии в своих путевых заметках, что они являют собой совершеннейший тип женской красоты. Это пристрастие Достоевского

к англичанкам очень характерно. Русские, путешествующие по Европе, интересуются особенно француженками, итальянками, испанками и венгерками. Англичанки большей частью оставляют их холодными; мои соотечественники находят их «слишком тощими». Вкус Достоевского, очевидно, был в меньшей степени восточным, и красота молодых англичанок заставляла звучать норманнскую струну его литовского сердца *.

Наконец мой отец вернулся в Париж и, услышав, что его друг Николай Страхов тоже собирается за границу, предложил ему встретиться в Женеве [125] и вместе поехать в Италию. В этом письме есть удивительные строки: «... Пройдемся по Риму, чего доброго приласкаем молодую венецианку в гондоле» [126]. Подобные высказывания почти не встречаются в письмах моего отца. Вероятно, Достоевскому тогда необходимо было любовное переживание с какой-нибудь женщиной, чтобы реабилитировать себя в собственных глазах и доказать самому себе, что его тоже можно любить. Но «молодая венецианка в гондоле» не встретилась друзьям во время их путешествия, и сердце Достоевского принадлежало Полине. Однако он отказался сопровождать Страхова в Париж, где мог бы встретиться с ней, и вернулся один в Россию. Впечатления от этого первого путешествия он описал в журнале «Время».

Весной Полина написала ему из Парижа и сообщила о неудачном окончании ее романа. Французский возлюбленный обманул ее, но у нее не хватало сил покинуть его, и она заклинала отца приехать к ней в Париж. Так как Достоевский медлил с приездом, Полина грозилась покончить с собой, — излюбленная угроза русских женщин. Напуганный отец, наконец, поехал во Францию и сделал все возможное, чтобы образумить безутешную красавицу. Но так как Полина нашла Достоевского слишком холодным, то прибегла к крайним средствам. В один прекрасный день она явилась к моему отцу в 7 часов утра, разбудила его и, вытащив огромный, совершенно новый нож, только что ею купленный, заявила, что ее возлюбленный француз — подлец, она хочет его наказать, вонзив ему этот нож в глотку; она сейчас направляется к нему, но сначала хотела еще раз увидеть моего отца, чтобы сообщить ему заранее о преступлении, которое она намерена совершить. Я не знаю, позволил ли отец себя одурачить этой вульгарной комедией, во всяком случае он посоветовал Полине оставить свой большой нож в Париже и сопровождать его в Германию. Полина согласилась; это было именно то, чего она хотела. Они отправились на берега Рейна и поселились в Висбадене. Отец мой играл там страстно в рулетку, был счастлив, когда выигрывал; но отчаяние, которое он испытывал при про-

---

* Достоевский удивительно предсказал будущее Англии: он утверждал, что англичане скоро покинут свой остров. «Если наши сыновья не увидят выхода англичан из Европы, то его увидят наши внуки», — говорил он.

игрыше, было не менее велико*. Потом они вместе поехали в Италию, которая произвела чарующее впечатление на моего отца, были в Неаполе и Риме. Полина кокетничала со всеми мужчинами, встречавшимися на ее пути, и доставляла своему возлюбленному много хлопот. Впоследствии отец описал это удивительное путешествие в романе «Игрок». Он изменил место действия, но героиню зовут Полина.

Думая об этом периоде жизни Достоевского, с удивлением спрашиваешь себя, как мог человек, живший в двадцать лет воздержанно, как святой, в сорок лет совершать подобные безумства. Это нельзя объяснить ничем иным как аномалией его физического развития. В двадцать лет мой отец был робким школьником; в сорок он пережил тот юношеский угар, который переживают почти все мужчины. «Кто не безумствовал в двадцать лет, тот совершает безумства в сорок»,— гласит мудрая пословица и доказывает таким образом, что подобные своеобразные возрастные сдвиги не так редки, как думают. В этом событии в жизни Достоевского сказалось возмущение благородного человека, желание супруга, оставшегося верным жене, тогда как она издевалась над ним со своим любовником. Мой отец хотел доказать себе, что и он может обманывать свою жену, вести легкую жизнь других мужчин, играть в любовь и развлекаться с красивыми девушками. Есть некоторые данные, которые позволяют это предположить. Очень странно, например, что Достоевский в романе «Игрок» изображает себя в образе домашнего учителя. Как я упоминала ранее, Мария Дмитриевна обманывала отца с домашним учителем. Отвергнутый молодой девушкой, которую он любит, этот учитель идет прямо к распутной женщине, которую презирает, и едет с ней в Париж, чтобы отомстить той девушке, которую продолжает любить. Но помимо мести обманутого мужа есть в этом романе Достоевского и истинная страсть. Герой в «Игроке» говорит о Полине следующее: «Бывают минуты, когда я отдал бы полжизни, чтобы задушить ее. Клянусь, если бы возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился бы за него с наслаждением. А между тем, клянусь всем, что есть святого, если бы, на Шлангенберге, на модном пуанте, она действительно сказала мне: «бросьтесь вниз», то я бы тотчас же бросился и даже с наслаждением».

Хотя Достоевский хотел отомстить Марии Дмитриевне, вступив в связь с Полиной, он предпринял все меры предосторожности, чтобы его больная жена ничего об этом не узнала. Он должен был реабилитировать себя в своих собственных глазах, но у него не было намерения причинять боль несчастной чахоточной.

---

* Достоевский познакомился с игрой в рулетку еще во время своего первого путешествия по Европе и даже выиграл значительную сумму. Сначала игра оставляла его довольно холодным; только во время второго путешествия в сопровождении Полины его захватила страсть к игре в рулетку.

Меры предосторожности, предпринятые им, были настолько надежны, что только родные и некоторые близкие друзья знали об этой любовной истории. Этот эпизод в его жизни делает понятным характер своенравных и авантюристичных героинь его романов. Аглая в «Идиоте», Лиза в «Бесах», Грушенька в «Карамазовых» и многие другие являются более или менее портретами Полины Н. Этот эпизод в жизни моего отца, как мне кажется, объясняет странную, преисполненную ненависти любовь Рогожина к Настасье Филипповне.

Осенью Достоевский вернулся в Петербург и узнал, что болезнь его жены перешла в последнюю свою стадию. Охваченный состраданием к несчастной *, отец забыл свою ненависть, немедленно отправился в Тверь и уговорил умирающую ехать с ним в Москву, где она сможет лечиться у хороших врачей. Агония Марии Дмитриевны длилась всю зиму. Мой отец не отходил от нее и обеспечил тщательный уход за ней. Он редко выходил из дома, так как всецело был поглощен своим романом «Раскольников»[127], над которым тогда работал. Когда, наконец, весной Мария Дмитриевна умерла, Достоевский написал несколько писем своим друзьям, в которых сообщал о ее смерти и отзывался об умершей с уважением. Он признавался, что не был с ней счастлив, но утверждал, что жена любила его, несмотря на размолвки. Честь имени всегда была священна для Достоевского и вынуждала его скрывать от друзей неверность Марии Дмитриевны. Только родные знали печальную историю. Отец должен был скрывать истину и ради пасынка Павла, которого он воспитывал в духе уважения к его умершим родителям. Я помню, как однажды за обеденным столом Павел Исаев презрительно заговорил о своем отце, утверждая, что тот был «тряпкой» в руках жены. Мой отец рассердился, высказался в защиту памяти капитана Исаева и запретил пасынку говорить когда-либо в подобном тоне о своих родителях.

Как я уже упоминала раньше, у моего отца было намерение после смерти жены жениться на Полине. Но со времени их совместного путешествия в Европу мнение его о своей возлюбленной очень изменилось. Полина, впрочем, не придавала этому замужеству значения, гораздо больше ей, как красивой девушке, хотелось сохранить полную свободу. Не отец мой ей нравился, а его литературная слава и особенно успех его у студентов. Как только Достоевский вышел из моды, Полина поспешила его оставить. Отец тогда начинал печатать «Раскольникова». Как всегда, уже с первых глав критики обрушились на эту вещь и взапуски ругали его. Один объявил публике, что Достоевский в лице Рас-

---

* Во время связи с Полиной Достоевский не переставал заботиться о больной жене. Путешествуя с Полиной по Италии, он часто пишет брату Михаилу, прося выслать Марии Дмитриевне деньги, причитающиеся ему за статьи во «Времени».

кольникова* оскорбляет студентов. Эта глупость, как впрочем все глупости, пользовалась громадным успехом в Петербурге. Студенты, только что восхищавшиеся Достоевским, как один, отвернулись от него. Когда Полина увидела, что отец мой вышел из моды, она перестала им интересоваться. Она заявила Достоевскому, что не может простить ему преступления против русских студентов, этой святыни в ее глазах, и порвала с ним. Отец не пытался ее удерживать; у него давно уже не осталось иллюзий в отношении этого легкомысленного создания [128].

* В своем знаменитом романе Достоевский обнаружил поразительную дальновидность. За несколько дней до публикации первой главы «Раскольникова» в Москве было совершено преступление, абсолютно идентичное преступлению героя. Студент убил ростовщика, веря, «что все позволено». Друзья отца были очень удивлены этим совпадением, критики же не придали этому значения. И все же дальновидность Достоевского должна была заставить их понять, что, будучи далек от желания оскорбить студентов, он выявил те разрушения, которые производили в их незрелом мозгу анархические утопии, которыми наводнила нас Европа.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ДРУЖБА

Полиной Н. завершился период эротической страсти в жизни Достоевского, длившийся в общей сложности только около десяти лет, с 33-х до 43-летнего возраста. Африканская любовь Марии Дмитриевны и в некотором роде восточная страсть Полины Н. не оставили у моего отца приятных воспоминаний. Когда ему уже за сорок, он возвращается к литовскому идеалу своих предков. Он ищет целомудренную и чистую молодую девушку, добродетельную супругу и верную спутницу в жизни. В обеих следующих любовных историях затронуто сердце, а не чувственность. Обратимся сначала к первой.

В то время в отдаленной части Литвы жил богатый помещик Корвин-Круковский, принадлежавший к литовскому дворянству и ведущий свое происхождение якобы от Корвина, мифического короля языческой Литвы. Он был женат и имел двух дочерей, которым дал хорошее образование. Младшая, Соня, впоследствии вышла замуж за Ковалевского и стала профессором математики в Стокгольмском университете, она была первой женщиной, удостоенной этого звания. В то время, о котором я говорю, Соне было четырнадцать лет, и в жизни Достоевского она не играла никакой роли.

Старшая, Анна, красивая девушка 19 лет [129], заинтересовалась литературой. Она была большой почитательницей моего отца и знала все его произведения. Роман «Раскольников» произвел на нее глубокое впечатление. Она написала Достоевскому длинное письмо, очень ему понравившееся. Он сразу же ответил Анне Круковской. Завязалась переписка, длившаяся несколько месяцев. Анна умоляла своего отца взять ее с собой в Петербург, чтобы она могла познакомиться со своим любимым писателем. Вся семья приехала в столицу и поселилась в меблированной квартире; поспешили пригласить моего отца и были с ним очень любезны. Достоевский стал часто бывать в этом гостеприимном доме и, наконец, попросил руки Анны Круковской. Он был вдовцом и страдал от одиночества. Мария Дмитриевна приучила его к домашнему очагу, к уюту, который создает в доме только присутствие женщины. Он тосковал по детям и с ужасом сознавал, что молодость его прошла. Достоевский не был влюблен в Анну, но ему нравилась молодая, хорошо воспитанная, веселая, остроумная и приветливая девушка. Ее литовская семья дала согласие. Круковская также не любила моего отца, но с большим восхищением относилась к его таланту. Она с радостью согласилась

стать его женой; но их помолвка была кратковременной. Они расходились в своих политических взглядах. Достоевский все более и более становился монархистом и патриотом России, Анна Круковская придерживалась космополитических взглядов и была явной анархисткой. Пока они говорили о литературе, все шло хорошо; но как только речь заходила о политике, они начинали спорить и ссориться. В России часто можно наблюдать подобное, ибо искусство спокойного политического дискутирования еще не усвоено нами. Помолвленные своевременно заметили, что их брак стал бы адом, и отказались от него [130]. Труднее было отказаться от дружбы. Вернувшись к себе в имение, Анна продолжала писать моему отцу, и, как и прежде, он отвечал ей. На следующую зиму семейство Круковских снова приехало в Петербург, и Достоевский бывал у них так же часто, как и прошлой зимой. Любовь отца к Круковской была, в сущности, лишь литературной дружбой, в которой писатели так же нуждаются, как и в любви. Когда Достоевский был помолвлен с моей матерью, Анна Круковская была первой, кто тепло поздравил его. Вскоре после второй женитьбы моего отца Анна с родителями уехала за границу и встретилась в Швейцарии с французом, господином Ж., настроенным так же анархически, как и она [131]. Они пережили восхитительные минуты, разрушая вместе Вселенную и воссоздавая ее на гармонических основах, и получили такое удовольствие от этого занятия, что в один прекрасный день поженились. Вскоре им представился повод на деле применить их анархические идеи. Началась война между Францией и Германией, Париж был осажден, власть была в руках Коммуны. Оба Ж. приняли в ней деятельное участие. После того как госпожа Ж. подожгла ценное собрание произведений искусства, которое, по-видимому, должно было быть уничтожено на благо человечеству, она бежала из Парижа. Муж ее был арестован и помещен в тюрьму. Видя отчаяние дочери, боготворившей своего мужа, старик Корвин-Круковский продал часть своих земель, поехал в Париж и организовал побег своего зятя, уплатив за это сто тысяч франков [132]. Семья Ж. долго не могла вернуться во Францию. Они обосновались в Петербурге, и госпожа Ж., как и прежде, поддерживала дружеские отношения с моим отцом. Ради своей прежней невесты Достоевский сердечно принял и ее супруга-коммуниста, хотя у них не было ничего общего. Госпожа Ж., в свою очередь, подружилась с моей матерью; ее единственный сын Жорж Ж. был товарищем моих детских игр.

Я думаю, что отец вывел Круковскую в образе Кати, невесты Дмитрия Карамазова. Катя — не русская, она истинно литовская девушка, гордая и целомудренная; преисполненная высокого сознания семейной чести, она жертвует собой, чтобы спасти честь своего отца, она верна своему слову невесты и своей миссии спасти Дмитрия Карамазова, помогая ему преодолеть свои пороки. Русские девушки гораздо примитивнее. Восточная страстность или славянское чувство сострадания преобладают у них над всеми прочими соображениями.

ДОСТОЕВСКИЙ КАК ГЛАВА СЕМЬИ

Примерно в период публикации знаменитого романа «Раскольников» пошатнулись дела моего дяди Михаила. Журнал «Время» был запрещен из-за опубликованной в нем политической статьи, неправильно понятой цензурой. Спустя несколько месяцев Михаил Достоевский получил разрешение на издание нового журнала «Эпоха», но, как это часто бывает в России, этот новый журнал не имел успеха первого, хотя дядя мой привлек к сотрудничеству в нем тех же писателей. «Эпоха» выходила в течение нескольких месяцев, а потом прекратила свое существование из-за недостатка читателей. Это было тяжелым ударом для Михаила Достоевского[133]. Его организм, уже ослабленный пьянством[134], не выдержал, и он умер после непродолжительной болезни. Как большинство моих соотечественников, мой дядя жил на широкую ногу и ничего не откладывал, надеясь, что доходы от журнала надежно обеспечат его детей. Его сыновья были еще очень юны, их образование не было завершено. Поэтому они не могли поддержать мать. Мой дядя оставил после себя значительные долги.

По русским законам эти долги погашались с дядиной смертью; его семья, ничего не унаследовавшая, не обязана была оплачивать их. Поэтому все были очень удивлены, когда мой отец объявил кредиторам Михаила Достоевского, что чувствует себя ответственным за все обязательства, принятые его братом, и постарается погасить их как можно скорее. Кроме того, он обещал своей невестке помогать ей и ее четверым детям до тех пор, пока ее сыновья не смогут сами себя обеспечивать. Друзья моего отца пришли в ужас, услышав об этом решении; они сделали все возможное, чтобы отговорить его принимать на себя долги брата, к чему не мог его принудить ни один закон. Достоевский считал, что они требуют от него совершения бесчестного поступка. Друзья не понимали больше друг друга. Друзья отца мыслили, как русские, Достоевский же — как литовец. Как ни восхищался он Россией, но жил все же, оставаясь верным преданиям своих предков. Тем, кто хочет понять характер Достоевского, не следует забывать о том, что Литва переняла свои взгляды на семью и государство от рыцарей немецкого ордена, которые, завоевав Литву «огнем и мечом», насадили там рыцарские идеи и институты средневековья. Согласно этим взглядам, честь семьи превыше всего. Понимали же ее гораздо шире, чем сегодня. Все, носившие одну

и ту же фамилию, считались ее членами и отвечали друг за друга. Честь семьи была высшим идеалом, мужчины и женщины жили только для нее. Когда умирал отец, главой семьи становился старший сын и все брал на себя. В случае преждевременной смерти его место занимал второй сын и брал на себя его обязанности. Не зря восхищался Достоевский прекрасной готикой Кельнского собора: его душа тоже была готической. Он считал само собой разумеющимся пожертвовать собой ради семьи брата и взять на себя все его долги. Друзья же моего отца были правы, в свою очередь, находя такое поведение странным, так как в России, с ее византийской культурой, понятие семьи почти не существует. Заботятся по мере возможности о детях, а к судьбе братьев и сестер большей частью равнодушны. «Я не делал этих долгов, почему же я должен платить?» — сказал бы любой русский, оказавшись в положении моего отца, образ действий которого должен был казаться ему фантастичным, почти смешным. Достоевский же, далекий от того, чтобы считать себя смешным, очень серьезно отнесся к своей роли главы семьи. Но, пожертвовав свою жизнь памяти брата Михаила, он потребовал, чтобы племянники и племянницы видели в нем руководителя и защитника и следовали его советам. Это требование очень не понравилось детям дяди Михаила. Они считали само собой разумеющимся жить за счет своего дядюшки, но не имели никакого желания повиноваться ему. Они насмехались над Достоевским за его спиной и обманывали его. В одну из его племянниц, его любимицу, был влюблен студент, довольно бесцветный молодой человек, ненавидевший Достоевского «за то, что он в лице Раскольникова оскорбил русское студенчество». Споря как-то с моим отцом на политические темы, он выказал ему неуважение. Достоевский рассердился и запретил своей невестке принимать у себя этого наглого молодого человека. Она сделала вид, что послушалась, но влюбленный студент тайком продолжал бывать в их доме. Как только он окончил университет и получил место в министерстве, моя кузина вышла за него замуж. Неблагодарная с особым удовольствием тайком отпраздновала свадьбу, не пригласив на нее своего дядю, трудившегося, как негр, чтобы поддержать семью. Встретив позднее моего отца у своей матери, новобрачная рассмеялась ему в лицо и обошлась с ним, как с выжившим из ума стариком. Мой отец до глубины души был уязвлен подобной неблагодарностью. Он любил свою племянницу Марию, как собственную дочь, ласкал ее и развлекал, когда она была еще маленькой, позднее гордился ее музыкальным талантом и ее успехом у молодых людей. Она была одной из лучших учениц Антона Рубинштейна. Часто, когда отца просили читать на литературном или музыкальном вечере, он настаивал, чтобы приглашали играть также и мою кузину. Отец гордился ее успехом больше, чем своим собственным.

Муж кузины Марии скоро понял, какую совершил глупость, порвав со знаменитым писателем. Спустя шесть или семь лет,

когда мои родители вернулись из-за границы, он попытался возобновить дружеские отношения и заинтересовать моего отца будущим своих многочисленных детей. Достоевский согласился принять племянницу, но вернуть ей свою любовь он не смог, ибо она угасла [135].

Другая моя кузина еще больнее ранила сердце Достоевского. Она влюбилась в довольно известного ученого, от которого ушла жена, не дав ему развода, хотя и любила другого, чтобы обманутый муж не мог воспользоваться свободой. В России в те времена трудно было развестись. Без взаимного согласия развод был почти невозможен. Моя кузина пренебрегла общественным мнением и стала любовницей или, как тогда говорили, «гражданской женой» ученого, не имевшего права жениться на ней. Она прожила с ним до его смерти, свыше двадцати лет, и все друзья ученого относились к ней, как к его законной жене. Несмотря, на нравственную чистоту этой связи, отец мой никогда не смог простить племянницу. Это случилось через несколько лет после свадьбы моих родителей, и моя мать позднее рассказывала мне, что Достоевский рыдал, как ребенок, узнав о «позоре» своей племянницы. «Как она могла осмелиться опорочить честное имя Достоевских?» — повторял, горько плача, мой отец. Он запретил моей матери поддерживать какие бы то ни было отношения с виновной; я никогда не знала эту кузину [136].

Понятно теперь, что мой отец не мог чувствовать себя счастливым в семье брата Михаила, не способной его понять. Достоевский принадлежал к тем редким в наше время мужчинам, которые умирают от отчаяния, если их сыновья совершают дурной поступок или их дочери сбиваются с пути. Чувство чести у него преобладало над всеми другими чувствами. Он все еще жил рыцарскими представлениями своих предков, тогда как его племянники и племянницы забыли о европейской культуре своей литовской семьи и предпочли ей легкие нравы полувосточного русского общества. К тому же они унаследовали от своей матери-немки ту черствость души, которую часто можно встретить среди немцев балтийских провинций.

Не только о племянниках и племянницах, но и о своем брате Николае, несчастном пьянице, целиком оказавшемся на его попечении после смерти дяди Михаила, должен был заботиться мой отец. Достоевский очень сочувствовал ему и всегда хорошо к нему относился. Но он никогда не любил младшего брата так сильно, как старшего. Дядя Николай был слишком незначительным человеком; бедняга думал лишь о своей бутылке. Достоевский помогал также моей тетке Александре, единственной из всех трех сестер жившей в Петербурге, муж которой был болен и не мог работать. Она не испытывала никакой благодарности за его великодушную помощь и постоянно ссорилась со своим братом. Семья Достоевских вела себя очень странно: вместо того чтобы гордиться тем, что их брат — гений, они в гораздо большей степени ненавидели его за его превосходство. Только дядя Андрей гордился

литературным талантом старшего брата; но жил он в провинции и редко бывал в Петербурге.

Несмотря на столь недружелюбное отношение родных, Достоевский все же прощал им многое в память о матери, о детских и юношеских годах. Гораздо тяжелее было ему переносить злобность и скверный характер своего пасынка, Павла Исаева, с которым его не связывали кровные узы. Ленивый и глупый, Паша, как его обычно звали, ничего не хотел делать в кадетском корпусе, где он имел право учиться как сын офицера и куда его определил Достоевский, и начальство корпуса, в конце концов, вынуждено было его исключить. Этот на одну четвертую мамелюк стал жертвой литературной славы его отчима; он был ослеплен успехом романов Достоевского. Насколько простым и скромным оставался мой отец, настолько же чванился и высокомерно вел себя его пасынок. Он всех презирал, беспрестанно говорил о своем «папе», знаменитом писателе Достоевском, что не мешало ему нагло вести себя с отчимом. Он считал, что теперь ему не надо будет учиться и работать. Его «папа» должен был давать ему деньги, и он не стыдился требовать их от него. Достоевский не любил этого мулата, обладавшего талантом задевать его европейскую деликатность; но отец не мог забыть обещание, данное когда-то Марии Дмитриевне, взять на себя заботу о ее осиротевшем ребенке. Теперь Достоевский раскаивался, что так плохо воспитал пасынка. «Другой отчим был бы строже и сделал бы из Паши человека, полезного своему отечеству»,— говорил он печально друзьям и оставлял этого бездельника у себя, как кару небесную за плохо исполненный долг.

Когда петербургские родственники уж очень выводили Достоевского из себя, он уезжал в Москву, чтобы отдохнуть в семье сестры Веры, вышедшей замуж за москвича и имевшей много детей. Его московские племянники и племянницы были проще и не имели такого самомнения, как онемеченные дети Михаила Достоевского. Они оказались неспособны понять значение своего дядюшки, но очень его любили за веселый нрав и молодость души. Достоевский вывел эту семью в романе «Вечный муж» под именем Захлебининых. Сам же он выступает в роли Вельчанинова, мужчины 40 лет, любящего молодежь и с удовольствием принимающего участие во всевозможных развлечениях молодых людей и девушек, танцующего и поющего с ними. Особенно интересовали Достоевского его молоденькие племянницы. Старшая, Мария, была любимой ученицей Николая Рубинштейна, директора Московской консерватории. «Если бы при ее пальцах у нее была еще хорошая голова, то она могла бы сделаться большой музыкантшей»,— говорил часто Рубинштейн, когда разговор заходил о моей кузине. «Головы»-то, по-видимому, у нее не было, ибо Мария никогда не стала знаменитой; но она хорошо играла, и отец мой без устали мог слушать ее блестящую игру. Еще больший интерес вызывала у Достоевского его племянница Софья, интеллигентная и серьезная девушка. Я не знаю, почему он считал, что

она унаследовала его литературный талант. Моя кузина часто говорила о романе, который собиралась писать, но не находила подходящего материала. Вся семья, в том числе и мой отец, предлагали ей различные темы, но они ей не подходили. Через несколько лет после свадьбы моих родителей вышла замуж и кузина Софья и отказалась от своих честолюбивых намерений в отношении литературы [137].

Эта какая-то средневековая любовь ко всем членам своей столь многочисленной семьи позднее доставила много хлопот моей матери. Воспитанная в русском духе, она полагала, что все деньги, заработанные ее мужем, должны принадлежать его жене и его детям, тем более что она помогала Достоевскому в его литературном труде, как могла. Мать моя не понимала, почему ее муж лишает ее самого необходимого, чтобы иметь возможность помочь какому-нибудь члену семьи, не любящему его и завидующему его литературной славе. Лишь позднее, когда мои братья и я подросли, Достоевский перенес всю любовь на нас. Но больному брату Николаю и бездельнику Павлу Исаеву он помогал до самой смерти.

СЕМЬЯ МОЕЙ МАТЕРИ

Вскоре Достоевский понял, что значит иметь долги [138]. Едва лишь он поставил свою подпись под векселями, выданными братом Михаилом, как кредиторы, которые должны были бы быть ему благодарны за его намерение оплатить долги, признанные законом недействительными, потеряв всякий стыд, потребовали немедленной выплаты денег и грозили ему тюрьмой. Чтобы удовлетворить самые настоятельные требования, Достоевский сам сделал долги, обязался платить высокие проценты и попал в руки недобросовестного издателя, небезызвестного Стелловского, купившего у него за незначительную сумму право на издание полного собрания его сочинений. Кроме того, Стелловский потребовал, чтобы мой отец добавил к этому изданию новый роман определенного размера. Роман должен был быть представлен 1 ноября того же года [139]; если он не будет окончен к этому дню, тогда Достоевский теряет авторские права, и его произведения становятся собственностью Стелловского. Загнанный в угол кредиторами своего брата Михаила, мой отец должен был принять эти варварские условия. Он оставил «Раскольникова», эпилог которого еще не был написан [140], и начал лихорадочно писать роман «Игрок». Достоевский работал день и ночь, у него ухудшилось зрение, и он должен был обратиться к глазному врачу. Тот запретил ему работать и высказал опасение, что иначе он может ослепнуть. Как истый ростовщик, Стелловский угрожал моему отцу тюрьмой, и полиция послала к Достоевскому агента, чтобы поставить его в известность об этой опасности. Мой отец принял полицейского агента любезно и так искренне рассказал ему о своем удручающем финансовом положении, что полицейский был глубоко тронут; вместо того чтобы помочь Стелловскому в его намерении заключить отца в тюрьму, он использовал весь свой юридический опыт, чтобы освободить моего отца из когтей ростовщика. Он так был восхищен Достоевским, что часто стал навещать его и сообщал ему о всех удивительных случаях, свидетелем которых он оказывался в силу своей профессии. Благодаря этому полицейскому отец смог так точно описать события в «Раскольникове», где действует полиция [141]. Этот эпизод наглядно демонстрирует, каким образом Достоевский приобретал друзей. И теперь перестаешь удивляться, как мог он превращать закоренелых

преступников в верных слуг. Это доказывает также, что характер князя Мышкина в «Идиоте», тоже наделенного даром превращать врагов в друзей,— это истинный характер самого Достоевского.

Мой отец был в отчаянии. Было уже начало октября, а роман находился еще в зачаточном состоянии. Друзья Достоевского были очень озабочены этим и изыскивали пути и средства помочь ему. «Почему Вы не возьмете стенографа? — сказал ему Милюков [142].— Вы можете диктовать ему Ваш роман, а он будет записывать его вместо Вас». Тогда стенография была еще новостью для России. Некий Ольхин [143] изучал ее за границей и теперь открыл курсы, которые спешно готовили первых русских стенографов. Мой отец отправился к нему, изложил ему свой случай и попросил послать к нему хорошего стенографа. «К сожалению,— ответил Ольхин,— я не могу рекомендовать Вам ни одного из моих учеников. Я открыл мои курсы весной и должен был закрыть их на все лето, а во время каникул — в России летние каникулы длятся три месяца — мои ученики забыли и то немногое, что знали. У меня есть единственная хорошая ученица, но она не заинтересована в деньгах и скорее занимается стенографией ради удовольствия, а не ради заработка. Она еще очень молода, и я не знаю, позволит ли ей мать работать у мужчины. Во всяком случае я завтра же предложу ей Вашу работу и сообщу Вам ответ» [144].

Эта юная девушка, о которой говорил Ольхин, стала позднее моей матерью. Прежде чем рассказывать об этой любви Достоевского, я хотела бы сказать несколько слов о семье, в которой выросла его вторая жена, ставшая в последние четырнадцать лет его жизни его ангелом-хранителем.

Мой дед по материнской линии, Григорий Иванович Сниткин, был по происхождению украинцем. Предки его принадлежали к семье казаков, живших на берегах Днепра в окрестностях Кременчуга. Фамилия их была Снитко. Когда Украина была присоединена к России, они обосновались в Петербурге и, чтобы доказать верность русской империи, изменили украинскую фамилию Снитко на русскую Сниткин. Они сделали это от чистого сердца, а не из низких побуждений и заискивания; для предков моей матери Украина навсегда осталась Малороссией, младшей сестрой Великой Руси, восхищавшейся ею до глубины души. И после переселения в Петербург мои предки остались верны своим украинским традициям. Тогда Украина находилась под влиянием католических священников, имевших славу лучших воспитателей молодых людей. По этой причине мой прадед Иван Сниткин, хотя был православным, отдал своего сына Григория в школу иезуитов, только что открытую в Петербурге, впоследствии, однако, закрытую по приказу русского правительства. Мой дед получил там отличное воспитание, какое всегда дают ксёндзы, но на протяжении всей жизни ничего иезуитского в его поведении не было. Он был настоящим славянином: слабым, робким, добропорядоч-

ным, сентиментальным и романтичным. В молодости он пережил большую страстную любовь к знаменитой Асенковой, единственной исполнительнице ролей в классических трагедиях в России. Мой дед проводил все вечера в театре и знал наизусть ее монологи. Тогда дирекция императорских театров разрешала поклонникам актеров приветствовать их на сцене. Юношеская робкая и почтительная влюбленность моего деда очень нравилась Асенковой, и она выказывала ему свое благоволение разными способами. Так, она доверяла моему деду свою шаль и цветы, когда шла на сцену читать прекрасные стихи Расина или Корнеля; на его руку она опиралась, возвращаясь, дрожащая и обессиленная, в ложу, в то время как охваченные восторгом зрители бурно аплодировали обожаемой актрисе. Другие поклонники Асенковой ревновали моего деда к ней и требовали своей очереди на право нести ее шаль и сопровождать ее в ложу. «Нет! — сказала Асенкова ревнивцам.— Нет, это право принадлежит Григорию Ивановичу. Я так хорошо себя чувствую, опираясь на его руку!» Бедная Асенкова была очень хрупкой, очень болезненной; она страдала чахоткой и умерла молодой. Отчаяние моего деда было необычайным; в течение многих лет у него не хватало мужества пойти в театр, который он так любил. Он никогда не забывал великую актрису и часто молился на ее могиле. Моя мать рассказывает, что однажды, когда она была еще совсем маленькая, ее отец взял с собой на кладбище ее, брата и старшую сестру, заставил их встать на колени перед надгробием Асенковой и сказал им: «Дети, молите Бога об упокоении души величайшей актрисы нашего столетия!»

Я была уверена, что эта страсть моего деда известна только нашей семье. Поэтому я была очень удивлена, когда нашла в одном историческом журнале упоминание об этом в статье старого театрала. Он утверждал, что страсть моего деда была не любовью молодого мужчины к красивой женщине, а восхищением талантом великой актрисы. По-видимому, подобная страсть — редкое явление в России, если она так надолго запомнилась старому хроникеру. Он приводит и подробность, мне не известную: через некоторое время после смерти Асенковой в ролях трагического репертуара предстала перед публикой одна из ее сестер. На ее дебют пришел и мой дед, не посещавший театр после смерти своего божества. Он внимательно слушал юную дебютантку, но ее игра ему не понравилась, и он снова исчез.

Мой дед был одним из тех людей, которые рано старятся. К тридцати пяти годам он потерял все свои волосы и большую часть зубов. Его лицо было изборождено морщинами, и он выглядел, как старик. Но в этом возрасте он женился при странных обстоятельствах.

Моя бабушка с материнской стороны, Мария-Анна Мильтопеус, была шведкой из Финляндии. Она утверждала, что ее предками были англичане, вынужденные покинуть в XVII веке свою страну из-за религиозных волнений. Они поселились в Швеции,

женились на шведках и потом переселились в Финляндию, где приобрели поместье. Английская их фамилия была, должно быть, Мильтон или Мильтоп, так как окончание «ус» шведское. В Швеции был обычай добавлять к мужским именам людей науки — пасторов, писателей, ученых, врачей, профессоров — это окончание. Я не знаю, какая профессия была у моего прадеда Мильтопеуса; заслуги его перед соотечественниками столь велики, что они похоронили его в кафедральном соборе Або, финском Вестминстерском аббатстве, и над его могилой воздвигли мраморный памятник [145].

Моя бабушка очень рано потеряла своих родителей и воспитывалась у теток, не сделавших ее молодость счастливой. В молодости Мария-Анна была очень хороша, тип красоты ее был истинно норманнский. Высокая, стройная, с классически правильными чертами лица, с великолепным цветом лица, голубыми глазами, роскошными золотистыми волосами, она вызывала всеобщее восхищение. У Марии-Анны был чудный голос, и подруги называли ее «второй Христиной Нильсон» [146]. Это восхищение вскружило бабушке голову, и она решила стать певицей. Она отправилась в Петербург, где ее братья служили офицерами в гвардейском полку его величества, и сообщила им о своем плане. «Ты сошла с ума,— сказали ее напуганные братья.— Ты будешь виновата, если нас выгонят из полка! Товарищи не позволят нам остаться, если ты станешь актрисой». В России всегда придерживались довольно строгих правил в этом отношении; офицер должен был подать в отставку, если хотел жениться на актрисе. Вероятно, в те времена, когда моя бабушка была молода, русские офицеры не могли также иметь родственников на сцене. Мария-Анна должна была пожертвовать своим актерским честолюбием ради военной карьеры братьев. Она сделала это тем охотнее, что вскоре после прибытия в Петербург влюбилась в одного из их товарищей, молодого шведского офицера. Любящие обменялись клятвой в верности и собирались пожениться, когда началась война; офицер был отправлен на фронт и одним из первых убит. Мария-Анна была слишком горда, чтобы плакать, но ее сердце было разбито. Она продолжала жить у своих братьев, но больше не обращала никакого внимания на мужчин; по-видимому, они не существовали для нее больше. Ее невесток не очень устраивало присутствие в доме красивой девушки с властным характером, оспаривавшей у всех первенство. В те времена девушка из хорошей семьи не могла жить одна; она должна была жить или в доме супруга, или у родных. Следовательно, ей надо было выйти замуж, чтобы быть независимой. Ее невестки взялись за дело, устраивали вечера и приглашали молодых людей. Красивая шведка, поющая страстным голосом, имела большой успех. Мария-Анна получала много предложений, но все отклонила. «Мое сердце разбито,— сказала она родным.— Я никого не могу любить». Невестки рассердились, услышав эти слова, казавшиеся им бессмысленными, и попытались образумить свою эксцентрич-

ную родственницу. Однажды, когда ее принуждали согласиться на выгодный для нее брак, Мария-Анна раздраженно сказала: «Послушайте, Ваш протеже мне настолько противен, что, если уж я должна во что бы то ни стало выйти замуж, лучше я выйду за доброго старого Сниткина, он по крайней мере симпатичен мне». Мария-Анна обронила эти неосторожные слова, не придав им значения. Но ее невестки немедленно ухватились за них. Они направили преданных им подруг к моему деду, чтобы те очень деликатно упомянули о пылкой страсти, которую воспламенили в сердце девицы Мильтопеус его достоинства. Дед мой был очень удивлен. Конечно, он восхищался красавицей-шведкой и с удовольствием слушал оперные арии в ее исполнении, но мысль, что он может понравиться этой красивой девушке, никогда не приходила ему в голову. Она не обращала на него никакого внимания, рассеянно улыбалась, проходя мимо, и изредка перекидывалась с ним словом. Но если она действительно так его любила, то он охотно попросит ее руки.

Невестки Марии-Анны с ликующим видом передали ей предложение моего деда. Бедная девушка очень испугалась. «Но я не хочу выходить замуж за этого старого господина, — сказала она своим невесткам.— Я говорила о нем для сравнения, чтобы Вы поняли, до какой степени был мне противен другой претендент». Это объяснение запоздало. Родственники Марии-Анны сказали ей строго, что хорошо воспитанная молодая девушка никогда не должна произносить неосторожные слова; что можно, конечно, отказать человеку, делающему предложение, не зная, как оно будет принято; но отклонить предложение, спровоцированное самой, значит оскорбить достойного человека, не заслужившего, конечно, такой обиды; к тому же Марии-Анне уже двадцать семь лет, и она не может неизвестно до каких пор оставаться у своих братьев, и это самое время для нее задуматься, наконец, всерьез о своем будущем. Бабушка моя увидела, что невестки поймали ее в западню, и покорилась неизбежному. К счастью, «этот бедный, старый Сниткин» был ей симпатичен.

Брак этих двух мечтателей оказался довольно удачным. Дед мой никогда не забывал знаменитую Асенкову, бабушка постоянно думала о любимом женихе, бедном офицере-блондине, павшем на поле битвы; однако это не помешало им иметь нескольких детей. Их характеры дополняли друг друга; бабушка была властной женщиной, супруг ее — робким; она приказывала, он повиновался. Однако дед всегда мог настоять на своем, когда речь шла о близких сердцу вещах. Он пожелал, чтобы его жена переменила религию, и объяснил ей, что дети не смогут быть хорошими христианами, если их родители исповедуют разные религии. Бабушка перешла в православие, но продолжала читать Евангелие по-шведски. Позднее, когда дети начали говорить, дедушка запретил жене учить их ее родному языку. «Мне скучно, когда вы говорите между собой по-шведски, а я не понимаю»,— сказал он. Это запрещение было очень неприятно моей бабушке, так ни-

когда не научившейся правильно говорить по-русски. Всю жизнь она говорила по-русски на собственный, довольно причудливый лад, и ее друзья часто смеялись над ней. Если речь шла о чем-то важном, она предпочитала говорить с детьми по-немецки.

После свадьбы дедушка и бабушка сняли сначала квартиру, как это обычно делалось в Петербурге. Этот образ жизни не нравился моей бабушке, привыкшей в Финляндии к более широкой жизни. Она попросила мужа приобрести земельный участок, продававшийся на берегу Невы, в отдаленном квартале, недалеко от Смольного монастыря. Она распорядилась построить там поместительный дом, окруженный большим садом. В самом центре Петербурга она жила, как на даче. У нее были свои цветы, фрукты, овощи. Бабушка не испытывала особой любви к украинской родне мужа и принимала их только по семейным праздникам. Все же шведки, приезжавшие в Петербург и так или иначе связанные с кем-нибудь из ее многочисленных родственников в Финляндии, бывали у нее, завтракали, обедали и даже иногда ночевали в просторном бабушкином доме, где было несколько комнат для гостей. Уезжая в Финляндию, шведские подруги оставляли на ее попечение своих детей, определенных в различные императорские институты, и сыновей, служивших офицерами в русских полках. В такие праздники, как Рождество и Пасха, дом и сад дедушки и бабушки оглашались смехом и шведской болтовней маленьких институток, учеников кадетского корпуса, молоденьких робких офицеров, еще плохо говоривших по-русски и счастливых тем, что нашли в незнакомом Петербурге кусочек Финляндии. Как все женщины германского происхождения, бабушка очень мало заботилась о своем новом отечестве и думала только об интересах представителей ее собственного рода.

Моя мать очень недолюбливала эту Финляндию, проникнувшую в дом ее родителей. Ей внушали страх эти шведские дамы со строгим профилем, такие чопорные и церемонные, говорившие на непонятном языке. Маленькая Анна убегала к отцу, на которого была очень похожа и любимицей которого была. Он водил ее в церковь, посещал вместе с ней петербургские монастыри, каждый год совершал с ней паломничество в знаменитый монастырь на Валааме, расположенный на островах Ладожского озера. Моя мать на всю жизнь сохранила трогательную память об этом столь простом, добром, восторженном и сентиментальном человеке. Она была глубоко религиозной, как и он, и осталась верна православию. Те новые религиозные идеи, которыми были захвачены ее русские подруги, не нашли отклика в ее душе; мать больше доверяла мудрости отцов церкви, чем религиозным писателям, как раз вошедшим в моду. Как и ее отец, она страстно любила Россию и никогда не могла простить моей бабушке то равнодушие, почти презрение, которое та демонстрировала по отношению к стране своего супруга. Моя мать считала себя истинно русской. Но она была ею только отчасти: в характере ее сильно чувствовалась примесь шведской крови. Мечтательность и восточная

лень русских женщин были ей незнакомы; на протяжении всей своей жизни она была очень деятельным человеком, и я никогда не видела, чтобы она сидела со сложенными руками. Она постоянно находила себе новые занятия, воодушевлялась ими и большей частью доводила начатое до конца. Хотя у нее никогда не было широкого кругозора русских женщин, который делался еще шире благодаря многостороннему чтению, она обладала той практической сметкой, которой лишено большинство моих соотечественниц. Этот род ума импонировал ее русским подругам; впоследствии, овдовев, во все трудные моменты жизни они привыкли спрашивать совета у моей матери, и советы, которые она им давала, редко оказывались неудачными. Наряду с хорошими качествами шведских предков моя мать унаследовала и некоторые их недостатки. Она всегда была чрезмерно, почти болезненно, самолюбива, обижалась из-за пустяков и легко становилась жертвой людей, умевших ей польстить. Моя мать была немного суеверна, верила в сны, в предчувствия, была даже предрасположена к удивительному дару ясновидения, свойственному многим норманнкам. Она предсказывала всегда, улыбаясь и шутя, не придавая значения сказанному, и первая бывала удивлена, почти испугана, если ее подчас столь удивительные пророчества сбывались самым поразительным образом. Этот пророческий дар полностью пропал у нее к пятидесяти годам, как и истерия, омрачившая молодость моей матери. Ее здоровье всегда было хрупким: она страдала малокровием, была нервна, беспокойна, с ней часто случались нервные припадки. Эта нервозность усугублялась той злосчастной украинской нерешительностью, которая заставляет колебаться среди сотен возможностей и вынуждает воспринимать простейшие в мире вещи в драматическом или даже трагическом свете.

ЮНОСТЬ МОЕЙ МАТЕРИ

По мере того как подрастали дети, в доме бабушки и дедушки постепенно образовалось два враждебных лагеря, как бывает часто, когда отец и мать разной национальности. Шведский лагерь состоял из бабушки и ее старшей дочери Марии, довольно властной молодой дамы; украинский лагерь включал дедушку и его любимую дочь Анну. Шведы приказывали, украинцы повиновались, правда, не безропотно. Мой дядя Иван был связующим звеном между обеими враждующими партиями. Он унаследовал норманнскую красоту своей матери и украинский характер отца и был любим одинаково обоими родителями.

Моя тетя Мария была красивой девушкой, высокой и стройной, с голубыми глазами и чудесными золотистыми волосами. Она пользовалась в обществе большим успехом, и претендентам на ее руку не было конца. Она вышла замуж по любви, вступив в брак с профессором Павлом Сватковским [147], которому великая княгиня Мария поручила воспитание своих осиротевших сыновей, князей лихтенбергских. Ко времени замужества моей тетки воспитание молодых князей было уже закончено, но господин Сватковский все еще оставался как друг во дворце Марии. Моя тетка жила в этом прекрасном дворце, у нее были друзья-аристократы, красивые туалеты и элегантные экипажи. Когда она навещала своих родителей, тон ее был еще более высокомерным, чем прежде. С младшей сестрой она обращалась, как с маленькой институткой, что не было, в сущности, удивительным, так как моя мать тогда еще не окончила женскую гимназию, в которую ее определили родители. Ее болезненное самолюбие было уязвлено властным поведением старшей сестры. Моя мать была горда; она не хотела ничьей протекции и мечтала о независимости. Тогда по всей России прошла сильная волна свободолюбивых устремлений. Молодые русские девушки, которых до сих пор воспитывали на французский лад, не хотели больше выходить замуж за выбранных их родителями женихов и отказывались бывать в обществе. Их матери слишком много танцевали, дочери презирали балы и предпочитали литературные вечера или научные лекции. Они смеялись над романами и восторгались произведениями Дарвина. Они не обращали никакого внимания на свою внешность. Молодые девушки коротко стригли волосы, чтобы не тратить время на

прически, носили очки, черные платья, русские рубашки. Они мечтали учиться в университете. Если родители протестовали, молодые девушки убегали со студентами-идеалистами, которые женились на них, чтобы освободить их от «ненавистного деспотизма родителей». Браки эти были большей частью платонические. Супруги жили отдельно и встречались редко. Но молодая женщина выбирала себе любовника среди студентов, окружавших ее в университете, и жила с ним в «гражданском браке». Свободная любовь казалась этой глупой молодежи идеалом любви. Некоторые даже шли дальше: студенты и студентки собирались вместе, снимали большие квартиры и основывали коммуны, в которых также и женщины были общим достоянием всех мужчин. Молодые люди были очень горды этим редким учреждением, которое они наивно считали наивысшим достижением человеческой цивилизации. Они не знали, что это, напротив, был шаг назад к тем допотопным племенам, которым еще не был известен институт брака.

Моя мать была воспитана так, что, естественно, не могла участвовать в подобных глупостях. Послушная заповедям православной церкви, она считала свободную любовь смертным грехом. Короткие волосы и очки казались ей ужасно уродливыми; моя мать знала толк в красивых туалетах и изящных прическах. Она пыталась читать Дарвина, но нашла его скучным, а мысль о том, что обезьяны были ее предками, мало что ей говорила. Ее юную фантазию будили лишь романы и стихи русских писателей. У матери не было потребности бежать со студентом; она предпочитала покинуть родительский дом об руку с супругом, получив их благословение. Из всех идей, за которые боролись женщины, желая освободиться, моя мать выбрала лишь истинно благородные — а именно труд и независимость, которую получают те, кто принимает его всерьез. Она хорошо училась в женской гимназии и окончила ее с серебряной медалью, которой очень гордилась. Потом она некоторое время посещала высшие курсы [148], организованные родителями ее подруг. Именно тогда нравы студентов и студенток университета стали настолько скандально вызывающими, что напуганные родители объединились и пригласили профессоров преподавать их дочерям частным образом, чтобы они могли продолжить свои занятия и были в то же время ограждены от падения нравов. Бабушка уплатила свою часть, но ее дочь Анну не интересовали эти курсы. Хотя она и была отмечена медалью, но науку не любила, не могла, прежде всего, понять, куда приведут столь обширные знания [149]. Молодым русским девушкам нравится неопределенность: учиться для своего развития, чтобы лучше понимать жизнь и наслаждаться литературой,— вот к чему они обычно стремятся. Подобная расплывчатость не устраивала мою мать, практичную маленькую шведку. Он хотела овладеть профессией, которая позволила бы ей немедленно начать зарабатывать и дала бы возможность покупать книги и билеты в театр, а позднее совершать путешествия. Моя бабушка, ведавшая деньгами, неохотно давала их на то, что казалось ей ненужным;

мать же была слишком горда, чтобы выпрашивать каждую копейку, и предпочитала сама зарабатывать. Она нашла в газете объявление о курсах стенографии, где Ольхин обещал тем, кто обнаружит хорошие знания, место стенографа в судах, на заседаниях научных обществ, на различных конгрессах, словом — всюду, где требуется быстрая запись речей выступающих [150]. Это обещание привлекло мою мать; она смогла записаться на новые курсы и усердно их посещала. Это чисто механическое занятие мало что говорило девушке с богатой фантазией; мать же, не отличавшаяся большой силой воображения, находила его очень интересным. В это время отец ее уже был болен и в течение нескольких месяцев прикован к постели. Когда мама возвращалась домой после занятий, она сразу же отправлялась к нему, чтобы узнать, как он. Дедушка просил тогда поднять его повыше, опираясь на подушки, листал дрожащей рукой тетради дочери и с интересом расспрашивал, что означали все эти таинственные значки. Бедный больной был так рад, что его любимая дочь нашла, наконец, занятие, интересовавшее ее! Спустя несколько недель дедушка умер; мама горько его оплакивала и, чтобы отвлечься, еще усерднее занялась стенографией. Интерес, который проявлял дорогой покойный к ее занятиям, только усилил ее усердие. Когда начались каникулы и курсы были закрыты, мать боялась забыть летом полученные знания. Поэтому она предложила Ольхину, что будет записывать книжные тексты и посылать их ему на проверку. Ольхин, который уже начал выделять ее среди других учеников, с радостью согласился. Мать много работала летом и осенью, стала лучшей в классе. Так и случилось, что она была единственной стенографисткой, которую смог рекомендовать Достоевскому ее учитель. Однако он не без основания боялся сопротивления моей бабушки, которая, подобно всем шведкам того времени, была очень строга в вопросах приличия. Литературная слава моего отца спасла ситуацию.

Именно Достоевский был любимым писателем моего деда Григория, ставшего его почитателем с первого же романа и с величайшим участием следившего за началом его литературного пути. Возможно, его очаровала украинская поэтичность первых произведений Достоевского. Когда любимого писателя отправили на каторгу, дед мой считал, что тот исчез навсегда. Он оставался верен его памяти и часто говорил о нем своим детям. «Современные писатели никуда не годятся,— говорил он им.— В мое время писатели были гораздо серьезнее. Вот, например, молодой Достоевский. Что за великолепный талант, какая возвышенная душа! Как жаль, что его литературная карьера была прервана так рано!» Когда Достоевский снова начал писать, мой дедушка вновь стал его почитателем. Он сразу же подписался на журналы, публиковавшие произведения моего отца, и читал их с огромным интересом. Его дети, бывшие еще маленькими во времена молодости Достоевского, теперь разделяли увлечение их отца. «Униженные и оскорбленные» произвели глубокое впечатление на их

юные души. Когда появлялся новый номер журнала, вся семья лихорадочно ожидала почтальона. Дедушка первым завладевал книгой и читал ее в своем кабинете. Стоило ему только выпустить книгу из рук, как совершенно беззвучно проскальзывала туда моя мать и, спрятав журнал под школьным передником, бежала в сад, чтобы читать его там, под сенью ее любимого дерева. Тетя Мария, тогда еще незамужняя, заставала свою сестру на месте преступления и вырывала у нее журнал, ссылаясь на право старшинства. Все семейство дедушки было взволновано «Униженными и оскорбленными», оплакивало несчастье Наташи и маленькой Нелли и с тревогой следило за всеми перипетиями романа. Лишь одна бабушка не интересовалась этим. Она презирала романы и никогда их не читала. Она всецело была поглощена политикой. Я помню свою семидесятилетнюю бабушку в очках, с серьезным видом читающую газету. Она живо интересовалась всеми политическими событиями в Европе и говорила о них целыми днями. Ее очень занимала свадьба Фердинанда Кобургского. Была ли принцесса Клементина, выбранная из молодых европейских принцесс, хорошей для него партией? Этот трудный вопрос очень беспокоил мою бедную бабушку...

Мой дед всегда говорил о Достоевском, как о писателе его молодости, и мама моя была убеждена, что его любимый писатель — очень старый человек. Когда Ольхин предложил ей работать у Достоевского, мама почувствовала себя очень польщенной и с радостью согласилась. Бабушка, тоже считавшая Достоевского стариком, не возражала. В первый день работы мать причесала гладко волосы и впервые пожалела, что не может водрузить себе на нос очки. По дороге она пыталась представить себе, как пройдет эта первая встреча. «Мы поработаем час, а потом будем беседовать о литературе,— мечтала она наивно.— Я скажу ему, как я восхищаюсь его талантом, назову моих любимых героинь... Не забыть бы спросить его, почему Наташа в «Униженных и оскорбленных» не вышла за Ваню, который так любил ее... Может быть, надо покритиковать несколько сцен в его романе, чтобы показать Достоевскому, что я не дурочка и тоже кое-что понимаю в литературе. Он будет тогда больше уважать меня...» Но как быстро действительность разрушила все эти наивные мечты моей матери. У Достоевского накануне ночью был эпилептический припадок, он был рассеянным, нервным, малоразговорчивым. Он не заметил привлекательности своей юной стенографистки и обращался с ней, как с пишущей машинкой. Он диктовал ей строгим голосом первую главу романа, нашел, что она очень медленно пишет, заставил ее прочесть, что он ей продиктовал, рассердился и сказал, что она его не поняла. Так как он был измучен припадком, то без церемоний выпроводил свою стенографистку за дверь, приказав прийти завтра к этому же часу [151]. Моя мать была уязвлена до глубины души; она привыкла к другому обращению со стороны мужчин. Не будучи красивой, она нравилась молодым людям, бывавшим в доме бабушки, своей

свежестью, веселостью и доброжелательностью. В девятнадцать лет мать была еще, в сущности, ребенком. Она не понимала, что с женщиной, зарабатывающей деньги, обращаются иначе, чем с наивной молоденькой девушкой, кокетничающей с молодыми людьми в гостиной матери. Она шла домой взбешенная и перед сном приняла твердое решение написать на следующий день письмо Достоевскому и поставить его в известность, что ее слабое здоровье не позволяет ей продолжить стенографирование. Но утро вечера мудренее. Проснувшись, моя мать сказала себе, что начатую работу следует окончить, что ее учитель может быть недоволен, если она из каприза откажется от первого же дела, которое он ей доверил, и не рекомендует ее никому другому; что, кроме того, роман «Игрок» должен быть написан к 1 ноября, а после этого срока ничто не сможет ее принудить поддерживать дальнейшие отношения с этим неприятным Достоевским. Мама встала, тщательно переписала то, что мой отец продиктовал ей в предыдущий день, и к назначенному времени отправилась к нему. Она пришла бы в ужас, если бы кто-нибудь в тот день ей предсказал, что четырнадцать лет она будет стенографировать произведения Достоевского...

ПОМОЛВКА

У матери моей был альбом — один из тех, с розовыми, голубыми или зелеными листами, которым молодые девушки обычно поверяют вечером значительные события дня. Мать делала это с тем большей охотой, что могла стенографически записывать свои впечатления и в короткое время обсудить многое. Она сохранила этот наивный дневник своей юности, так что впоследствии смогла восстановить это время их помолвки и медового месяца день за днем. Эти интересные воспоминания должны были появиться в печати, когда разразилась эта ужасная война. Издание их теперь пришлось отложить до более благоприятного момента. Я не хочу лишать мою мать радости самой рассказать, со всеми подробностями, об этом важнейшем периоде ее жизни. Я же удовольствуюсь тем, что в общих чертах обрисую эту эпоху в жизни Достоевского и опишу роман моих родителей так, как представляется он *мне*, как я понимаю их характеры.

После того как утихла первая боль от обиды, нанесенной ее самолюбию, мать моя мужественно взялась за работу и каждый день под диктовку моего отца записывала текст «Игрока». Достоевский начал замечать, что его «пишущая машинка» — привлекательная молодая девушка, большая поклонница его таланта. Волнение, с которым мать говорила о его героях и героинях, очень нравилось Достоевскому. Он находил свою стенографистку очень милой и постепенно привык доверять ей все свои заботы и рассказывать обо всех неприятностях, доставляемых ему кредиторами брата и его многочисленной родней. Мать слушала его, удивленная и ошеломленная. Ее ребяческая фантазия рисовала ей знаменитого писателя, окруженного толпой почитателей, образующих почетную гвардию, защищающую его от всех опасностей, угрожающих его здоровью, чтобы ничто не мешало созданию его шедевров. Вместо этой радостной картины мать моя увидела больного, переутомленного человека, живущего в плохих условиях, плохо питающегося и плохо обихаживаемого, затравленного, как дикое животное, неумолимыми кредиторами и безжалостно эксплуатируемого эгоистичными родственниками. У этого великого писателя были лишь немногие друзья, довольствовавшиеся тем, что давали хорошие советы, но не удосужившиеся обратить вни-

мание русских читателей или правительства страны на то ужасное положение, в котором находился этот гениальный человек, указать на ту пропасть, у которой он стоял и которая грозила погубить его великолепный талант. Дух предков-норманнов, живший в матери, не вынес вида того состояния беспомощности, в котором находился великий русский. Те благочестивые англичане, которые скорее покинут свою страну, чем переменят религию, те ученые шведы, прибавлявшие латинское окончание к своим именам, чтобы выказать свое уважение к науке, строго говорили моей матери: «Если ты вынуждена жить в еще молодой и невежественной стране, не способной понять, что талант ее гражданина принадлежит всей стране, что все извлекают или извлекут когда-нибудь из него пользу и что, следовательно, все должны его защищать; если твои соотечественники еще не понимают эту истину, которая ведь так проста, то мы доверяем тебе, нашему потомку, защиту этого великого человека». Предки, которым мудрые римляне воздвигли алтари в своих домах, играют в нашей жизни гораздо более важную роль, чем мы обычно думаем. Они защищают своих потомков, ревниво следят за их первыми шагами и руководят ими в период их молодости. По мере развития личности предки постепенно отходят на задний план, чтобы возвращаться все же в важные моменты, когда их потомки колеблются в выборе пути. Послушная властному приказу своих европейских предков, моя мать приняла решение защитить Достоевского, разделить с ним тяжелую ношу, которую он взвалил себе на плечи, спасти его от бессовестной родни, помогать ему в работе и утешать в горе. Мать, естественно, не могла влюбиться в этого человека, бывшего старше ее на двадцать пять лет. Но она поняла красоту души Достоевского, как когда-то ее отец понял чистую душу Асенковой, и склонилась перед ней. Восхищение ее своим супругом было подобно тому, которое внушал моему деду талант молодой трагедийной актрисы. Он считал Асенкову величайшей актрисой нашего столетия и оставался верен ей всю жизнь. Также и моя мать никогда не допускала и мысли о том, чтобы не только в России, но и во всем мире был какой-нибудь писатель, равный Достоевскому. Восхищение это, столь схожее у этих двух людей, во многом шло от такой редкой в России греческой любви к искусству, унаследованной, вероятно, украинцами из числа греческих колонистов, поселившихся некогда на берегу Черного моря. Но мать была украинкой только наполовину (мои украинские предки, оседая в Петербурге, женились на русских). Поэтому ей не было чуждым русское сострадание. Она почувствовала его, это прекрасное, христианское сострадание нашего народа, увидев гениального человека, бывшего таким хорошим, таким доверчивым, никогда не думающего о себе и всегда готового отдать другим все, что у него было. Будучи молодой и полной сил, моя мать захотела защитить знаменитого писателя, искавшего гибели. Его долги, его многочисленные обязательства испугали бы робкую девушку, но норманнская кровь моей матери, на-

против, жаждала борьбы; она была готова объявить войну каждому.

Будь на месте матери молодая русская девушка, она витала бы в облаках, придумывала бы тысячу героических ситуаций, когда она могла бы отдать свою жизнь за Достоевского. Шведки редко теряют почву под ногами. Вместо пустых мечтаний, мать сразу же взялась за дело и начала с того, что спасла отца из когтей его издателя. Она уговорила Достоевского продлить стенографические сеансы, ночи напролет переписывала то, что он диктовал ей днем, и добилась того, что «Игрок» был готов к назначенному Стелловским сроку, так что тот, до некоторой степени озадаченный, понял, что его намерение поймать моего отца в хитро расставленную западню сорвалось. Моему отцу было совершенно ясно, что без помощи своей юной стенографистки он никогда не смог бы так быстро написать свой роман, и он был ей глубоко благодарен за горячую заинтересованность в его делах. Он не мог теперь расстаться с ней и предложил работать вместе над еще не написанной последней главой «Раскольникова». Мать с радостью согласилась. Чтобы отпраздновать счастливое окончание их первой работы, она пригласила моего отца на чай и представила своей матери. Бабушка, читавшая в сердце дочери, как в раскрытой книге, и давно уже предвидевшая, как окончатся эти стенографические свидания, приняла Достоевского, как будущего зятя. Достоевскому очень понравилась эта шведская среда, пересаженная на русскую почву; она могла напомнить ему Литву, перенесенную его отцом в центр Москвы, в которой он провел свое детство. Достоевский увидел, в какой строгой обстановке была воспитана его маленькая стенографистка и как сильно она отличалась от молодых девушек того времени, которые под предлогом свободы вели жизнь проституток. Достоевский захотел жениться на своей юной стенографистке, хотя и он не был в нее влюблен. Как большинство мужчин — уроженцев Севера, он был скорее холодной натурой; чтобы воспламенить в нем страсть, нужны были африканское коварство Марии Дмитриевны или бесстыдство Полины. Хорошо воспитанная молодая девушка, скромная и никогда не выходящая за рамки невинного кокетства, естественно, не могла сильно затронуть его чувственность. Однако Достоевский рассудил, что эта воспитанная в строгих правилах молодая девушка будет отличной матерью семейства, и это было как раз то, что мой отец так долго искал. В нем говорил также голос крови: в жилах ее, дочери шведки и украинца, текла такая же смешанная норманно-славянская кровь, как и у моего отца. И все же он медлил с предложением. Мать казалась Достоевскому очень молодой. Ей было приблизительно столько же лет, как и Анне Круковской, но она была гораздо менее уверена в себе, чем юная анархистка. Политические, нравственные и религиозные взгляды Корвин-Круковской уже четко определились. Она строго критиковала вселенную, плохо задуманную Богом и так же плохо созданную, и намеревалась до некоторой степени исправить

ошибки творца. Моя мать склонилась перед Богом и не нашла в его творении никаких изъянов. Ее взгляды на жизнь были еще очень неопределенны; ею руководил в большей мере инстинкт, а не размышление. Разговаривая с Достоевским, она смеялась и говорила, как ребенок, которым и была еще. Мой отец улыбался, слушая ее, и, может быть, иногда в страхе спрашивал себя: «Что я буду делать с этим маленьким ребенком?» Ему казалось, что эта молодая девушка, еще год назад носившая школьный передник, не созрела для брака. Может быть, Достоевский колебался бы и дольше, если бы пророческий сон не заставил его решиться. Отцу приснилось, что он потерял какой-то важный предмет; он повсюду искал его, в нетерпении перерыл все шкафы, бросил все ненужные вещи, мешавшие ему в его комнате, на пол. Вдруг он заметил в глубине одного ящика бриллиант, очень маленький бриллиант, сиявший так ярко, так ярко, что освещал всю комнату. Отец с удивлением его рассматривал: как могла попасть в ящик эта драгоценность? Кто положил ее туда? И внезапно, как бывает во сне, мой отец понял, что этот маленький бриллиант, так ярко сверкающий,— его маленькая стенографистка. Он проснулся очень взволнованный, очень счастливый: «Я сегодня же должен сделать ей предложение»,— сказал себе Достоевский. Он никогда не жалел о принятом решении. Как когда-то бедная Асенкова о моем дедушке, так и он мог сказать о своей жене: «Я чувствую себя так хорошо, опираясь на ее руку...»

Обручившись с моей матерью, Достоевский посещал ее каждый день, но не спешил ставить в известность о предстоящей женитьбе своих родных. Он слишком хорошо знал, как примет это известие его семья. Первым узнал тайну его пасынок; он был вне себя, обнаружив «предательство» своего отчима. Этот квартеронец-мамелюк так хорошо устроил свою жизнь! Отчим должен был работать, он хотел развлекаться; потом он унаследовал бы произведения Достоевского и жил бы на доходы от их издания. И вот молодая девушка, которую Достоевский едва знал, расстроила его прекрасные планы на будущее! Паша Исаев был крайне возмущен. Он надел очки, что делал всегда, когда собирался заняться чем-то важным, и объявил отчиму, что он должен с ним серьезно поговорить. Он предостерег Достоевского от роковых страстей «стариковского возраста» (отцу было тогда 45 лет), расписал все зло, которое сулит ему брак с молодой девушкой, и упомянул строгим тоном о его обязанностях отчима. «Я тоже намерен жениться когда-нибудь,— сказал он ему,— вероятно, у меня будут дети; Ваша обязанность работать для них». Отец рассердился и указал глупцу на дверь. Так кончались чаще всего стычки между отчимом и пасынком.

Павел Исаев поспешил предупредить семью моего отца об опасности, угрожающей благополучию приживальщиков. Племянники и племянницы Достоевского страшно испугались; они тоже надеялись, что всегда смогут жить за счет своего дяди, также и они считали себя его наследниками. Невестка Достоевского,

в свою очередь, пожелала иметь с ним серьезный разговор. «Почему Вы хотите опять жениться? — спросила она его сердито.— От первого брака у Вас не было детей, хотя Вы были еще молоды; как же Вы можете надеяться на это теперь в Вашем возрасте?» Женитьба на девятнадцатилетней казалась родственникам моего отца пошлостью, почти безнравственностью. Его друзья-писатели тоже до некоторой степени были удивлены. Они не понимали, как мог Достоевский, женившийся в 33 года на женщине одного с ним возраста, возможно даже старше его, интересоваться теперь, когда ему за сорок, совсем молоденькими девушками. Полина Н., Анна Круковская и моя мать были почти одного возраста, когда к ним сватался Достоевский. Я думаю, что это можно объяснить изменой Марии Дмитриевны, оставившей глубокий и неизгладимый след в душе моего отца [152]. Достоевский теперь не доверял женщинам известного возраста. Он верил еще только невинности юного сердца, еще чистой душе, которую умный мужчина может развить согласно желаниям собственного сердца. (Герой «Вечного мужа» после смерти жены, обманувшей его, тоже проявляет интерес только к совсем юным девушкам). Женившись на моей матери, Достоевский очень заботился о ее нравственном воспитании. Он следил за тем, что она читает, запретил чтение эротических книг, водил ее в музеи, показывал прекрасные полотна, знаменитые произведения скульптуры и пытался пробудить в ее юной душе любовь ко всему великому, чистому и благородному.

Безусловная верность его жены была наградой ему и при жизни, и после смерти. Возможно, норманнские предки матери сыграли свою роль в этой верности.

У Достоевского, как у большинства литовцев, было чистое и целомудренное сердце. «Литовец презирает бесстыдство и распутство,— говорит Видунас.— В его народных песнях нет непристойностей и в Литве не увидишь на заборах и стенах порнографических карикатур, столь частых в других странах». Когда Достоевский был в Париже, он ходил в кафе и смотрел на танцы в увеселительных заведениях на Елисейских полях. Двусмысленные песни, которые он там слушал, и эротические танцы, которые наблюдал, вызывали у него глубокое негодование, и он с отвращением говорил об этом своим русским друзьям. Вероятно, по этой причине отец, путешествуя позднее со своей молодой женой по Германии, Швейцарии, Италии и Австрии, отказался везти ее во Францию. Но отвращение, испытываемое Достоевским к жизни парижан, ни в коем случае не повлияло на его восхищение французской литературой. Он был одним из немногих путешественников, понимающих разницу между Францией трудящейся и Францией развлекающейся.

ВТОРОЙ БРАК ДОСТОЕВСКОГО

Вопреки сопротивлению родных Достоевский обвенчался с моей матерью 15 февраля той же зимы*[153], через пять месяцев после их знакомства. Так как у Достоевского не было денег, он не мог предпринять свадебного путешествия с молодой женой. Молодые устроились в квартире, снятой для них моей бабушкой. Осмелиться проводить медовый месяц в Петербурге было очень неосторожно, и это почти поставило под вопрос их супружеское счастье.

Увидев, что им не удалось помешать женитьбе, родные Достоевского попытались теперь посеять раздор между новобрачными. Они изменили тактику, из врагов превратились в друзей, выдававших себя за страстных почитателей моей матери. Они обивали пороги дома моих родителей, почти совсем не оставляя их одних. Они, раньше пренебрегавшие Достоевским и почти у него не бывавшие, теперь все дни проводили у новобрачных, завтракали и ужинали за их столом и не покидали их до полуночи. Мать моя была очень удивлена таким отношением, но не осмеливалась протестовать; с юных лет она привыкла быть вежливой и любезной со всеми гостями своей матери, даже с теми, кто ей не нравился. Интриганы-родственники воспользовались робостью молодой женщины, завладели хозяйством и распоряжались в доме, как хозяева. Делая вид, что дают добрый совет, они убеждали мою мать не мешать слишком часто мужу и оставить его в покое в рабочем кабинете. «Вы слишком молоды для него,— говорили эти хитрецы.— Ваши детские разговоры не могут быть ему интересны. Ваш муж — серьезный человек, он должен размышлять над своими романами». Другие же отводили моего отца в сторону и говорили, что он слишком стар для своей молодой жены и ей скучно с ним. «Послушайте только, как она смеется и как мило болтает с Вашими молодыми племянниками,— шептала ему на ухо его невестка.— Вашей жене нужно общество ее сверстников.

* Ни один из братьев Достоевских не женился на русской. Моя мать была полуукраинка, полушведка. Жена дяди Михаила была немкой из балтийских провинций. Жена Андрея Достоевского была украинкой. Дядя Николай остался холостяком. Мои же двоюродные братья и племянники женились только на русских. Истинное обрусение начнется, вероятно, только в третьем поколении.

Разрешите ей только болтать с ними, иначе Вы скоро можете ей наскучить». Отец чувствовал себя уязвленным тем, что его находят слишком старым для молодой жены, а моя мать негодовала, слыша, что она глупа и скучна для великого человека, ставшего ее мужем. Они дулись друг на друга, а гордость мешала им открыто объясниться. Если бы мои родители были влюблены друг в друга, они начали бы ссориться и упрекать друг друга в мнимых поводах к обиде и таким образом вывели бы на чистую воду все интриганские уловки; но, вступая в брак, мои родители испытывали друг к другу лишь симпатию. При благоприятных обстоятельствах эта симпатия могла бы перерасти в большую любовь, но могла ее сменить и глубокая антипатия. С ужасом моя мать наблюдала, как быстро уменьшалось ее восхищение Достоевским, которое она чувствовала до свадьбы. Теперь она находила его довольно слабым, слепым и наивным. «Его обязанностью как мужа было защитить меня от этих интриганов и всех их выгнать из дому,— говорила себе бедная новобрачная.— Вместо того чтобы защитить меня, он позволяет своим родственникам распоряжаться в моем доме и обедать у меня и допускает, чтобы они еще совершенно открыто насмехались над моей неопытностью молодой хозяйки». В то время, как моя мать плакала в своей комнате, ее муж одиноко сидел в своем кабинете и, вместо того, чтобы писать свои романы, печально признавался себе, что вряд ли можно надеяться на то, что сбудется его мечта о семейном очаге. «Неужели не поймет она разницу между мной и моими тупоголовыми племянниками?» — мысленно упрекал он мою мать и сурово осуждал мнимое легкомыслие своей юной жены. Родные Достоевского удовлетворенно потирали руки — их дело успешно продвигалось. . .

Наступила весна; начали строить планы на лето. Невестка отца предложила ему снять большой загородный дом в Павловске, в окрестностях Петербурга. «Мы могли бы там жить все вместе и нам не нужно было бы больше расставаться,— сказала она Достоевскому.— Какое чудесное лето будет у нас! Мы сможем каждый день совершать прогулки и брать с собой на весь день Вашу молодую жену. Вы сможете оставаться дома и без помех работать над Вашим романом». Эти планы были не очень по душе моему отцу, но еще меньше — его жене. Тогда моя мать сказала своему мужу, что она хотела бы провести лето за границей, что она давно мечтала поехать в Германию и Швейцарию. Отец тоже охотно вновь посетил бы Европу, о которой хранил наилучшие воспоминания. Он уже трижды ездил за границу, третий раз почти исключительно для игры в рулетку. Он полагал, что теперь излечился от этой роковой страсти, но ошибся. Во время путешествия по Европе в сопровождении моей матери он несколько раз поддавался этой болезни. Но с течением времени она ослабевала и к пятидесяти годам исчезла совсем. Как и его страсть к женщинам, страсть к рулетке длилась в общем около десяти лет.

Чтобы иметь возможность совершить намеченное свадебное путешествие, отец принялся изыскивать деньги. К тетке Куманиной он не хотел обращаться, так как она дала ему недавно десять тысяч, которые пошли на издание «Эпохи». Поэтому он предпочел обратиться к Каткову, издателю большого московского журнала, в котором Достоевский печатал теперь свои произведения [154]. Отец разыскал его в Москве, изложил ему план нового романа, который он собирался писать, и попросил его об авансе в несколько тысяч рублей. Катков, считавший Достоевского главной притягательной силой своего журнала, поспешил удовлетворить просьбу. Тогда отец сообщил родным, что он с молодой женой собирается в скором времени ехать за границу. Интриганы, совершенно ошеломленные, заявили Достоевскому, что если уж он действительно хочет покинуть их на три месяца, то должен оставить им, по крайней мере, денег. Каждый приходил к нему с перечнем необходимого, и когда отец удовлетворил все требования, у него осталось так мало денег, что он вынужден был отказаться от задуманного путешествия.

Моя мать была в отчаянии. «Они разлучат меня с мужем этим летом,— так жаловалась она, плача, своей матери.— Я чувствую это, я вижу их интриги!» Бабушка забеспокоилась; брак ее младшей дочери, казалось, принимал плохой оборот. Она тоже боялась пребывания в Павловске и предпочла бы, чтобы ее дочь уехала за границу. К сожалению, она не могла обеспечить ее необходимыми для этого путешествия деньгами. Состояние деда Григория было истрачено на постройку двух доходных домов, помимо дома, в котором жили мои бабушка и дедушка. Овдовев, бабушка жила на доходы от этих домов. Она была вынуждена заложить часть своих доходов, чтобы дать своей дочери хорошее приданое и обставить ее новую квартиру. Теперь ей было нелегко достать немедленно большую сумму денег. После долгих размышлений она посоветовала дочери заложить ее мебель. «К осени, когда вы вернетесь в Петербург, я раздобуду денег, чтобы выкупить ее,— сказала она.— В данный момент самое важное, чтобы вы уехали как можно скорее, и твой муж был бы избавлен от рокового влияния всех этих интриганов».

Каждая новобрачная гордится своим приданым, любит свою красивую мебель, свое серебро, свой красивый фарфор, свой хрусталь, даже свою так ярко блестящую кухонную посуду. Это первые вещи, действительно ей принадлежащие, которыми она может распоряжаться по собственному усмотрению. Поэтому ей было поистине тяжело расстаться с ними после трехмесячного обладания. Поведение моей матери достойно похвалы: она не медлила ни минуты и с радостью последовала совету своей матери. Супружеское счастье значило для нее гораздо больше, чем все серебро в мире. Она попросила свою мать заложить свое имущество и выслать ей деньги за границу. С той небольшой суммой, которую ей сразу же смогла дать моя бабушка, мать поспешила как можно скорее увезти мужа, также очень радовавшегося отъезду. Они

выехали за два дня до Пасхи[155], что противоречило всем религиозным привычкам матери. Но страх, что коварные родственники в последний момент, с помощью новых интриг, посеют раздор между ними, был так велик, что она вздохнула только тогда, когда переехала через границу. Ее страх был бы еще больше, если бы кто-нибудь в тот день сказал ей, что она вернется лишь четыре года спустя...

ПРЕБЫВАНИЕ В ЕВРОПЕ

Первая часть

О свадебном путешествии моих родителей также со всеми подробностями повествуют записки моей матери. Я отсылаю читателя к этой книге, которая должна быть напечатана после войны [156], и удовольствуюсь несколькими словами о жизни моих родителей за границей.

После отдыха в Вильне и в Берлине мои родители прибыли в Дрезден, где остались на два месяца. Они покидали Петербург в одну из тех снежных вьюг, которые часты в России в апреле; в Дрездене их встретила весна. Все деревья цвели, птицы пели, небо было голубое, и вся природа имела праздничный вид. Эта внезапная смена климата произвела большое впечатление на моих родителей. Они обедали под открытым небом на Брюлевской террасе, слушали музыку в Большом саду и исходили всю живописную Саксонскую Швейцарию. Сердца их раскрылись. Теперь, когда недоброжелательные родственники не вмешивались больше в их жизнь, они понимали друг друга гораздо лучше, чем прежде. Симпатия, которую испытывали мои родители друг к другу перед свадьбой, вскоре переросла в истинную любовь, и, наконец, начался их настоящий медовый месяц. Моя мать никогда не смогла забыть эти два волшебные месяца. Впоследствии, овдовев, она всегда после своих многочисленных поездок для лечения в Карлсбад и Висбаден проводила еще несколько недель в Дрездене. Мать посещала тогда все места, где гуляла когда-то со своим супругом, вновь рассматривала картины, которыми он восхищался в знаменитой галерее, ела в ресторанах, где они когда-то бывали вместе, и думала о прошлом, слушая музыку в Большом саду... Она говорила, что эти недели, проведенные в Дрездене, были лучшими из всего их путешествия по Европе.

Я никогда не могла понять эту любовь девятнадцатилетней к своему сорокапятилетнему мужу и часто спрашивала мать, как могла она влюбиться в мужа, бывшего вдвое старше ее. «Но он ведь был молод! — отвечала она, улыбаясь.— Если бы ты знала, как молод был еще твой отец! Он смеялся, шутил, радовался всему, как молодой человек. Твой отец был гораздо интереснее, гораздо веселее молодых людей его времени, носивших

по тогдашней моде очки и напоминавших старых профессоров зоологии».

Это верно, что литовцы, эта удивительная помесь славян и норманнов, долго сохраняют молодость души. В возрасте старше пятидесяти они могут веселиться, как юноши, и когда смотришь на них, видишь, что они становятся старше, но не стареют. Это относится и к Достоевскому; он умер в 59 лет, но до последнего дня он оставался молодым. У него не было даже седых волос, до конца они оставались темно-русыми. С другой стороны, моя мать унаследовала шведский характер своих предков. Шведки обладают характерной чертой, отличающей их от других европейских женщин: они не критикуют своих мужей. Они хорошо видят их пороки, пытаются помочь им от них избавиться, но никогда не осуждают их. Мне кажется, что одни только шведки действительно следуют прекрасной заповеди апостола Павла, что «муж и жена едины». «Как можно критиковать своего мужа? — отвечали они мне возмущенно, когда я говорила им об этой нашей национальной черте.— Он слишком любим, чтобы его критиковать». Это была и точка зрения моей матери; ее муж был слишком дорог ей, чтобы его можно было подвергать критике. Она предпочитала просто любить его, и это было лучшее средство для достижения супружеского счастья. На протяжении всей своей жизни моя мать говорила о своем муже как об идеальном человеке и воспитывала своих детей в духе культа отца.

В июле, когда в Дрездене стало жарко, мои родители решили поехать в Баден-Баден. Эта мысль не была счастливой, так как едва мой отец увидел вновь рулетку, страсть к игре, подобно болезни, сразу же завладела им. Он играл, проигрывал, переживая мгновения наивысшего счастья и глубочайшего отчаяния. Моя мать страшно испугалась. Записывая стенографически «Игрока», она не знала, что отец изобразил себя в этом романе. Она плакала, заклинала его покинуть Баден-Баден, и, наконец, ей удалось убедить его отправиться в Швейцарию. По прибытии в Женеву у моего отца внезапно наступило отрезвление, и он проклял свою злосчастную страсть. Женева настолько понравилась моим родителям, что они решили провести там зиму. Они не хотели возвращаться в Петербург; за границей они чувствовали себя счастливыми и с ужасом вспоминали интриги своих родственников. К тому же моя мать не могла теперь совершить дальнее путешествие: она ждала ребенка, и первая ее беременность была тяжелой. Она избегала теперь шумных отелей, и поэтому мои родители сняли маленькую квартиру у двух старых дев, очень хорошо относившихся к моей матери. Ей приходилось в основном лежать, и вставала она только, чтобы пойти поесть в ресторан. Потом мать быстро возвращалась домой, чтобы лечь опять, а муж ее оставался в кафе почитать русские и иностранные газеты. Любимой его газетой была «Indépendance Belge», которую он часто цитирует в своих произведениях. Теперь, живя в Европе, Достоевский живо интересовался всеми европейскими вопросами.

Родители мои вели в Женеве очень замкнутую жизнь. В начале своего пребывания в Швейцарии они встретили одного русского друга, который часто у них бывал [157]. Вскоре он уехал в Париж, и мои родители не искали новых знакомств; они готовились к большому событию, которое должно было изменить всю их жизнь.

Моя маленькая сестра появилась на свет в феврале и была названа Софьей в честь любимой племянницы отца, дочери моей тети Веры. Достоевский был очень счастлив, наконец-то он смог изведать счастье отцовства, о котором давно мечтал. «Это величайшая радость, какую человек может испытать на земле»,— писал он одному из своих друзей. Мой отец проявлял живейший интерес к маленькому ребенку, наблюдал душу, увиденную им в еще затуманенных детских глазах, утверждал, что малышка узнает его и улыбается ему. Но, к сожалению, радость эта была непродолжительна!

Первые роды моей матери были очень тяжелые, и ее малокровие усилилось. У нее не было молока, и она не могла сама кормить ребенка. Искали кормилицу и не нашли в Женеве. Швейцарские крестьянки не расстаются со своим домом; матери, желающие, чтобы их детей вскармливали кормилицы, вынуждены посылать их в горы. Моя мать с негодованием отвергла всякую мысль о возможности расстаться со своим сокровищем и решила кормить маленькую Соню из бутылочки. Как часто бывает с первенцами, Соня была очень слабым ребенком. У моей матери было мало опыта по уходу за грудными детьми. Еще меньше было его у добрых старых дам, помогавших ей ухаживать за ребенком. Бедная маленькая Соня держалась, как могла, в течение трех месяцев и предпочла потом покинуть эту планету [158].

Отчаяние моих родителей было безгранично. Моя бабушка, только что приехавшая из Петербурга познакомиться с новой внучкой, утешала их, как могла. Видя, что ее дочь проводит все время на кладбище и рыдает на дорогой могилке, бабушка посоветовала моему отцу перебраться с ней в Веве. Все трое провели там самое печальное лето в их жизни. Моя мать постоянно исчезала из дома, отправлялась на пароходе в Женеву, чтобы отвезти цветы ее дорогой маленькой усопшей. Вся в слезах она возвращалась домой, и это все более подрывало ее здоровье. Отец мой, в свою очередь, тоже плохо чувствовал себя в Швейцарии. Будучи жителем равнинной местности, он привык к далекому горизонту; горы Женевского озера давили на него. «Они угнетают меня, суживают мои мысли,— жаловался он моей матери.— Я не мог бы написать в этой стране что-нибудь ценное».

Тогда мои родители решили провести зиму в Италии; надеялись, что южное солнце восстановит здоровье моей матери. Родители мои уехали одни; бабушка осталась в Швейцарии со своими внуками Сватковскими, которые по совету врача должны были провести зиму в Женеве.

Мои родители взяли почтовых лошадей и поехали через Симплон. Мать моя всегда с радостью вспоминала об этом путеше-

ствии. Был август, и погода стояла чудесная. Почтовый фургон медленно поднимался в гору. Путешественники предпочли идти пешком и сократить путь. Моя мать шла, опираясь на руку своего мужа; ей казалось, что горе ее осталось по ту сторону Альп и здесь, в Италии, ей снова улыбнется жизнь. Моей матери едва исполнился двадцать один год; в этом возрасте жажда счастья так велика, что смерть трехмесячного ребенка не может надолго омрачить жизнь.

Прибыв в Италию, родители остановились сначала в Милане. Отцу хотелось снова увидеть знаменитый собор, который произвел на него такое глубокое впечатление во время первого его путешествия в Европу. Он рассматривал его во всех деталях, пришел в восторг от фасада, хотел даже подняться на крышу, чтобы насладиться видом, открывающимся оттуда на ломбардскую равнину. Когда начались осенние дожди, родители мои поехали во Флоренцию и остались там на зиму. Они никого там не знали и несколько месяцев прожили, предоставленные самим себе. Достоевский не любил заводить путевые знакомства, ни к чему не обязывающие. Если человек нравился ему, он отдавал ему свое сердце и становился ему другом навсегда, но он не считал нужным дарить свою дружбу каждому встречному.

Во Флоренции отец был очень занят; он писал свой роман «Идиот», начатый еще в Женеве. Мать помогала ему, записывая стенографически то, что он диктовал ей. Боясь мешать ему в часы творчества, она принялась досконально изучать Флоренцию с ее прекрасными соборами и великолепными музеями. Она привыкла договариваться с мужем о встрече у какой-нибудь знаменитой картины, и Достоевский, закончив работу, шел к ней в палаццо Питти. Мой отец не любил изучать картинные галереи с Бедекером [159] в руках; при первом же посещении он выбирал несколько картин, понравившихся ему, и приходил часто любоваться ими, не обращая внимания на другие. Подолгу задерживался он перед своими любимыми картинами и делился с молодой женой мыслями, разбуженными в нем этими знаменитыми картинами. Потом они шли гулять по городу вдоль Арно. Возвращаясь домой, мои родители делали круг, что взглянуть на двери Battistero, которыми восторгался отец. Если была хорошая погода, отправлялись на прогулку в сад Боболи. Розы, цветущие там в январе, произвели сильное впечатление на их северное воображение. Моим родителям привычно было видеть в это время года скованные льдом реки, занесенные снегом улицы и закутанных в шубы людей; цветы в январе казались им чем-то непостижимым. Отец упоминает розы в саду Боболи в письмах к друзьям, а мать — в своих воспоминаниях.

Мои родители были очень счастливы во Флоренции; мне кажется, это был самый гармоничный период их свадебного путешествия. Достоевский очень любил Италию; он говорил, что итальянский народ напоминает ему русских. Действительно, в жилах северных итальянцев течет славянская кровь. Венеты, основавшие

Венецию, имели славянское происхождение и принадлежали к тому же славянскому племени, что и русские, колыбелью которых были Карпаты. Смешиваясь с итальянцами, венеты передали часть славянской крови обитателям северной Италии. Кровь эта проникла в долину По и распространилась вдоль Апеннин. Русские, путешествующие по Италии, часто бывают поражены, встречая в Тоскане или Умбрии тот же тип крестьян, что и в России. Это тот же кроткий и терпеливый взгляд, то же усердие в работе, то же чувство самопожертвования. Одежда, способ повязывать платок на голове совершенно одинаковы. Из-за этой славянской крови русские и любят так Италию: мы считаем ее в какой-то степени своей второй родиной.

ПРЕБЫВАНИЕ В ЕВРОПЕ

Вторая часть

В начале весны моя мать почувствовала себя снова беременной. Отец был очень счастлив, когда узнал об этом; рождение маленькой Софьи только усилило в нем потребность в отцовских радостях. Так как климат Флоренции был благоприятен для моей матери, родители думали сначала провести в Италии еще год. Но по мере приближения срока родов их планы менялись. В отелях и меблированных квартирах Флоренции тогда еще не было тех полиглотов-слуг, говорящих одинаково плохо на всех языках. Скромные флорентийские слуги довольствовались в те времена еще тем, что хорошо говорили по-итальянски. Моя мать скоро научилась кое-как объясняться на этом языке и служила переводчиком отцу, который не мог учить итальянский язык, будучи занят всецело своим романом. Теперь, когда она скоро будет прикована к постели и, может быть, даже серьезно больна, моя мать спрашивала себя, что будет делать ее муж, оказавшись среди итальянских служанок и сиделок. Думая об этом же, мой отец сказал жене, что предпочел бы провести зиму в стране, язык которой он понимает.

В это время Достоевского начал интересовать славянский вопрос, впоследствии полностью завладевший им; он предложил моей матери переехать в Прагу, где он хотел поближе познакомиться с чехами. В конце лета мои родители покинули Флоренцию. Чтобы не утомлять мою мать, делали короткие дневные переезды, останавливаясь в Венеции, Триесте и Вене. В Праге моих родителей ждало большое разочарование: в этом городе еще не было тогда меблированных квартир. Достоевский хотел вернуться в Вену, надеясь найти там какие-нибудь чешские общества, литературные или прочие, но моей матери Вена не понравилась, и она предложила мужу обосноваться в Дрездене, о котором у нее осталось светлое воспоминание. Отец согласился; он тоже с радостью вспоминал об их первом пребывании в Саксонии.

Мои родители прибыли в Дрезден за две недели до моего рождения [160]. Достоевский был счастлив, что он вновь может излить свою любовь на маленькую дочурку. «Я видел ее через пять минут после появления на свет, — писал он одному из своих друзей. —

Она красавица и мой вылитый портрет»[161]. Моя мать смеялась от души, услышав эти слова. «Ты льстишь себе,— сказала она мужу. — Неужели ты думаешь, что ты красив?» Достоевский никогда не был красив, как и его дочь, но она всегда была горда тем, что похожа на своего отца.

Владелец меблированной квартиры, которую снимали мои родители, объяснил Достоевскому, что по закону города Дрездена он должен немедленно пойти в полицию и уведомить саксонские власти о рождении его ребенка. Достоевский поспешил отправиться в соответствующее учреждение и заявил господам полицейским, что он счастливый отец маленькой дочери, которую следует назвать Любовью *.

Саксонцев это заявление не удовлетворило, и они заставили моего отца продиктовать им по буквам имя и фамилию, а также возраст, социальное положение и данные о рождении. Удовлетворив любопытство в отношении моего отца, они перешли к его жене и спросили, какова была ее девичья фамилия.

Ее девичья фамилия? — Черт возьми! — Достоевский никак не мог вспомнить. Сколько ни рылся он в памяти, фамилия не всплывала. Мой отец разъяснил это полиции и просил позволения проконсультироваться у жены. Бравые саксонцы в изумлении глядели на него; спокон веку они не видели в Дрездене столь рассеянного супруга. Достоевскому разрешили спросить жену; в ярости мой отец отправился домой.

— Как тебя зовут? — спросил он строгим голосом свою жену.

— Меня? Меня зовут Анна,— ответила моя мать изумленно.

— Я знаю, что тебя зовут Анна! Я спрашиваю тебя о твоей девичьей фамилии.

— Зачем она тебе?

— Мне она совершенно не нужна, но нужна полиции. Эти немцы странные люди! Они непременно хотят знать, какая у тебя была фамилия до свадьбы, а я начисто забыл ее.

Мать сообщила своему мужу требуемые сведения и посоветовала записать ее девичью фамилию на клочке бумаги. «Иначе ты опять забудешь ее», — сказала она ему, смеясь. Достоевский последовал ее совету и с победоносным видом показал бумажку саксонским чиновникам.

Климат Италии очень благотворно повлиял на мою мать; здоровье ее было восстановлено, и она смогла сама кормить меня. Она поручила меня немецкой няне и не полагалась больше на собственный опыт по уходу за детьми. К моменту родов дочери приехала бабушка и усердно выхаживала меня, боясь нового несча-

* Так как мое русское имя «Любовь» иностранцы произносят с трудом, мы привыкли в России переводить его словом «Aimée», имеющим тот же смысл. Отец называл меня «Любой» от полного «Любовь», под которым я фигурирую в его письмах из Дрездена. Когда я подросла, я предпочитала имя «Лиля», которое дала мне бабушка и которое мне легко было произносить в детстве. Чтобы меня порадовать, родители тоже называли меня «Лиля». и так называет меня Достоевский во всех письмах последнего периода жизни.

стья. Между прочим, я очень мало была похожа на старшую сестру; я была крепкой славяно-норманнкой, твердо решившей не покидать эту планету, не изучив ее основательно.

Со времени смерти маленькой Сони моя бабушка не возвращалась в Россию. Она уезжала из Петербурга на несколько месяцев и поручила управление своими домами родственнику. Поглощенный другими делами, тот заключил долгосрочный договор о найме всего имущества, не дав себе даже труда спросить об этом бабушку. Так как теперь она не могла больше жить в своем доме в Петербурге, она предпочла остаться у дочери Анны. Она сделала это тем охотнее, что ее любимая дочь Мария большую часть времени проводила в Европе. Ее муж вел дела одного из его прежних учеников, герцога Лихтенбергского, жившего за границей, и часто навещал его то в Женеве, то в Риме. Моя тетка Мария, которая была очень дружна с морганатической супругой герцога, всегда сопровождала своего супруга и часто брала с собой и детей. Моя бабушка переезжала от одной дочери к другой и очень хорошо чувствовала себя в Европе, которая для нее, шведки, была гораздо интереснее России. Однако она страдала от разлуки с сыном, учившимся тогда в сельскохозяйственной академии в Петровском под Москвой. Моя мать очень любила своего брата Ивана и мечтала повидаться с ним после стольких лет разлуки. Обе писали моему дяде и просили его навестить их в Дрездене. Он получил отпуск и приехал в Германию, чтобы навестить свою мать и сестру Анну, бывшую всегда его любимицей. Дядя Иван предполагал пробыть в Дрездене только два месяца, но был вынужден продлить свое пребывание там до двух лет. Удивительный рок тяготел над семьей моей матери: всякий раз, когда кто-нибудь из них хотел провести в Европе несколько месяцев, по той или иной причине он бывал вынужден остаться там на несколько лет. Тетя Мария осталась там даже навсегда; она умерла в Риме два года спустя и была там похоронена.

У дяди Ивана в академии был друг, некий Иванов. Дядя очень его любил и восхищался им. Иванов, бывший старше его, покровительствовал ему и заботился о нем, как о младшем брате. Услышав, что моя бабушка очень хотела повидать сына, Иванов стал настаивать, чтобы мой дядя немедленно принял приглашение родных. Зная несколько нерешительный характер своего юного товарища, Иванов сам пошел к директору академии, убедил его дать моему дяде разрешение оставить академию на два месяца, предпринял необходимые шаги для скорейшего получения заграничного паспорта и проводил своего товарища на вокзал. Дядя был несколько удивлен этим усердием в подготовке его путешествия, но не придал этому особого значения. Приехав в Дрезден[162], он с воодушевлением говорил о своем любимом друге Иванове, писал ему письма и с нетерпением ждал ответа. И вдруг, несколько недель спустя, бедный Иванов был найден убитым в парке, окружавшем академию. Полиция принялась искать убийцу и открыла, наконец, политический заговор, в котором участвовали многие сту-

денты. Эти юные безумцы стремились к свержению правительства, вместо того чтобы заниматься своими сельскохозяйственными науками. Иванов был одним из самых активных членов; но он изменил свое мнение, сомневался и заявил, наконец, своим товарищам, что выходит из тайного союза. Юные революционеры были в ярости и решили покарать предателя смертью; они заманили его ночью в отдаленную часть парка, и один из их товарищей, Нечаев, убил его там, в то время как другие держали его за руки. Это политическое дело, известное как процесс Нечаева, вызвало большую сенсацию в России; оно не забыто до сегодняшнего дня [163].

Во всем этом деле поражает то, что мой дядя, почти никогда не разлучавшийся с Ивановым, не имел ни малейшего представления о заговоре. Вероятно, Иванов, искренно любивший его, запретил своим товарищам втягивать его в это опасное дело. Бедный дядя Иван горько оплакивал смерть своего друга; теперь он понял, почему Иванов так настаивал на его отъезде за границу. Возможно, он знал, какую судьбу готовили ему его товарищи, и хотел быть уверенным, что друг его вне опасности. Бабушка очень испугалась, узнав об убийстве Иванова, и запретила сыну возвращаться в Россию, тем более что по приказу правительства сельскохозяйственная академия была закрыта до окончания процесса. Дядя остался в Дрездене у своей матери; впоследствии он женился на молодой девушке из русской колонии в Дрездене.

Нечаевский процесс произвел глубокое впечатление на фантазию Достоевского и послужил сюжетом для его знаменитого романа «Бесы». Его читатели быстро узнали дело Нечаева, хотя отец перенес действие романа в другую среду. Критики утверждали, что Достоевский, живший во время процесса за границей, ничего не понял в этом деле. Никто не предполагал, что отец имел возможность создать себе совершенно четкое представление о заговоре, беседуя с моим дядей Иваном, человеком, близким жертве, убийце и другим революционерам академии, который мог сообщить ему об их беседах и политических идеях. Шатов, Верховенский и другие герои «Бесов» — портреты. Естественно, Достоевский не мог сообщить своим критикам об этом, чтобы не выдать своего шурина. Семья моего дяди была счастлива, что полиция забыла о его существовании и не потребовала его присутствия на процессе как свидетеля. Он мог бы смутиться, сказать неосторожное слово и скомпрометировать себя. Вероятно, студенты академии последовали примеру Иванова и избегали упоминать о моем дяде, которого любили все его товарищи. Дядя Иван был очень умен и отважен. Он унаследовал религиозные и монархические идеи своего отца и не стыдился высказывать их открыто. Очевидно, это было причиной того, что товарищи утаили от него свой заговор. Если наши революционеры были столь безжалостны по отношению к тем, кто порывал с ними, первоначально разделяя их идеи, то людей, имевших мужество отстаивать свои убеждения, они оставляли в покое.

Мой дядя был милым человеком, истинно христианской души. Ко всем людям, встречавшимся на его пути, он относился по-братски. Поначалу над ним смеялись, но в конечном итоге начинали искренне любить его. Достоевский всегда очень дружелюбно относился к своему шурину *.

Когда русская колония узнала, что знаменитый писатель Достоевский поселился с семьей в Дрездене, многие пожелали с ним познакомиться, посетили его и пригласили к себе. Моя мать могла вести в Дрездене гораздо более веселую жизнь, чем во Флоренции или Женеве, и все же она чувствовала себя тут очень несчастной. Ее захватила тоска по родине, эта странная болезнь, часто поражающая молодые существа, внезапно вырванные из родной почвы. Она ненавидела Германию, ненавидела всех иностранцев. Дрезден, казавшийся раньше ей таким привлекательным, стал ей противен. Она переживала мгновения отчаяния при мысли, что, может быть, никогда больше не увидит свою любимую Россию. Моя мать страдала тем больше, что здоровье ее теперь было восстановлено и ее норманнская натура заявляла свои права на деятельность и борьбу. Моя мать чахла в своей меблированной квартире с мужем и ребенком; ей казалось, что в Петербурге она скорее изыскала бы средства быстрее уплатить долги, давящие на нее. С другой стороны, много забот ей доставляли семейные дела. Один из доходных домов бабушки и дедушки, согласно завещанию моего деда Григория, должен был принадлежать моей матери. По русским законам она не могла вступить в права на наследство до тех пор, пока ее брат Иван не достигнет совершеннолетия. Скоро ему должен был исполниться двадцать один год, и моя мать надеялась продать свой дом и уплатить долги своего мужа. Предприниматель, арендовавший все владение моей матери, платил регулярно в течение первых месяцев; потом он прекратил выплату и перестал отвечать на письма. Мать писала об этом подругам в Петербург, просила их зайти к нему и поговорить о делах. Они ходили к нему, но его никогда не было дома. Соседи, которых они о нем спрашивали, рассказали, что его дела очень запутаны и что им интересуется полиция. Все это очень беспокоило мою мать, и она заклинала своего мужа вернуться в Россию. Теперь она не боялась больше интриг их родных, моя мать знала, что супруг доверяет ей. Между прочим, ее характер совершенно изменился — подруги юности с трудом узнали свою веселую школьную приятельницу. Лишения, изгнание, влияние Европы, жизнь в которой

---

* С романом «Бесы» приключилось следующее удивительное обстоятельство: сначала Достоевский сделал героем Николая Ставрогина. Когда роман был почти окончен, моему отцу пришло в голову, что молодой Верховенский гораздо интереснее, и он сделал героем его. Он должен был переписать почти весь роман и выбросить главы, в которых разрабатывался характер Ставрогина. Моя мать хотела опубликовать одну из этих глав в последнем издании в начале века. Но сначала она спросила некоторых старых друзей моего отца об их мнении на этот счет, однако они были против публикации [164].

гораздо серьезнее и труднее, чем детски наивная жизнь в России, заставили мою мать преждевременно повзрослеть.

Достоевский не страдал тоской по родине [165] и чувствовал себя за границей хорошо; его здоровье улучшилось, эпилептические припадки делались все реже. Но он тоже хотел вернуться в Петербург; он боялся, что не будет больше понимать Россию, если останется дольше в Дрездене. Всю свою жизнь, как в Германии, так и в Сибири, он испытывал этот страх. Вероятно, Достоевский сознавал, в какой малой степени он был русским. Тургенев, граф Алексей Толстой провели свою жизнь за границей, хотя это не мешало им представлять своим читателям чудесные великорусские типы. Они почти всегда говорили по-французски, а свои произведения писали на отличном русском языке. У этих писателей Россия была в крови, они оставались вечно русскими, хотя наивно считали себя истинными европейцами. Мой же отец, наоборот, гордившийся тем, что он русский, был в гораздо большей степени европейцем, чем они. Европа могла поглотить его, следовательно, для него было много опаснее удаляться от России. От этого могло пострадать и его знание русского языка. Моего отца часто упрекали за его неуклюжий, бессвязный, корявый стиль; это объясняли обычно тем, что Достоевский вынужден был писать для заработка и не имел времени править свои рукописи. Но всем, обладающим хорошим стилем, известно, как легко писать хорошо с самого начала. Я думаю, что плохой стиль Достоевского имел другую причину: он писал плохо по-русски, потому что это был язык, не известный его предкам [166].

Во второй половине пребывания в Дрездене моя мать в третий раз забеременела. Сначала она хотела рожать в Дрездене, но потом, боясь, что какая-нибудь болезнь может задержать ее в Германии еще на год, внезапно изменила решение и уговорила мужа немедленно двинуться в путь. Мы приехали в Петербург за несколько дней до рождения моего брата Федора.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ

Это было в июле [167], и родители нашли город пустым — все друзья были на даче. Первым вернулся пасынок отца Павел Исаев, только что женившийся на красивой девушке из простой семьи. Увидев, что мать еще не оправилась после родов и не может искать квартиру, он предложил свои услуги. Он бегал целыми днями, рисовал планы квартир и вечером представлял их на суд матери.

— Почему Вы ищете большие квартиры? — спросила она его.— Пока не выплачены наши долги, мы должны довольствоваться самое большое четырьмя-пятью комнатами.

— Как так, четыре-пять комнат? А где же будем жить мы с женой?

— Вы намерены жить у нас? — с большим удивлением спросила моя мать.

— Конечно! Неужели в Вас нет сердца, что Вы хотите разлучить отца с сыном?

Моя мать рассердилась.

— Вы не сын моего мужа, Вы только его пасынок,— сказала она строго. — В сущности, между вами вообще нет никакого родства. Мой муж, конечно, заботился о Вас, когда Вы были маленьким; теперь его долг заботиться о собственных детях. Вы достаточно взрослый человек, чтобы работать и содержать себя.

Павел Исаев не мог прийти в себя от изумления, когда услышал эти слова. Как? Он больше не сын знаменитого Достоевского? Другие имеют больше прав на его «папу», чем он! Праведное небо! Кто же мог замыслить против него столь гнусный заговор? Он был крайне возмущен, а его молодая жена еще больше.

— Он обещал мне,— рассказывала она совершенно наивно моей матери,— что мы будем жить все вместе, что Вы будете вести дом, а я ничего не буду делать. Если бы я только могла предположить, что он меня обманывает, я, конечно же, не вышла бы за него замуж.

Эта маленькая эгоистка со временем, после неоднократных ударов судьбы, стала отличной матерью семейства, которую уважали все, знавшие ее. Бедная женщина! Ее супружеская жизнь была не что иное, как непрерывная цепь страданий.

Увидев, что ничто не сломит волю моей матери и Достоевский в этом вопросе разделяет мнение своей жены, Павел Исаев стал жаловаться родственникам отца. Он с горечью говорил о темных интригах его «мачехи», которая хочет разлучить «отца с сыном». Родные Достоевского были умнее его. Они поняли, что мать моя изменилась, робкая новобрачная уступила место серьезной женщине, решившей защищать домашний очаг от всяких посягательств. Они примирились с этим и отказались от своих интриг. Между прочим их положение за четыре года сильно изменилось. Мои двоюродные братья закончили, наконец, учение и смогли сами обеспечивать себя; мои кузины были пристроены, и их мужья помогали матери. Моя тетка Александра, овдовев, вышла второй раз замуж за богатого человека. Из всей семьи на шее у отца остались только несчастный дядя Николай и вечный тунеядец Павел Исаев.

Как только здоровье моей матери было восстановлено, она сняла скромную квартиру и обставила ее мебелью, купленной по случаю. Ее красивая обстановка была давно продана. Павел Исаев, которому ввиду отсутствия моей бабушки было поручено платить проценты за заложенные вещи, предпочел расходовать деньги, посылаемые ему моими родителями из-за границы, на свои личные нужды. Мою мать ожидало в Петербурге и другое, еще более жестокое разочарование. Имущество моей бабушки, по распоряжению полиции, было продано с аукциона и несколько раз сменило своего владельца. Из-за неудачно составленного арендного договора арендатор смог объявить его своей собственностью. Надо было начинать процесс, а процессы дороги в России. Поэтому моя мать предпочла отказаться от своей доли наследства; бабушка последовала ее примеру, хотя после несчастливого заграничного путешествия была полностью разорена. К счастью, мой дядя Иван в Дрездене женился на богатой. На приданое жены он купил в Курской губернии красивое поместье и начал применять на практике теории, которые он изучал в сельскохозяйственной академии. Бабушка жила у него дома, страстно интересуясь всеми сельскохозяйственными начинаниями своего сына. Теперь, после смерти ее любимой дочери, она редко приезжала в Петербург. Ее отношения с Достоевским всегда были сердечными, но в его жизни она не играла почти никакой роли.

Когда кредиторы дяди Михаила услышали, что Достоевский вернулся в Петербург, они поспешили к нему и снова стали грозить бросить его в тюрьму. Тогда моя мать вступила в борьбу, к которой подготовилась в Дрездене. Она увещевала, взывала к рассудку, отыскивала других ростовщиков, у которых брала в долг деньги, чтобы удовлетворить самых нетерпеливых. Достоевский был поражен той легкостью, с которой моя мать складывала большие числа и изъяснялась на сложном нотариальном языке. Если к нему приходили издатели с предложением какого-нибудь нового издания, он выслушивал их с серьезным видом, а потом говорил: «В данный момент я ничего не могу сказать; я должен

сперва посоветоваться с женой»[168]. Так скоро поняли, кто в семье Достоевских ведет дела, и обращались уже непосредственно к его жене. Таким образом, мой отец был избавлен от всех скучных формальностей и смог всецело отдаться творчеству.

Чтобы скорее расплатиться с долгами, моя мать ввела в доме режим самой строгой экономии. В течение нескольких лет мы должны были довольствоваться скромными квартирами, у нас были только две служанки, еда была очень проста. Моя мать сама шила себе платья и шубы для детей. Она не бывала в обществе, только изредка ходила в театр, который так любила. Эта унылая жизнь не соответствовала ее возрасту и делала ее несчастной. Мать часто плакала; ее склонный к меланхолии ум, заставлявший видеть вещи в более мрачном свете, рисовал ей старого и дряхлого мужа, больных детей и нищету семьи *. Она не могла понять беспечности моего отца. «У нас никогда не будет недостатка в деньгах»,— говорил он ей уверенно. «Но откуда они возьмутся? — спрашивала удивленно моя мать, сердясь на его беззаботность. — Упадут с неба?» Моя мать была тогда слишком молода, только на сороковом году мы начинаем постигать прописные истины. Мой отец знал, что все люди являются Божьими слугами и что если они выполняют свой долг, небесный защитник позаботится о том, чтобы у них ни в чем не было недостатка. У Достоевского было безусловное доверие к Богу, и он никогда не беспокоился за судьбу своей семьи. Он был прав, думая так, так как после его смерти мы ни в чем не нуждались.

Чтобы утешить свою жену и облегчить ей тяжелую ношу, отец принял пост главного редактора журнала «Гражданин», издававшегося князем Мещерским, ограниченным человеком, бывшим предметом насмешек всех журналистов. Воспитанный английскими боннами и французскими гувернёрами, князь Мещерский не умел даже правильно говорить по-русски; отец постоянно должен был следить, чтобы он не сказал в своем журнале какой-нибудь глупости. Это занятие очень утомляло моего отца, и как только самые экстренные долги были выплачены, он поспешил предоставить «Гражданина» и его фантастичного издателя их судьбе[169].

Моя мать, в свою очередь, также не тратила время на жалобы. Она начала издавать романы отца, напечатанные ранее в журналах, получая за это какие-то суммы. При этом она набиралась опыта, став со временем отличной издательницей и осуществив после смерти своего мужа несколько изданий полного собрания его произведений. Моя мать была первой русской женщиной, занявшейся крупными изданиями. Ее примеру последовала графиня Толстая, приехавшая в Петербург, чтобы познакомиться с моей матерью и посоветоваться с ней. Моя мать дала ей требуемые указания[170],

---

* Тетка Куманина не могла больше помогать семье. Во время пребывания моих родителей за границей она умерла и оставила после себя запутанное наследство. Ее наследники много лет ссорились друг с другом; только после смерти моего отца мы получили, наконец, нашу часть.

и с тех пор произведения Толстого издавались его женой. Будучи впоследствии проездом в Москве, моя мать показала графине музей, созданный ею в память мужа в башне Исторического музея Москвы. Эта мысль понравилась графине, и она попросила руководство музея разрешить ей создать в такой же башне музей Толстого. Обе эти европейки (графиня Толстая — дочь доктора Берса, балтийского происхождения) не довольствовались долей супруги и матери; они стремились помогать своим мужьям в распространении их идей и достойно увековечить их память. Другая подруга моей матери, Шестакова, советовалась с ней относительно создания музея памяти брата, известного композитора Глинки. Моя мать очень помогла ей, таким образом она была основательницей одного музея и духовной матерью двух других.

Мой отец в первые годы после возвращения в Россию вел очень замкнутый образ жизни; он мало бывал в обществе и виделся только с самыми близкими друзьями. В общественной жизни он почти не принимал участия; петербургские студенты все еще питали к нему неприязнь и редко приглашали его на свои литературные вечера. Едва только они стали забывать, что «Достоевский оскорбил русских студентов в лице Раскольникова», как мой отец снова нанес им обиду, и еще более жестокую. В своем романе «Бесы» он как нельзя более ясно говорит им, что считает революционеров безумцами и глупцами. Молодые люди были страшно озадачены; они-то полагали, что представляют собой великих мужей Плутарха. Восторженное отношение русской молодежи к анархистам, так удивившее Западную Европу, легко объясняется восточной инертностью моих соотечественников. Действительно, ведь гораздо легче бросить бомбу и бежать за границу, чем прилежно учиться и посвятить свою жизнь служению отчизне, как принято в более зрелых и цивилизованных странах.

Достоевский не придавал значения гневу студентов и не сожалел о своем прежнем успехе у них. В его глазах это были просто бедные, заблудшие молодые люди, и, будучи серьезным человеком, он не нуждался в их детской похвале. Радость, доставляемая созданием шедевров, была вполне достаточной наградой за его труд; вульгарные изъявления одобрения ничего не могли прибавить. Мне кажется, что в первые годы после возвращения в Петербург мой отец был счастливее, чем в последующие, когда он добился большого успеха. Его любила жена, дети, еще маленькие, веселили его своим детским смехом и наивными вопросами; старые друзья часто навещали его, и он мог беседовать с ними на свои излюбленные темы. Здоровье его окрепло, эпилептические припадки стали реже, и еще не было признаков смертельной болезни, которая должна была положить конец его жизни.

МАЛЕНЬКИЙ АЛЕКСЕЙ

Летом мы провели четыре месяца в Старой Руссе, маленьком курортном местечке в Новгородской губернии, недалеко от озера Ильмень. Врачи посоветовали поехать туда в первый год после возвращения в Россию в интересах моего здоровья. Старорусские ванны так хорошо на меня подействовали, что родители возвращались сюда и в последующие годы. Маленький, мирный, сонный городок очень нравился Достоевскому, он чувствовал себя в стихии, пригодной для создания своих произведений. Мы жили в маленьком загородном доме полковника Гриббе, балтийца, находящегося на русской службе. На сэкономленные с трудом во время военной службы средства полковник построил домик во вкусе немцев балтийских провинций, полный сюрпризов, потайных стенных шкафчиков и опускающихся дверей, ведущих на темные и пыльные винтовые лестницы. В этом доме все было небольшого размера; низкие и тесные комнатки были заставлены старой ампирной мебелью, зеленоватые зеркала отражали искаженные лица тех, кто отваживался в них взглянуть. Наклеенные на полотно бумажные свитки, служившие картинами, являли нашим изумленным детским глазам уродливых китаянок с аршинными ногтями и втиснутыми в детскую обувь ногами. Крытая веранда с разноцветными стеклами была нашей единственной радостью, а маленький китайский биллиард со стеклянными шарами и колокольчиками развлекал нас в долгие дождливые дни, столь частые летом на севере. За домом был сад со смешными маленькими клумбами, засаженными цветами. В этом саду, пересеченном небольшими рвами, были всевозможные виды плодов. Полковник Гриббе сам копал эти рвы, чтобы защитить малину и смородину от весеннего разлива коварной Перерытицы, на берегу которой был построен этот маленький дом. Полковник жил летом в двух комнатках первого этажа, а все остальное сдавал курортникам. Так было принято тогда в Старой Руссе, где в то время еще не было настоящих дач. Позднее, после смерти старого полковника, мои родители купили этот домик у наследников за бесценок * [171]. Мой отец про-

* У полковника Гриббе было четыре миниатюры, которые он купил у солдата его полка, вероятно, укравшего их во время одного из бесчисленных польских восстаний в каком-нибудь польском дворце. На этих миниатюрах были изображены три принца и одна принцесса литовской династии Ягеллонов. Отец мой был в большом восторге от этих миниатюр, он купил их у наследников

водил там лето каждый год вплоть до своей смерти, за исключением лета 1877 года, которое мы провели в Курской губернии у дяди Ивана. Действие «Братьев Карамазовых» он перенес в этот город; читая их впоследствии, я легко узнавала топографию Старой Руссы. Дом старика Карамазова — это наш загородный дом с небольшими изменениями; красавица Грушенька — молодая провинциалка, которую знали мои родители в Старой Руссе[171a]; лавка Плотникова была излюбленным поставщиком моего отца. Кучера Андрей и Тимофей — наши любимые кучера, все годы возившие нас на берег Ильмень-озера, где осенью останавливались пароходы. Иногда их приходилось ждать несколько дней, и это пребывание в большой деревне на берегу озера Достоевский описал в последних главах «Бесов».

Мой отец вел в Старой Руссе очень уединенную жизнь. Очень редко бывал он в парке или казино, ставших местом сбора приехавших на курорт. Он предпочитал гулять вдоль реки, в уединенных местах. Он шел всегда одной и той же дорогой, опустив глаза, погруженный в раздумья. Так как он выходил всегда в одно и то же время, нищие уже ждали его, ибо знали, что он никогда не отказывал в милостыне. Поглощенный своими мыслями, мой отец раздавал деньги совершенно механически, не замечая, что подает всегда одним и тем же людям. Мать же моя хорошо видела хитрости нищих и потешалась над рассеянностью мужа. Она была молода, и ей доставляло удовольствие сыграть с ним иногда шутку. В один из осенних вечеров, когда она увидела возвращающегося с прогулки мужа, она повязала голову старым платком, взяла меня за руку и встала у него на пути. Когда отец приблизился к ней, мать жалобным тоном сказала: «Добрый господин, пожалейте меня! У меня больной муж и двое маленьких детей». Достоевский остановился, посмотрел на мою мать и протянул ей милостыню. Он пришел в ярость, когда его жена начала смеяться, взяв деньги. «Как ты могла сыграть со мной такую шутку? — сказал он с горечью. — И еще в присутствии твоего ребенка».

Эта вечная рассеянность, свойственная многим ученым и писателям, очень сердила моего отца и казалась ему смешной и унизительной. Ему так хотелось быть похожим на всех людей. Но, увы, как трудно большому таланту быть банальным! Никогда не мог Достоевский жить так же, как другие. Когда-то в Инженерном замке он всегда сидел в одиночестве на подоконнике, мечтая, читая и восторгаясь природой, тогда как кругом все смеялось, плакало, играло, бегало и развлекалось. Большой писатель, едва ступив на землю, проводит дни свои в фантастическом мире своих образов. Он механически ест, не зная, из чего состоит его обед; он удивляется, что наступила ночь, полагая, что день только что на-

---

старого полковника и повесил в своей комнате. Он говорил, что молодая принцесса напоминает ему его мать; я, правда, не нахожу сходства между этой миниатюрой и моей московской бабушкой. Действительно ли так нравившийся Достоевскому портрет напоминал ему его мать? Не вспоминал ли он скорее какую-нибудь литовскую прародительницу?

чался. Он не слышит тривиальных речей, раздающихся вокруг него; он блуждает по улицам, беседуя с собой, смеется и жестикулирует, так что прохожие смеются над ним и считают его сумасшедшим. Он останавливается, внезапно пораженный взглядом, улыбкой незнакомца, запечатлевшимися в его мозгу. Какое-то слово, фраза, произнесенные рядом с ним, заставляют его внезапно взглянуть на всю жизнь, увидеть идеал, что найдет позднее выражение в его романе.

Маленького дома в Старой Руссе больше нет. Построенный из балок, купленных старым полковником через вторые руки по дешевке, он не мог больше выдерживать ежегодные разливы Перерытицы и обрушился в один прекрасный день, невзирая на все попытки сохранить его. Пока дом был цел, он привлекал многочисленных посетителей. Все приезжавшие для курортного лечения приходили к маленькому домику, в котором Достоевский проводил лето в последние годы своей жизни. Осматривали стол, за которым он писал «Братьев Карамазовых», старые кресла, в которых он отдыхал, читая, многие принадлежавшие ему вещи, которые мы сохранили *.

Среди этих скромных паломников однажды появился и великий князь Владимир, проводивший в окрестностях Старой Руссы смотр рекрутов. Он признался моей матери, что является большим почитателем Достоевского. «Это не первый его дом, который я посетил,— сказал он. — Путешествуя по Сибири, я останавливался в Омске, чтобы увидеть тюрьму, в которой он перенес так много страданий. Теперь она очень изменилась. «Записки из Мертвого дома» сделали много доброго для всех тюрем Сибири. Каким необыкновенным талантом обладал Ваш супруг! Как умел он пробуждать сердца!» Великий князь Владимир был внуком Николая I, приговорившего моего отца к каторжным работам. В России мнения меняются быстро, и внуки не стыдятся признавать несправедливость дедов.

Старая Русса так нравилась моему отцу, что моя мать предложила ему однажды остаться там на зиму, чтобы сэкономить и быстрее выплатить долги. Нашли другой дом в центре города, большего размера и лучше отапливаемый, и провели там несколько месяцев. Этой зимой появился на свет мой второй брат Алексей [173]. Мои родители несколько разошлись во мнениях относительно выбора его имени. Мать хотела назвать его Иваном, в честь своего брата, столь нежно ею любимого. Достоевский же желал дать ему имя Степан в память епископа Стефана, бывшего, по словам отца, основателем нашей православной семьи. Мать моя была несколько удивлена, услышав эти слова от отца, крайне редко упоминавшего своих предков. Мне кажется, что Достоевский, все более интересовавшийся православной церковью, хотел выразить свою благодарность тому, кто первый из нашей литов-

---

* Вся эта мебель и вещи переданы в маленький музей, созданный во вновь отстроенном доме [172].

ской семьи обратился в православие. Но матери не нравилось имя Степан, и родители сошлись на том, чтобы назвать ребенка Алексеем, именем, симпатичным обоим[174]. Здоровье моей матери в это время было настолько крепким, что она родила почти безболезненно. Маленький Алексей казался крепким и здоровым ребенком, но у него был странный овальный, почти угловатый лоб; маленькая головка была яйцевидной формы. Это не уродовало ребенка, но придавало ему забавное, удивленное выражение. Когда Алексей подрос, он стал любимцем Достоевского. Моему старшему брату и мне было запрещено входить в кабинет отца без разрешения, но на маленького Алешу этот запрет не распространялся. Едва только его нянька отворачивалась, как он пытался улизнуть из детской, мчался к отцу и кричал: «Папа, зи-зи!», как называл он на своем детском языке часы. Достоевский откладывал работу, сажал ребенка на колени, доставал свои часы и подносил их к уху малыша. Ребенок с восторгом слушал тикание часов и хлопал в ладошки. Алеша был очень умным и приятным ребенком; вся семья горько оплакивала его, когда он умер внезапно в возрасте двух с половиной лет. Это случилось в Петербурге в мае, за несколько дней до нашего отъезда в Старую Руссу. Чемоданы были уже упакованы, делались последние приготовления, когда у Алеши внезапно случился припадок. Врач, успокаивая мою мать, сказал, что это часто бывает у детей его возраста. Алеша хорошо провел ночь, проснулся свежим и бодрым, попросил, чтобы ему в кроватку дали игрушки, поиграл немного, и вдруг снова начались судороги. Через час он был мертв[175]. Все это произошло так быстро, что меня и брата не успели увести. Когда я увидела родителей, вне себя рыдающих над безжизненным телом Алеши, у меня случился нервный припадок. Меня поспешили отправить к друзьям, у которых я оставалась два дня; только в день похорон я вернулась домой. Моя мать пожелала похоронить своего дорогого малютку рядом с моим дедом Григорием, могила которого находилась на Охтинском кладбище на другом берегу Невы. Так как тогда еще не было мостов, связывающих оба берега реки, нужно было делать большой круг. Мы все четверо сели в коляску — папа, мама, мой брат Федя и я,— и маленький гробик был поставлен между нами.

Дорогой много плакали, гладили маленький белый гробик, усыпанный цветами, и вспоминали все любимые выражения дорогого малютки. После короткой службы в церкви понесли гроб на кладбище. Как хорошо помню я этот день! Это был сияющий день мая; все цвело, в ветвях старых деревьев пели птицы, чередующееся пение священника и хора мелодично разносилось по исполненному поэзии кладбищу. Слезы катились по щекам отца, он поддерживал рыдающую жену. Она не могла оторвать взор от маленького гробика, медленно исчезавшего под землей...

Врачи объяснили моим родителям, что маленький Алексей стал жертвой неправильного развития лобной доли черепа, в маленьком патологическом черепе не было места для роста мозга.

Я же всегда считала, что маленький Алеша, так похожий на отца, унаследовал его эпилепсию. Но Господь пожалел его и взял к себе при первом же припадке.

Зимой перед смертью маленького Алексея в Петербург из Парижа приехала известная прорицательница. Рассказывали удивительные вещи о ее предсказаниях и ее ясновидении. Отец, интересовавшийся всеми оккультными явлениями, хотел увидеть ее и в сопровождении одного из друзей отправился к гадалке. Он был поражен, как правильно она говорила ему о его прошлом. Предсказывая будущее, она между прочим сказала: «Большое несчастье ждет Вас весной». Озадаченный этими словами, Достоевский передал их жене. Мать моя, будучи суеверной, часто думала об этих словах в марте и апреле; в мае, поглощенная приготовлениями к отъезду, она совершенно забыла о них. Как часто мои родители вспоминали это предсказание в то печальное лето после смерти нашего маленького Алексея.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Наконец долги были выплачены! Теперь мой отец мог служить искусству как мастер, а не как раб. Он мог порадовать немного детей и сделать подарки своей бедной жене, принесшей ему в жертву свою молодость, чтобы помочь оплатить долги чести. Первые бриллианты, преподнесенные Достоевским моей матери, были очень малы, тем большей, однако, была его радость, когда он дарил их...

Но отец и не думал наслаждаться вполне заслуженным покоем. Напротив! Едва только освободился он от долгов, как окунулся в сферу общественной борьбы и начал публиковать «Дневник писателя», о котором давно мечтал. Под этим названием объединены многие статьи, появившиеся в «Гражданине». Русские писатели не умеют посвящать себя лишь чистому искусству, как делают это их европейские собратья; всегда наступает момент, когда они становятся проповедниками, духовными отцами и воспитателями. Наша бедная, парализованная церковь, наша ужасная школа не могут надлежащим образом выполнять свой долг, и поэтому каждый писатель, являющийся истинным патриотом, склонен принять на себя часть их обязанностей. Возвратившись из-за границы, Достоевский с беспокойством наблюдал, с какой поспешностью приближалась Россия к пропасти, в которую она низвергнута сейчас, через тридцать пять лет после его смерти. Он провел три года в Италии и Германии[176] в период наивысшего национального расцвета. Вернувшись в Петербург, мой отец нашел только недовольных, глубоко ненавидевших свою страну. Несчастные русские интеллигенты, воспитывавшиеся в космополитических школах, глубоко презирали свое отечество и мечтали об одном: превратить столь своеобразную, столь интересную Россию, страну, богатую гениями, с многообещающим будущим, в смешное подобие старой Европы. Подобный образ мыслей был тем опаснее, что наш народ оставался патриотом, восхищался своей чудесной страной, гордился тем, что он русский, и искренне презирал европейцев. Достоевский, хорошо знакомый и с нашими интеллигентами, и с нашими крестьянами, понимал, насколько сильны были эти и насколько слабы те. Он сознавал, что наши интеллигенты держались лишь за счет царских милостей и что в тот день, когда, в неведении своем, они допустят свержение трона, народ не упустит

возможности отомстить всем «барам», как называет он знатных и интеллигентных людей, которых ненавидит за их атеизм и космополитизм. Пророческий дух Достоевского предвидел все ужасы русской революции.

Начиная публиковать «Дневник писателя», Достоевский надеялся объединить горсточку интеллигентов с огромной массой народа, пробудив в них патриотические и религиозные чувства. В «Дневнике писателя» 1876 года Достоевский говорит: «Средство против нашей интеллектуальной болезни заключается в нашем единении с народом. Я начал этот «Дневник писателя», чтобы по возможности чаще говорить об этом средстве». Так мой отец вновь начал пропагандировать ту же идею, которую провозгласил уже в журнале «Время» при поддержке своего брата Михаила. Его пламенные речи звучали не в пустыне; многие русские видели эту нравственную пропасть, отделяющую наших интеллигентов от наших крестьян, и надеялись, что смогут ее преодолеть. Отцы первыми отозвались на этот призыв Достоевского. Они приходили к нему, спрашивали, как воспитывать детей, писали ему письма из далекой провинции и просили совета. Эти верные долгу отцы принадлежали ко всем слоям русского общества. Среди них были совсем скромные люди, отказывавшие себе во всем, чтобы дать своим детям высшее образование, и теперь с ужасом видевшие, как они становились атеистами и врагами России. Великий князь Константин Николаевич тоже попросил моего отца повлиять на его молодых сыновей Константина и Дмитрия. Это был интеллигентный человек, широко европейски образованный, он хотел воспитать своих сыновей патриотами и христианами. Дружба моего отца с молодыми князьями длилась до самой его смерти; он любил их обоих, но отдавал предпочтение великому князю Константину, в котором угадал будущего поэта. Это тот самый великий князь Константин, публиковавший впоследствии чудесные стихотворения и пьесы под псевдонимом К. Р. — Константин Романов.

После отцов пришли сыновья. Как только Достоевский заговорил о патриотизме и религии, петербургские студенты и студентки толпами устремились к нему, забыв все прежние обиды. Бедная, бедная русская молодежь! Есть ли на свете еще такая страна, где бы молодое поколение было таким больным и хилым? Тогда как в Европе родители воспитывают в сердцах своих детей любовь к отчизне, пытаются сделать из них хороших французов, хороших итальянцев, хороших англичан, русские родители растят своих детей врагами своей страны. С самого раннего детства русские дети слышат из уст своих отцов речи, оскорбляющие царя, двусмысленные истории о царской семье, насмешки над священниками и религией; о нашей любимой России говорится, как о позорном пятне, о преступлении против человечества. Когда же дети поступают потом в школу, у учителей своих они встречают то же презрение к отечеству; тогда как школы других стран считают своей обязанностью воспитывать молодых граждан в духе патриотизма, русские профессора учат студентов ненавидеть православную цер-

ковь, монархию, наше национальное знамя, все наши законы и установления. Они учат их восхищаться Интернационалом, который, по их мнению, когда-нибудь принесет России справедливость. Со слезами на глазах они говорят об этой идеальной нации, не имеющей ни отечества, ни религии, говорящей одинаково плохо на всех языках, вожди которой, эти будущие великие мужи России, получили свое образование в кафе Парижа, Женевы и Цюриха. Ах, возможно, русские студенты горланили песни Интернационала, таскали красные флаги по улицам Петербурга и Москвы — их сердцами овладело отчаяние, смерть ожесточила их сердца и толкала их на самоубийство. Можно ли быть счастливым, когда ненавидишь свое отечество? Эти бедные молодые люди, эти несчастные молодые девушки приходили к моему отцу, плача, рыдая, и открывали ему сердце. Достоевский относился к ним, как к своим сыновьям и дочерям, принимал участие во всех их горестях, терпеливо отвечал на их наивные вопросы о жизни, ожидавшей их после смерти. Наши студенты — большие дети, и если на их пути встречается достойный уважения человек, они слушаются его, как мастера, и педантично следуют его советам. Мой отец пожертвовал своим творчеством публикации «Дневника писателя», но эти годы, конечно, не потеряны для России.

Особенно студентки были в восторге от Достоевского, всегда бывшего очень внимательным по отношению к ним. Никогда не давал он советов с восточной направленностью, которые столь расточительно раздают молодым девушкам наши писатели: «Зачем вам учиться? Скорее выходите замуж и рожайте как можно больше детей». Достоевский не проповедовал безбрачия, но говорил, что они должны выходить замуж только по любви и в ожидании ее учиться, читать, размышлять, чтобы стать потом образованными матерями и иметь возможность дать своим детям европейское образование. «Я многого жду от русской женщины»,— часто повторял он в «Дневнике». Достоевский знал, что славянки обладают более сильным характером, чем мужчины-славяне, что они лучше трудятся и стоически переносят несчастье. Он надеялся, что русская женщина впоследствии, став когда-нибудь совершенно свободной (до сих пор она только приоткрыла двери своего гарема, но еще не вышла оттуда), будет играть большую роль в своей стране. Достоевского можно назвать первым русским феминистом.

Теперь студенты опять приглашали Достоевского читать свои произведения на литературных вечерах. Тогда уже начала проявляться смертельная болезнь, погубившая Достоевского. Он страдал катаром дыхательных путей, и громкое чтение вслух очень ухудшало его состояние. Однако мой отец никогда не отказывался от участия в вечерах, ведь он знал, какие прекрасные мысли может пробудить в юных головах правильно подобранное чтение. Особенно охотно он читал монолог Мармеладова, несчастного пьяницы, который, находясь на дне пропасти, затянувшей его, все еще верит в Бога и надеется смиренно на его прощение. Несчаст-

ный мечтает, что Бог на Страшном суде, награждая всех хороших и добродетельных, вспомнит и о нем. Смиренно и стыдливо спрячется он за других, не осмеливаясь поднять глаз, и будет ждать, что Господь обратится к нему со словами сострадания... В этой главе из «Раскольникова» заключена вся религиозная философия нашего младенческого народа.

Достоевский-чтец вскоре вошел в моду; он читал великолепно и умел завладевать сердцами своих слушателей. Публика разражалась бурными аплодисментами и бесконечно вызывала его. Отец благодарил, улыбаясь, но не питал никаких иллюзий в отношении своих слушателей. «Они аплодируют, но не понимают меня»,— печально говорил он друзьям, участвовавшим вместе с ним в литературных вечерах. Достоевский был прав. Инстинктивно наша интеллигенция понимала, что мой отец говорит им правду, но она была неспособна изменить свой духовный настрой. Рабство нашего народа нанесло больше вреда знатным и образованным людям, чем крестьянам. Русский народ обладал достаточной силой, чтобы вынести три столетия рабства и не потерять своего достоинства. Но интеллигенты наши оказались очень слабыми и долгое время после освобождения крестьян сохраняли свои повадки тиранов. Высокомерие их мелких душонок мешало им разделить мысли и чаяния народа. Они не могли забыть, что их отцы когда-то были господами крепостных, продолжали обращаться с освобожденными крестьянами, как с рабами, и хотели силой навязать им химеры, вычитанные в европейских книгах. Так же, как мой дед Михаил когда-то не потрудился постараться понять характер русского народа и был убит им [177], интеллигентное общество нашей страны продолжало жить как бы в пустоте, в подвешенном состоянии между Европой и Россией, пока не было жестоко наказано революцией.

Расположение, которым Достоевский теперь снова пользовался у студентов, имело последствием странное и все же логически из этого вытекающее событие. Однажды, когда моей матери не было дома, горничная доложила отцу, что пришла неизвестная дама, не желающая назвать свое имя. Достоевский привык принимать незнакомок, исповедующихся ему; он попросил горничную провести неизвестную в его кабинет. Вошла одетая в черное дама, лицо которой было скрыто густой вуалью, и молча села. Достоевский с удивлением смотрел на нее.

— Чему я обязан честью видеть Вас? — спросил он.

Вместо ответа незнакомка вдруг отбросила вуаль и обратила на него трагический взгляд. Отец наморщил лоб — он не любил трагедий.

— Вы не хотите себя назвать, милостивая госпожа? — сказал он сухо.

— Как, Вы не узнаете меня? — пробормотала посетительница с видом уязвленной королевы.

— Нет, конечно, я не узнаю Вас. Почему Вы все-таки не хотите назвать свое имя?

— Он не узнает меня! — театрально вздохнула дама в черном. Отец потерял терпение.

— К чему эта таинственность? — сердито воскликнул он. — Объясните, пожалуйста, причину Вашего визита. Я очень занят и не могу попусту терять время.

Неизвестная поднялась, опустила вуаль и покинула комнату. Достоевский, совершенно сбитый с толку, последовал за ней. Она открыла входную дверь и сбежала по лестнице. Отец, погруженный в раздумья, остался стоять в передней. Постепенно что-то начало всплывать в его памяти. Где же он уже видел этот трагический взгляд? Где слышал этот мелодраматический голос? «Боже мой! — внезапно воскликнул он. — Ведь это была она, это была Полина!» [178]

Мать как раз вернулась домой. Совершенно растерянный, Достоевский рассказал ей о визите своей прежней возлюбленной.

— Что я наделал? — повторял мой отец. — Я смертельно ее обидел. Она ведь так горда! Она никогда не простит мне, что я не узнал ее; она будет мне мстить. Полина знает, как я люблю своих детей — эта безумная в состоянии их убить. Бога ради, не выпускай их больше из дома!

— Но как же ты мог ее не узнать? — спросила моя мать. — Она так изменилась?

— Конечно, нет... теперь, когда я вспоминаю, я понимаю, что она очень мало изменилась... Но что ты хочешь! Я начисто забыл о Полине, будто и не было ее никогда.

Мозг эпилептиков не похож на нормальный. Память их удерживает только те факты, которые произвели на них особое впечатление. Вероятно, Полина Н. принадлежала к числу тех хорошеньких девушек, которых мужчины очень любят, когда находятся в их обществе, но забывают их, лишь только они исчезают из их поля зрения.

В возрасте старше пятидесяти Полина Н. вышла замуж за двадцатилетнего студента, большого почитателя моего отца. Этот юный энтузиаст, ставший впоследствии превосходным писателем и журналистом, был безутешен оттого, что он не знал Достоевского; и он захотел хотя бы жениться на той, которую любил его любимый писатель. Легко можно предположить, чем должен был закончиться столь необычный брак [179].

ДОСТОЕВСКИЙ В ИНТИМНОЙ ЖИЗНИ

Русские студенты не привыкли к порядку; они приходили к моему отцу в любое время дня и мешали его работе. Достоевский, никогда не отказывавшийся их принимать, теперь был вынужден работать по ночам. Уже и раньше, сочиняя важную главу, он предпочитал, чтобы все вокруг спали, когда он работает. Теперь эта ночная работа вошла в привычку. Достоевский писал до 4—5 часов утра и вставал только после одиннадцати. Спал он в своем кабинете на диване. Тогда в России это было принято, и столяры делали турецкие диваны с большим выдвижным ящиком, куда убирали на день подушки, простыни и одеяло. Таким образом, спальня в один миг превращалась в жилую комнату или кабинет. На стене, над диваном, висела большая великолепная фотокопия Сикстинской мадонны, подаренная моему отцу друзьями, знавшими о его любви к картине Рафаэля. Первое, что видел Достоевский, просыпаясь, был кроткий лик этой мадонны, которую он считал идеалом женщины.

Встав, отец сначала делал гимнастику, а потом мылся в своей туалетной комнате. Мылся он тщательно, используя много воды, мыла и одеколона. У Достоевского была истинная страсть к чистоте, хотя эта добродетель, собственно, не свойственна русским. Она вошла в моду только во второй половине девятнадцатого столетия. О наших бабушках рассказывают, что во времена их молодости девушки, собираясь на бал, посылали горничных к матери узнать, как мыть шею — для маленького или большого декольте. И сегодня можно встретить у нас старых княгинь с нечищеными ногтями. Ногти Достоевского никогда не были черными. Как бы ни был он занят, время для тщательного ухода за ногтями всегда находилось. Моясь, он обычно пел. Его туалетная комната находилась рядом с нашей детской, и каждое утро я слышала, как он пел мягким голосом одну и ту же короткую песенку:

«На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит!
Утро дышит у ней на груди,
Ярко дышит на ямках ланит...»

Потом отец шел в свою комнату и оканчивал там свой туалет. Я никогда не видела его в халате или домашних туфлях, в кото-

рых русские ходят большую часть дня. С самого утра он был в сапогах, при галстуке и в красивой белой рубашке с накрахмаленным воротником. (Тогда только народ носил у нас цветные рубашки).

Отец всегда носил хорошо сшитые костюмы; даже тогда, когда он был беден, он одевался у лучшего портного города. Он тщательно ухаживал за своей одеждой, всегда сам ее чистил и владел секретом долго сохранять ее новой. Утром отец надевал короткую куртку. Если ему случалось, переставляя свечи, капнуть на нее воском, он сразу же снимал ее и просил служанку удалить пятна. «Пятна мешают мне,— жаловался он. — Я не могу работать, если они есть. Я все время буду думать о них, вместо того чтобы сосредоточиться на моей работе». Закончив туалет и помолившись, он шел в столовую пить чай. Теперь мы могли пожелать ему доброго утра и поговорить с ним о наших детских делах. Отец любил сам разливать чай и всегда пил очень крепкий чай. Он выпивал два стакана и брал третий с собой в кабинет, где пил его во время работы небольшими глотками. Во время завтрака служанка проветривала и убирала его кабинет. Там было мало мебели, все вещи стояли вдоль стены и всегда должны были оставаться на своем месте. Когда к отцу приходило сразу несколько друзей, и стулья и кресла стояли в беспорядке, он сам расставлял их по местам после ухода гостей. На его письменном столе тоже царил величайший порядок. Газеты, коробка с папиросами, письма, полученные им, книги, которыми он пользовался для справок,— все должно было находиться на своем месте. Малейший беспорядок раздражал отца. Зная, какое значение он придает этому педантично соблюдаемому порядку, моя мать каждое утро самолично проверяла письменный стол мужа. Потом она устраивалась рядом с ним и приготавливала на маленьком столике свою тетрадь и карандаши. Окончив завтрак, отец возвращался в свою комнату и сразу же начинал диктовать главу, сочиненную им ночью. Мать стенографировала ее и потом переписывала. Достоевский исправлял написанное, часто добавляя некоторые детали. Мать переписывала еще раз и отсылала рукопись в типографию. Таким образом она экономила его время, освобождая от столь трудоемкой работы. Возможно, Достоевский не смог бы написать так много романов, если бы его жене не пришло в голову изучить стенографию. Почерк у моей матери был очень красивым; а у отца он был менее правильным, но более изящным. Я называла его «готическим шрифтом», может быть, потому, что все рукописи были испещрены готическими окнами, очень тонко нарисованными пером. (В Инженерном замке большое значение придавали рисованию). Достоевский рисовал их совершенно механически, обдумывая то, над чем работал; можно было бы подумать, что душа его жаждала готических линий, которыми его так восхитили Миланский и Кельнский соборы. Иногда он рисовал на рукописи головы и профили, всегда очень интересные и характерные.

Диктуя матери свои произведения, Достоевский иногда останавливался и спрашивал ее мнение. Мать воздерживалась от критики. Злобные газетные критики доставляли ее мужу достаточно огорчений, она не хотела добавлять их. Но опасаясь, чтобы ее согласие не было слишком однообразным, мать иногда осмеливалась возражать ему по несущественным вопросам. Если героиня романа была одета в голубое, она переодевала ее в розовое; если шкаф стоял слева, она переставляла его направо; она изменяла форму шляпы героя и обрезала иногда ему бороду. Достоевский охотно принимал желаемые изменения и наивно полагал, что этим доставил своей жене большое удовольствие. Ее хитрости он понимал так же мало, как когда-то хитрости каторжников, которые вели с ним беседы о политике и о жизни в столичных городах, чтобы развлечь его. Достоевский был настолько честен, что мысль о том, что кто-то хочет его обмануть, просто не приходила ему в голову. Сам он обманывал только раз в году — первого апреля. Апрельские шутки были традиционными, а отец мой очень любил традиции. В одно весеннее утро он вышел из своей комнаты с совершенно растерянным видом. «Знаешь, что случилось со мной этой ночью? — сказал он матери, входя в столовую. — Ко мне в постель забралась крыса, я ее задушил. Ради Бога скажи, чтобы ее убрали; я не могу больше войти в мою комнату, пока крыса там — мне противно». И Достоевский закрыл лицо руками. Моя мать позвала служанку и вместе с ней вошла в комнату мужа. Мы с братом последовали за ними; мы никогда еще не видели крысы, и нам было любопытно посмотреть, какая она. Служанка трясла подушки, простыни, одеяла, подняла ковер — ничего! Крысиный труп исчез. «Но куда же ты ее выбросил?» — спросила мать, возвращаясь в столовую, где ее муж спокойно пил чай. Тут он начал смеяться. «Первое апреля!» — произнес он, в восторге от своей шутки.

Покончив с диктовкой, Достоевский звал нас и угощал чем-нибудь сладким (это был наш полдник). Отец очень любил сладости; он всегда хранил в ящике книжного шкафа коробки с винными ягодами, финиками, орехами, изюмом и фруктовой пастилой, какую делают в России. Достоевский охотно ел их днем, а иногда и ночью. Этот «дастархан», как называют закуску, подаваемую гостям на Востоке, был, как я думаю, единственной восточной привычкой, унаследованной Достоевским от его русских предков; возможно также, что все эти сладости были необходимы для его слабого организма. Когда Достоевский звал нас к себе, он щедро оделял нас сладким, распределяя все лакомства поровну между братом и мной. Чем старше мы становились, тем строже был он по отношению к нам, но всегда оставался очень нежным, пока мы были маленькими. В детстве я была очень нервной и часто плакала. Чтобы развлечь меня, отец предлагал потанцевать с ним. Мебель в зале отодвигалась в сторону, мать брала в кавалеры сына, и мы танцевали кадриль. Так как некому было играть на рояле, мы все четверо напевали какой-нибудь ритурнель. Мать

хвалила своего мужа за ту точность, с которой он выполнял трудные па кадрили. «О! — отвечал он, кашляя и вытирая пот со лба. — Если бы ты могла видеть, как хорошо я танцевал в молодости мазурку!» Как известно, мазурка — национальный танец литовцев и поляков.

В четыре часа отец выходил на свою ежедневную прогулку. Он шел всегда одной и той же дорогой, погруженный в свои мысли, и не узнавал друзей, встречавшихся ему. Иногда он заходил к кому-нибудь из приятелей побеседовать об интересовавшей его политической или литературной работе. Если у Достоевского были деньги, он покупал у Балле, в лучшей кондитерской Петербурга, коробку конфет или выбирал виноград и груши в лучшем гастрономическом магазине города. Он всегда покупал самое лучшее и ненавидел случайные или дешевые покупки. Отец сам приносил домой купленное и распоряжался подать это нам на десерт. Тогда обедали в шесть часов, а в девять пили чай. Достоевский посвящал эту часть вечера чтению и начинал работу только после чая, когда все спали. Перед этим он заходил еще в нашу детскую пожелать нам спокойной ночи, благословить и прочитать с нами короткую молитву Богородице, ту самую, которую его заставляли читать родители, когда он был ребенком. Потом он обнимал нас и возвращался в свою комнату, чтобы приняться за работу. Достоевский не любил ламп и предпочитал писать при свете двух свечей. Электричества тогда еще не было и едва ли о нем что-нибудь было известно. Работая, он много курил и пил очень крепкий чай. Без этих стимулов он едва ли мог бы так долго бодрствовать.

Такую же размеренную, монотонную жизнь, где один день похож на другой, он вел также и в Старой Руссе. Отец уже не мог проводить с нами все лето; он должен был ездить каждый год лечиться в Эмс. Эмские источники отлично действовали на него, но он очень скучал в Германии. Он считал дни, остававшиеся до возвращения в Россию, и с нетерпением ожидал того времени, когда бы он разбогател настолько, что вся семья могла бы его сопровождать за границу. Он думал о нас при виде маленьких немцев, весело разъезжавших на осликах, и мечтал, чтобы и его дети могли так развлекаться. Возвращаясь в Старую Руссу, Достоевский часто рассказывал нам о маленьких немецких осликах, чтобы нас повеселить. В России нет ослов, и это неизвестное животное, особенно, по-видимому, нравящееся детям, вызывало у нас живейшее любопытство. Мы без устали расспрашивали отца о моральных и физических качествах маленьких ослов с длинными ушами.

Достоевский всегда привозил нам из-за границы чудесные подарки. Обычно это были полезные и дорогие вещи, выбранные с большим вкусом. Матери он привез элегантный бинокль из расписного фарфора, резной тонкой работы веер из слоновой кости, красивые кружева Шантильи, черное шелковое платье и белье с изящной вышивкой. Мне он привозил белую пикейную одежду

для лета, украшенные вышивкой шелковые платьица для зимы. В противоположность родителям, одевающим своих дочерей всегда в голубое или розовое, он выбирал платья цвета морской волны. Цвет морской волны был его любимым цветом, и он часто одевал героинь своих романов в одежду этого цвета.

На протяжении всей своей жизни Достоевский был очень гостеприимным и любил в дни семейных праздников объединять за столом своих родных и родню жены. Он был тогда очень любезен, выбирал темы для разговора, которые могли бы их интересовать, смеялся, шутил и соглашался даже иногда поиграть в карты, хотя и не любил эту игру. Несмотря на все его старания и любезность моей матери, часто эти сборища заканчивались неудачно из-за паршивой овцы, Павла Исаева, желавшего присутствовать на всех наших семейных праздниках. Он не имел ни малейшего понятия, как надо вести себя в обществе. Хотя Павел Исаев, сын офицера[180], происходил из хорошей семьи (его отец был потомственным дворянином), воспитывался в кадетском корпусе с вежливыми и благонравными мальчиками, а каникулы проводил всегда у моего дяди Михаила, принимавшего весь цвет литературы того времени, вел он себя точно так, как, вероятно, вели себя его предки по материнской линии в каком-нибудь оазисе Сахары; мне редко приходилось видеть столь странный атавизм. Злой и бесстыдный, он говорил всем дерзости и всех обижал. Наши родные возмущались и жаловались на него отцу. Достоевский сердился и выставлял своего пасынка за дверь; но, подобно самой природе, Павел Исаев вновь появлялся через окно. Он продолжал цепляться за своего «папу», ничего не делал и требовал денег. Друзья Достоевского ненавидели его пасынка и никогда не приглашали к себе. Они хотели убрать этого тунеядца с шеи моего отца и предлагали ему отличные места в частных банках. В министерстве он служить не мог, так как не окончил государственную школу. Всякий разумный человек сделал бы все возможное, чтобы удержаться на предложенном месте и обеспечить свое будущее. Но Павел Исаев нигде долго не задерживался. Он не только с коллегами, но и с начальниками обращался, как с рабами, беспрестанно говорил о своем отчиме, известном писателе Достоевском, среди друзей которого есть великие князья и министры, и угрожал своим коллегам его всемогущей местью. Сначала над этой манией величия смеялись; но, потеряв терпение, выставляли Павла Исаева за дверь, и тогда он опять возвращался к Достоевскому, как «фальшивая монета». Павел Исаев был теперь главой многочисленной семьи. Верный традициям своих предков-мамелюков, он каждый год производил на свет младенца и называл их именами, которые носили мы: Федор, Алексей, Люба. По-видимому, он имел намерение продолжать мнимое родство и превратить своих детей во внуков Достоевского. Будучи сам тунеядцем, он надеялся и их вырастить тунеядцами. Но это ему не удалось. Его дети стали гораздо более серьезными, трудолюбивыми и достойными уважения, чем их отец. Россия берет их себе

и все больше и больше освобождает их от «мамелюкства». Кто знает, не породит ли эта негритянская кровь, ставшая несчастьем для Павла Исаева и его матери, однажды среди потомков большой талант, большого человека. Подобное случается в России. Моя мать по мере сил протестовала против этого ложного родства. Она защищала нас, славяно-норманнов, и ни в коем случае не хотела допустить ничего общего между нашими белокурыми головами и желтой кожей несчастного мулата. Она имела на это право, так как русские законы не признают родства между отчимом и пасынком. Православная же церковь признает духовное родство между ними. Справедливо предположить, что Достоевский, бывший на протяжении всей своей жизни верным сыном нашей церкви, также признавал это родство. Он чувствовал себя особо ответственным за нравственное поведение своего пасынка. Так, однажды, во время длительного пребывания за границей, у него возникло подозрение, что Павел Исаев намеревается подделать подпись. Достоевский рассказывает в письме к Майкову, как страдал он от этой мысли и горячо молил Бога помешать этому. Отец был страшно счастлив, узнав, что он ошибся. Между прочим, я считаю, что Павел Исаев не способен на плохой поступок. Достоевский все же считал, что это духовное родство должно угаснуть с его смертью, так как никогда не требовал, чтобы мы относились к Павлу Исаеву, как к брату. Нам было запрещено быть с ним на «ты» и называть его уменьшительным именем. И все же мы с братом Федором восторгались им; он не был по отношению к нам ни добрым, ни ласковым, но он чрезвычайно забавлял нас. Когда он приходил к своему отчиму, мы пробирались в комнату Достоевского, прятались за креслами и боялись дышать, чтобы нас не заметили и не выгнали вон; оттуда мы пожирали нашими детскими глазами необычные жесты и неожиданные позы Павла Исаева и с восторгом слушали его бессмысленную болтовню. Он был для нас паяцем, которым любуются маленькие парижане в балагане на Елисейских полях и который так нужен всем детям в известном возрасте.

ДОСТОЕВСКИЙ — ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА

Вид этого жалкого паяца, вероятно, побудил Достоевского всерьез заняться моим братом Федором и мной. Так как воспитание его пасынка оказалось неудачным, он хотел приложить, по крайней мере, все старания, чтобы этого не случилось с его собственными детьми. Он взялся за дело очень рано, тогда, когда большинство отцов еще оставляют своих детей в детской. Возможно, он знал, что болезнь его смертельна, и спешил поэтому посеять добрые семена. Для этой цели он выбрал то же средство, какое когда-то применил его отец — чтение вслух великих писателей. В семье деда Михаила читали вслух по очереди дети. Достоевский должен был читать нам сам, так как мы еще только учились читать, когда начались наши литературные вечера. Первый из них глубоко врезался мне в память. В один из осенних вечеров в Старой Руссе, когда дождь лил, как из ведра, и желтые листья устилали землю, Достоевский объявил нам, что будет читать нам «Разбойников» Шиллера. Мне было тогда семь лет, а брату как раз исполнилось шесть. Мать захотела присутствовать на этом первом чтении. Достоевский читал с воодушевлением, иногда делая паузы, чтобы объяснить нам трудные выражения. Мы слушали, раскрыв рты; эта немецкая драма казалась нашему детскому уму очень странной. И что была нам эта фантастическая Германия, находящаяся Бог знает где, эта удивительная страна, куда каждый год должен был уезжать наш отец по требованию врача, чтобы скучать там, и где смелые дети могли ездить на маленьких осликах с такими длинными, длинными ушами! Но, к сожалению, в «Разбойниках» не было маленьких ослов. Зато там был довольно неприятный отец, ссорившийся с сыновьями; и была там девушка, хотевшая их примирить и постоянно плакавшая. «Она, действительно, должна плакать, бедная девушка! — думала я меланхолично, слушая темпераментное чтение отца. — Должно быть, очень скучно жить с людьми, которые ссорятся с утра до вечера. И все же они должны быть счастливыми, ведь они живут в Германии, этой чудесной стране, где есть маленькие ослики с длинными ушами. А ведь не в каждой стране есть такое, в России, например, их нет. Почему же тогда они недовольны, почему они все время ссорятся? У этих немцев, должно быть, очень плохой характер...»

Хотя в семилетнем возрасте я была не в состоянии понять произведение Шиллера, зато я хорошо поняла, что эта загадочная драма очень интересовала отца[181] и что я тоже должна казаться заинтересованной, чтобы угодить ему. Хитрая, как почти все маленькие девочки, я делала ученый вид, кивала сочувствующе головой и придавала своему лицу такое выражение, как будто бы я очень ценю гений Шиллера. Но так как сон одолевал меня тем сильнее, чем свирепее вели себя братья Моор, я судорожно распахивала как можно шире свои бедные утомленные детские глаза; брат Федор засыпал совершенно бесцеремонно... Когда Достоевский взглянул на свою аудиторию, он прервал чтение, вынужден был рассмеяться и поиронизировал на свой счет. «Они не могут это понять, они еще слишком малы»,— сказал он с грустью своей жене. Бедный отец! Он надеялся, что сможет вместе с нами пережить вновь то волнение, которое вызывали в нем когда-то драмы Шиллера; он забыл, что он был по крайней мере вдвое старше нас, когда смог их оценить.

Достоевский выждал несколько месяцев, прежде чем возобновил литературные вечера. На этот раз он выбрал древние русские сказания, которые рассказывают в деревнях в долгие вечера наши деревенские сказочники. Эти неграмотные Гомеры обладают фантастической памятью и могут без запинки пересказывать тысячи строк. Они говорят их нараспев, с большим вкусом и воодушевлением; эти певцы — настоящие поэты, они часто добавляют к исполняемым произведениям отрывки собственного сочинения. Эти сказания повествуют о жизни воинов князя Владимира, русского короля Артура, также любившего собирать за своим столом боевых товарищей. Наш народ, не знающий истории, смешивает со сказаниями IX и X столетий гораздо более древние языческие, так что воины полуславянского, полунорманнского двора Владимира в этих легендах сражаются с карликами и великанами. Эти удивительные сказания написаны частично на русском, частично на старославянском языке, что придает им еще большую поэтичность. (Во время православной литургии Евангелие и молитвы читаются на старославянском языке, поэтому в России все в большей или меньшей степени понимают старославянский, также и дети, которые у нас в стране присутствуют на службе уже с двух лет). Эти древние сказания говорили нашей детской фантазии гораздо больше, чем драмы Шиллера. Мы слушали с восторгом и увлечением, оплакивали горючими слезами злоключения путешествующих воинов и радовались их победам. Наше волнение вызывало у Достоевского улыбку, и его самого воодушевляли великолепные творения нашего народа. После сказаний он читал нам написанные чудесным русским языком поэмы Пушкина, кавказские поэмы Лермонтова, а также «Тараса Бульбу» Гоголя, великолепный роман, в котором описаны нравы казаков старой Украины. Развив таким образом до некоторой степени наш литературный вкус, Достоевский начал знакомить нас со стихотворениями Пушкина и Алексея Толстого, двух русских поэтов, которых он

больше всего любил. Достоевский читал их удивительно, особенно одно, которое он не мог читать без слез. Это пушкинское стихотворение «Бедный рыцарь» повествует о средневековом мечтателе, Дон Кихоте, который, будучи глубоко религиозным, на протяжении всей своей жизни странствует по Европе и Востоку, насаждая там евангельские идеи. Во время странствий ему является одно видение: в момент наивысшего вдохновения он видит святую деву у подножия креста. Он опускает на свое лицо «железное забрало» и, верный мадонне, больше не смотрит на женщин. В «Идиоте» Достоевский рассказывает, как одна из его героинь читает это стихотворение. «Судорога вдохновения и восторга раза два прошла по ее прекрасному лицу»,— говорит он, описывая эту сцену. То же происходило и с Достоевским, когда он читал его; черты его прояснялись, голос дрожал, и глаза затуманивались слезами. Милый отец! Он пересказывал нам здесь историю собственной жизни! Он тоже был бедным рыцарем без страха и упрека, боровшимся всю жизнь за великие идеи. И ему являлось небесное видение: но не средневековая дева являлась ему — это был Христос, пришедший к нему на каторге и давший ему знак следовать за ним...

При всем большом значении, которое Достоевский придавал чтению вслух, он не забывал также и о театре. В России есть обычай водить детей в балет. Достоевский не любил балет и никогда не посещал его; он предпочитал водить нас в оперу. Замечательно, что он всегда выбирал одну и ту же оперу «Руслан и Людмила» Глинки по одноименной поэме Пушкина. Можно было бы подумать, что Достоевский хотел, чтобы эта опера особенно запечатлелась в наших детских сердцах. И действительно, ее содержание очень примечательно: это политическая аллегория, своего рода пророчество о будущем славянских народов. Людмила, любимая дочь князя Владимира, символизирует западных славян, Черномор, восточный чародей, ужасный карлик с длинной бородой, олицетворяющий Турцию, нападает на Киев в момент большого праздника, погружает всех в волшебный сон, захватывает прекрасную Людмилу и забирает ее в свой замок. Два рыцаря, Руслан — Россия и Фарлаф — Австрия, пускаются за карликом в погоню и после всевозможных приключений попадают в замок Черномора. Руслан вызывает его на дуэль; Черномор принимает вызов; но перед поединком он снова погружает бедную Людмилу в волшебный сон. Во время их поединка хитрый Фарлаф завладевает спящей Людмилой и привозит ее в Киев к князю Владимиру, который обещает руку Людмилы рыцарю, освободившему ее. Как ни пытается Фарлаф разбудить спящую красавицу, Людмила не внемлет его стараниям. Между тем Руслан убил ужасного Черномора и завладел его волшебным кольцом. Он возвращается в Киев, надевает кольцо на палец спящей Людмилы и будит ее. Она бросается в его объятия, узнает его и называет его своим любимым женихом, с презрением отворачивается от Фарлафа и высмеивает его притязания. Видя, что Людмила отвергла его, Фарлаф — Австрия с позором бежит из Киева.

Эта чудесная опера, поставленная с большой роскошью, могла поразить детское воображение. Мы с братом были от нее в восторге, что не помешало нам изменить ей. Когда мы однажды пришли в театр, мы услышали, что один из певцов внезапно заболел и «Руслан и Людмила» заменяется «Бронзовым конем», комической оперой, очень модной тогда. Отец рассердился и хотел вернуться домой. Мы запротестовали и заплакали; он не захотел огорчать нас и разрешил послушать эту китайскую или японскую оперу. Мы были в восторге: там было столько колокольчиков и так много шуму! Громадный бронзовый конь, появлявшийся во всех актах, произвел особенно большое впечатление на нашу детскую фантазию. Достоевскому наш восторг очень не понравился. Очевидно, ему не хотелось, чтобы мы были ослеплены чудесами Востока, он желал, чтобы мы остались верными его дорогой Людмиле.

Когда Достоевский уезжал в Эмс или был очень занят, он просил мою мать читать нам произведения Вальтера Скотта и Диккенса, «этого великого христианина», как называет он его в «Дневнике писателя». За обеденным столом Достоевский расспрашивал нас о наших впечатлениях и вспоминал эпизоды из этих романов. Отец, забывший фамилию своей жены и лицо своей возлюбленной, помнил все английские имена героев Диккенса и Вальтера Скотта, которые произвели на него впечатление в юности, и говорил о них, как о близких друзьях.

Достоевский очень гордился моей любовью к чтению. Я научилась читать в течение нескольких недель и проглатывала все книги, попадавшие мне в руки. Мать возражала против чтения без разбора, которое действительно должно было приносить вред нервному ребенку. Достоевский же поддерживал меня в этом и узнавал в этой любви к чтению собственную страсть к книгам. Он выбирал для меня в своей библиотеке исторические романы, сентиментальные рассказы Карамзина, спрашивал меня о моих впечатлениях и объяснял то, что я плохо поняла. Я привыкла составлять ему компанию во время его завтрака, и для меня это было лучшее время дня. Тогда начинались наши литературные беседы, но, к сожалению, они были непродолжительны.

Первой книгой, подаренной мне отцом, была русская история Карамзина с прекрасными иллюстрациями. Отец объяснял мне эти рисунки, изображавшие прибытие Рюрика в Киев или битву его сына Игоря с кочевниками, окружившими со всех сторон еще слабое славянское племя. Потом он показал мне Владимира, обратившего свое княжество в христианскую веру, Ярослава, установившего первые европейские законы, и других потомков Рюрика, основавших позднее Москву и защищавших будущую великую Русь от вторжения татар. Славяно-норманнские князья были моими любимыми героями. Словно во сне, слышала я их песни, их боевые кличи. Любимой моей героиней была Рогнеда, дочь норманнского князя Рогволода; в наших детских спектаклях я предпочитала играть ее роль. Путешествуя впоследствии по За-

падной Европе, я повсюду искала следы моих любимых норманнов. Меня удивляло, что европейцы всегда говорили о латинской и германской культуре, совершенно забывая о норманнской, которая была все же гораздо более значительной. В те времена, когда Европа погрязла в варварстве средневековья, норманны уже исповедовали свободу совести и защищали все религии, имевшие место в их государстве. Вместо того чтобы склоняться перед силой и богатством, они склонялись перед писателями и учеными, привлекали их к своему двору и даже принимали участие в их труде. Так, норманнский князь Рогер II помогал в Сицилии арабскому ученому Эдрици писать первую книгу по географии под детским заглавием «Радость для того, кто любит путешествовать». Норманнская цивилизация настолько обогнала время, что не смогла найти доступа в еще варварскую Европу; она смогла существовать только в некоторых маленьких, тихих странах, как Литва и Сицилия. И все же эта чудесная цивилизация не погибла, она продолжает свою жизнь в душах потомков норманнов и время от времени дает себя знать в произведениях какого-нибудь великого писателя или художника.

Одно мне казалось удивительным позже, когда я начала анализировать этот период моей жизни,— то, что отец не давал мне детских книг. Единственной книгой этого рода, которую я прочитала, была «Робинзон Крузо», и подарила мне эту книгу мать. Я думаю, что Достоевский не знал детских книг. Во времена его юности в России еще не было подобных книг, и в восемь-девять лет он читал уже великих писателей. И еще одна особенность обращает на себя внимание, когда я вспоминаю наши разговоры: Достоевский, с таким удовольствием разговаривавший со мной о литературе, никогда не рассказывал мне о своем детстве. Тогда как мать сообщала о мельчайших подробностях своего детского бытия, о своих первых впечатлениях, дружбе с братом Иваном,— я не могу вспомнить ни одного единственного события из детства моего отца. Он был столь же молчалив со мной, как когда-то его отец, никогда не говоривший со своими сыновьями о чем-либо, касавшемся их деда Андрея или их украинских дядей.

Достоевского интересовало также и наше религиозное воспитание, и он любил молиться вместе с семьей. В России принято раз в год причащаться, и к этому торжественному событию готовятся неделю, проводя ее в молитвах. Отец добросовестно исполнял религиозные обязанности, постился, дважды в день ходил в церковь и откладывал все литературные дела. Он любил также наши чудные богослужения Страстной недели, особенно пасхальную службу с ее излучающими радость песнопениями. Дети не присутствовали на этой службе, начинавшейся в полночь и заканчивавшейся в два-три часа утра. Но отец захотел показать мне эту великолепную службу, когда мне едва исполнилось девять лет. Он поставил меня на стул, чтобы я могла следить за ходом службы, и, приподнимая меня повыше, объяснял мне смысл этих прекрасных обрядов.

ДОСТОЕВСКИЙ И ТУРГЕНЕВ

Прежде чем обратиться к последним годам жизни моего отца, я хотела бы сказать несколько слов об отношениях его с Тургеневым и Толстым. Разговаривая с европейскими почитателями Достоевского, я всегда замечала, что эти отношения особенно их интересуют.

Отец познакомился с Тургеневым, когда оба были молоды и преисполнены честолюбия, как многие молодые люди, стоящие в начале жизненного пути. Тогда они были еще не известны русской публике; их талант только начинал раскрываться. Они бывали в одних и тех же литературных салонах, прислушивались к одним и тем же критикам, почитали одних и тех же мастеров — любимейших поэтов и романистов. Тургенев очень нравился моему отцу; он восхищался им, как гимназист восхищается товарищем, более красивым и элегантным, чем он, пользующимся большим успехом у женщин и кажущимся ему идеалом мужчины. Но чем ближе Достоевский узнавал Тургенева, тем все более восхищение сменялось антипатией. Позднее он называл Тургенева «фанфароном», выражением, употреблявшимся тогда в России в смысле «позер». Это мнение Достоевского разделяли многие его литературные собратья. Спрашивая впоследствии русских писателей старшего поколения об их отношении к Тургеневу, я всегда отмечала определенный, несколько пренебрежительный тон, с которым они говорили о нем, сразу же исчезающий, как только речь заходила о Толстом. Тургенев в какой-то мере заслужил это пренебрежение. Он принадлежал к числу людей, не способных вести себя естественно, всегда стремящихся показать себя такими, какими они в действительности не являются. В молодости Тургенев разыгрывал из себя аристократа, роль, на которую он не имел никакого права. Русская аристократия представляет собой очень замкнутый круг, она является скорее кланом, чем классом. Она состоит из немногих потомков русских и украинских бояр, из старейшин вошедших в состав России татарских родов, из нескольких балтийских баронов и нескольких польских графов и князей. Все эти представители знати получили одинаковое воспитание, знают друг друга; почти все находятся в родстве друг с другом и с европейской аристократией. Они устраивают пышные празд-

нества в честь послов и преумножают блеск русского двора. Они не оказывают большого влияния на политику страны, которая с середины XIX столетия перешла в руки нашего поместного дворянства, представляющего собой нечто совершенно иное, чем аристократия и не имеющего ничего общего с европейской феодальной знатью. Я уже говорила о своем происхождении, рассказывая о литовской шляхте. Этот союз, носивший в Польше и Литве более воинственный характер, в России оформился в виде Аграрного союза поместных дворян. Екатерина II оказывала ему особую поддержку, надеясь создать в России своего рода третье или среднее сословие. Землевладельцы каждой губернии объединялись и выбирали предводителя дворянства, представлявшего их интересы. Свои обязанности он выполнял бесплатно, даже иногда разорялся, давая балы и роскошные пиры выбравшему его дворянству. Несмотря на это, титул предводителя дворянства всегда высоко ценился, так как давал большие привилегии. Царь спешил пожаловать вновь избранному предводителю титул высшей знати или камергера и приглашал на все празднества, устраиваемые при дворе. Предводитель дворянства не подчинялся министрам и в любое время мог просить аудиенции у царя по вопросам, касающимся дел дворянства своей губернии. Наши цари очень поощряли эти союзы, иногда даже сами выдавали себя за поместных дворян. Так, Николай I заявил, что он «первый дворянин государства». Покупая землю в некоторых губерниях, великие князья братались с другими членами Союза и подписывали телеграммы, отправляемые предводителю, «поместный дворянин» вместо «великий князь». Царь охотно принимал приглашения дворянства и приезжал со своей семьей в дворянское собрание какой-либо губернии на завтрак, обед или чай, стараясь при этом забыть о своем императорском титуле и вести себя, как «дворянин Романов». Я присутствовала на подобных приемах и была поражена отсутствием этикета и патриархальной простотой поведения царя. Фамилии русских аристократов заносились в дворянские книги, и они почитали за честь быть избранными предводителями. Они не всегда удостаивались этой чести. На выборах иного князя прокатывали с треском, а выбирали скромного дворянина, пользовавшегося всеобщим уважением. В этих союзах господствовало истинное равенство; у русских дворян не было гербов, и вновь избранный обладал теми же правами, что и старейшие фамилии. Союзы эти с течением времени становились очень богатыми, так как землевладельцы-холостяки или бездетные вдовцы часто оставляли свое состояние, свою землю и дома дворянству их края. После освобождения крестьян многие дворяне разорились и были вынуждены продать свои поместья. Дворянские союзы были достаточно умны, чтобы не бросить их на произвол судьбы; благодаря своему богатству они смогли назначить вдовам пенсии, а детям — учебные пособия. Русские родители настолько беспечны, так мало думают о будущем своих детей, что без помощи дворянских союзов у них не было бы средств на их обучение, и постепенно они опустились

бы до уровня необразованных крестьян. Оказывая эту помощь, дворянские союзы в России сохранили наследственную культуру, единственное, что может сделать общество цивилизованным. Мы, потомственные дворяне, очень горды нашим союзом, ибо он истратил миллионы, чтобы насадить в России европейскую культуру. Что должно быть оценено еще выше,— это то, что, делая это, он никогда не отрывался от православной церкви и всегда отличался своим патриотизмом. Поэтому русское дворянство стало сильным и могущественным и скоро захватило власть.

Принято прибавлять слово «потомственный» к титулу «дворянин» в отличие от другого дворянства нашей страны, «личного». Последнее появилось в России в те времена, когда людей, не принадлежавших к потомственному дворянству, могли подвергать телесным наказаниям. Титул «личного дворянина» давался гражданам, получившим университетское образование, чтобы защитить их таким образом от телесных наказаний. Личные дворяне не могли быть занесены в списки потомственного дворянства и не пользовались его привилегиями. Со дня отмены телесных наказаний это дворянство потеряло право на существование.

Тургенев принадлежал к потомственному дворянству, как и Достоевский, и Толстой, как и большинство тогдашних писателей. Кроме Гончарова, сына купца, и Белинского, разночинца по происхождению, все писатели времен молодости отца — Григорович, Плещеев, Некрасов, Салтыков, Данилевский — были потомственными дворянами. Некоторые принадлежали к гораздо более древнему дворянскому роду, чем Тургенев, например Майков. Этот близкий друг отца происходил из столь древнего рода, что среди его предков числился даже святой, знаменитый Нил Сорский, канонизированный церковью, что свидетельствует о древности рода, ибо православная церковь канонизирует святых только через триста-четыреста лет после их смерти. Притязания Тургенева на принадлежность к более знатному роду, чем его литературные собратья, понятным образом очень сердили и смешили их. Аристократы, в свою очередь, смеялись над его притязаниями и отказывались обращаться с Тургеневым, как со знатной особой, когда он пытался проникнуть в избранное общество. Он почувствовал себя уязвленным и отомстил русской аристократии, описав позднее в романе «Дым» нескольких искателей приключений из высших слоев общества, встречающихся во всех странах, которых он наивно считал представителями русской знати.

Мания величия Тургенева, очень распространенная, между прочим, в России, не помешала отцу оставаться с ним в дружеских отношениях. Снобизм — ужасная болезнь и причиняет больший вред, чем грипп. Если бы мы захотели оградить себя от всех известных нам снобов, нам пришлось бы стать отшельниками. Достоевский, очевидно, простил бы снобизм Тургенева, как прощают слабости тем, кого любят; однако незадолго до ареста и смертного приговора отец порвал с Тургеневым и перестал бывать в литературных салонах. Чтобы понять, что произошло между Достоев-

ским и его друзьями, молодыми писателями, нужно вернуться несколько назад.

Русские никогда не любили Петербург. Этот искусственный холодный и сырой столичный город, построенный Петром Великим на болоте, открытый всем северным ветрам, три четверти года погруженный во тьму, был неугоден моим соотечественникам, предпочитавшим ему мирные, грешные и купающиеся в солнце города Центральной России. Видя, что русские не желают селиться в Петербурге, цари были вынуждены заселить новую столицу шведами и балтами. В XVIII веке Петербург на три четверти был онемеченным городом, и немецкое общество задавало здесь тон. В начале XIX века в Германии господствовал дух Шиллера и оттуда перекинулся в Россию. Весь мир стал лирическим; мужчины клялись в вечной дружбе; женщины при каждом произнесенном ими благородном слове падали в обморок; юные девушки страстно обнимались и писали длинные, преисполненные возвышенными чувствами письма. Изъявления вежливости были так преувеличены, что женщины, принимая гостей, должны были все время улыбаться и при каждом произнесенном слове смеяться. Этот преувеличенно сентиментальный тон можно найти во всех романах того времени.

Когда в 1812 году сгорела Москва, многие москвичи бежали в Петербург и остались там. Другие семьи последовали их примеру, и любимая Петром Великим столица быстро русифицировалась. Когда мой отец поступил в Инженерное училище, русское общество наложило уже свой отпечаток на Петербург. Мои соотечественники, искренние и простые, нашли романтический стиль смешным и преувеличенным, в чем они не так уж были неправы. К сожалению, в своем стремлении к протесту против этого слишком сентиментального искусства они впали в излишнюю грубость. Было объявлено, что человек, как-то следящий за собой, должен всегда говорить правду, и под предлогом искренности говорились грубые и резкие слова. Моя бабушка, шведка по происхождению, воспитала своих детей в шиллеровских традициях, и мать часто рассказывала мне, как трудно ей приходилось, когда она выросла и стала бывать в русских семьях. «Я еще могла быть такой любезной и вежливой,— говорила она,— на каждом шагу я сталкивалась с оскорблениями и грубостями. Я не могла даже протестовать, так как меня бы подняли на смех. В лучшем случае я могла бы, если бы захотела, ответить такой же грубостью». Постепенно мои соотечественники находили все больше удовольствия в такого рода поведении; соревнование в дерзости стало модным. На вечерах, в салонах, за обеденным столом двое мужчин или две женщины начинали говорить друг другу как можно более грубые вещи, и, в то время как они усердствовали в этой низкой игре, присутствующие с интересом прислушивались и принимали то одну, то другую сторону. За этими петушиными боями скрывалась монгольская жестокость, дремлющая в каждом русском и пробуждающаяся, если он сердится, ошеломлен или болен. «По-

скреби русского и ты найдешь татарина»,— говорят французы, которым не раз приходилось наблюдать, как европейски образованный русский с изысканными манерами в приступе гнева становился грубым и жестоким, как крестьянин.

Достоевский, воспитанный отцом — полуукраинцем-полулитовцем, не знал этой татарской жестокости. Судя по лиричным письмам к брату Михаилу и по необычно почтительным письмам к отцу, в семье моего деда преобладал стиль Шиллера; русская грубость поразила Достоевского, когда он впервые столкнулся с ней в Инженерном замке, и, возможно, она была основной причиной его презрения к школьным товарищам. Она повергла его в еще большее изумление, когда он встретился с ней в тогдашних литературных салонах. Пока он не был знаменитым, он не страдал от нее. Он молчал и наблюдал общество: Григорович, с которым он вместе проживал, был воспитан на французский манер и всегда вежлив. Барон Врангель, с которым отец жил вместе в Сибири, воспитывался в немецком духе, иначе говоря в традициях Шиллера, которым он остался верен до конца своих дней. Но когда неожиданный успех первого романа Достоевского возбудил зависть молодых писателей, они стали мстить ему клеветой и заносчивостью. Как бы ни хотел мой отец защитить себя, он не смог бы грубить им. Он был нервным и легко возбудимым, какими часто бывают дети алкоголиков. Достоевский потерял почву под ногами, говорил нелепые вещи и вызывал смех его грубых товарищей. Особенно любил приводить его в ярость Тургенев. Его семья была татарского происхождения, и Тургенев был еще более злым и жестоким, чем другие. Напрасно защищал моего отца Белинский, бывший мягким человеком, напрасно упрекал он его соперника и пытался вразумить их — Тургенев находил особое удовольствие в том, чтобы мучить своего нервного и чувствительного собрата. В один из вечеров в салоне Панаева Тургенев рассказал моему отцу, что только что познакомился с тщеславным провинциалом, считающим себя гением, и при этом дал карикатурный портрет Достоевского. Все с удовольствием слушали его; по-видимому, начинался один из тех петушиных боев, которые пользовались тогда таким успехом. Тургеневу поаплодировали и с любопытством ожидали, как ответит Достоевский. Отец не был петухом, он был джентльменом с чувством чести, более развитым, чем у русских грубиянов, окружавших его. Он был сыт по горло их дерзостью; почувствовав себя оскорбленным вновь и так грубо, он побледнел, встал и покинул салон, ни с кем не простившись. («Литовцы — сдержанные люди, можно было бы даже сказать, скромные. Но стоит им столкнуться с наглостью, они проявляют необычайную гордость»,— говорит Видунас). Молодых писателей очень удивил этот поступок. Моего отца искали, приглашали, писали ему — напрасно! Достоевский отказался посещать литературные салоны. Молодые писатели чувствовали себя очень неспокойно. Их литературная карьера только начиналась, и у них еще не было положения. Достоевский же тогда был любимцем пуб-

лики, и его молодые товарищи боялись, что она заступится за него и обвинит их в ревности и злости. Они прибегли к клевете, излюбленному средству русских, или, лучше сказать, любого общества, находящегося еще в младенческой стадии развития. Они повсюду кричали о том, что Достоевский считает себя выше других, что он тщеславен, эгоистичен, у него плохой характер. Отец не мешал им говорить, что они хотели. Общественное мнение было безразлично ему, и на протяжении всей своей жизни он не снисходил до опровержения клеветы [182]. Отказавшись от советов Белинского и литературных бесед с другими писателями, которые были бы ему столь необходимы, он сказал себе, что честь и достоинство — лучшие спутники человека и могут заменить ему всех остальных друзей. К сожалению, молодому человеку очень трудно быть отшельником; молодой ум нуждается для своего развития в обмене мыслями. Отказавшись от посещения литературных салонов, он искал общения с другими интеллигентами и имел несчастье попасть в кружок Петрашевского.

Эти петушиные бои, тот дурной тон, о котором я уже говорила, исчезли сегодня, по крайней мере, в хорошем обществе. Мои соотечественники во второй половине XIX века много путешествовали по Европе, имели случай наблюдать царившую там вежливость и завезли ее в Россию. Но несмотря на это отец в «Дневнике писателя» 1876 г. признавался своим читателям, что он всегда берет с собой в путешествие много книг и газет, чтобы не вступать в разговор с попутчиками. Он утверждал, что эти беседы с незнакомыми кончались всегда наглыми, заносчивыми высказываниями, делавшимися без какой бы то ни было причины, просто ради удовольствия обидеть собеседника. К сожалению, Достоевский был совершенно прав. Мои соотечественники очень плохо воспитаны, это также причина того, что русские, путешествуя, старательно избегают друг друга и предпочитают общаться только с иностранцами.

Непримиримость отца произвела большое впечатление на русских писателей. Они поняли, что чувство чести у него было более развито, чем у его современников, и что, следовательно, с ним нельзя было разговаривать так бесцеременно, как привыкли это делать писатели того времени. Когда он вернулся из Сибири, его новые друзья, сотрудники журнала «Время», относились к нему с почтением. Отец, не имевший более заветного желания, чем жить в дружбе со своими товарищами, но никогда не принесший бы честь в жертву дружбе, стал их истинным другом и остался им верен до самой смерти. Тургенев последовал примеру остальных писателей и был вежлив, даже любезен с моим отцом. Особенно любезен Тургенев был в то время, когда братья Достоевские издавали свой журнал. В одно из своих пребываний в Петербурге он оказал большую услугу редакции «Времени». Тургенев хорошо разбирался в денежных делах, водил дружбу с богатыми издателями и заставлял их платить ему высокие гонорары, тогда как Достоевский вынужден был вымаливать у своих издателей аванс и всю жизнь довольствоваться тем, что они ему давали.

Но встречались Достоевский с Тургеневым редко. В то время как отец отбывал наказание в Сибири, Тургенев имел несчастье влюбиться в знаменитую европейскую певицу[183]. Он последовал за ней за границу и всю свою жизнь провел у ее ног. Он жил в Париже и только охотиться приезжал в Россию. Эта несчастная страсть помешала Тургеневу жениться и иметь семью. В своих романах он часто описывает тип слабого, безвольного славянина, раба злой жены, страдающего и не имеющего силы сбросить свое ярмо. Характер Тургенева испортился; несчастье развило его пороки, вместо того чтобы избавить его от них. Увидев, что русская аристократия раз и навсегда не захотела признавать его принадлежность к высшей знати, которую он вообразил, он изменил свое поведение и принял отныне позу европейца. Он утрировал парижскую моду, подражал всем причудам французских холостяков и сделался еще более смешным, чем прежде. Он говорил о России с отвращением и утверждал, что исчезни она, и человеческая цивилизация никак не пострадает от этого[184]. Эта новая поза Тургенева возмущала моего отца[185]; он считал, что, если первая была смешна, вторая становится опасной. Презрительное отношение к России поставило Тургенева во главе партии «западников», которые до сих пор насчитывали в своих рядах только посредственности, и благодаря бесспорному своему таланту сделал ее влиятельной. Всякий раз, встречаясь с Тургеневым за границей, отец пытался доказать ему, что он неправ, несправедливо презирая Россию. Тургенев ничего не хотел слышать, и их споры всегда кончались ссорой. Вернувшись в Россию после четырех лет пребывания в Европе, Достоевский стал вождем партии, настроенной оппозиционно по отношению к западникам, партии славянофилов, куда вошли известные русские патриоты[186]. Видя роковое влияние, оказываемое западниками на находящееся еще на младенческой стадии развития русское общество, Достоевский начал борьбу с ними в своем романе «Бесы». Чтобы выставить их в смешном свете в глазах русских читателей, он дал карикатурное изображение их вождя, описав пребывание знаменитого писателя «Кармазинова» в маленьком русском городе. Западники были возмущены и подняли шум. Они находили совершенно естественным, что Тургенев издевался над моим отцом и создавал карикатуры на героев его романов; чтобы отомстить за успех «Бедных людей», Тургенев написал стихотворение, в котором в гротескной форме высмеивал моего отца, как только мог, — но они сочли постыдным подобный же поступок Достоевского по отношению к Тургеневу. Такова справедливость, какой ее понимают русские интеллигенты.

Хотя отец выступал против Тургенева и его политических идей, он всю свою жизнь оставался страстным почитателем его произведений. Говоря о них в «Дневнике писателя», он не находит достаточно слов, чтобы выразить свое восхищение. Тургенев же никогда не хотел признать, что у Достоевского был талант, и всю жизнь насмехался над ним и его романами[187]. Он вел себя, как истинный монгол, злой и мстительный.

ДОСТОЕВСКИЙ И ТОЛСТОЙ

Совершенно иного рода были отношения Достоевского с Толстым. Эти два великих русских писателя чувствовали друг к другу истинное расположение и искренне восхищались друг другом. У них был общий друг, философ Николай Страхов, живший зимой в Петербурге, а летом проводивший несколько месяцев в Крыму у своего друга, писателя Данилевского, и заезжавший по пути в Москву или Ясную Поляну, поместье Толстого в Тульской губернии, повидаться с Толстым. Мой отец очень любил Страхова [188] и придавал большое значение его критическим статьям. Толстой тоже любил его и переписывался с ним. «Только что прочитал еще раз «Записки из Мертвого дома», — писал он ему,— какая великолепная книга! Когда увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю». Страхов показал это письмо моему отцу, что доставило ему большую радость. Позднее, когда вышел один из романов Толстого, Достоевский, в свою очередь, сказал Страхову: «Напишите Толстому, что я в восторге от его нового романа» [189]. Оба великих писателя выражали через Страхова взаимное восхищение, и похвала их была искренней. Толстой так же ценил произведения Достоевского, как и мой отец — его, и все же они никогда не видели друг друга и не выражали желания познакомиться [190]. Почему? Я думаю, что они боялись, что при первой же встрече могли бы крупно поссориться, ибо каким бы искренним ни было взаимное их восхищение талантом друг друга, все же велико было несходство между их идеями и способом видеть вещи.

Достоевский ревностно любил Россию, но страсть эта не ослепляла его. Он ясно видел пороки своих соотечественников и не разделял их взгляда на жизнь. Столетняя европейская культура отделяла отца от русских. Этот литовец любил ее, как любят младших братьев, но он видел, как они еще молоды и как много им еще нужно учиться и работать. Европейские критики часто делают ошибку, идентифицируя Достоевского с героями его романов,— ошибку, которую никогда не допускают русские критики [191]. Как большой писатель, каким он был, Достоевский писал своих соотечественников с натуры. В его романах господствует нравственный хаос, потому что хаотична еще наша такая молодая и анархическая Россия; но в жизни самого Достоевского ничего нет от этого хаоса. Его героини оставляют своих мужей и бегут за

любовниками; он же плачет, как ребенок, узнав о позоре своей племянницы, и отказывается ее принять. Его герои ведут распутную жизнь и швыряют деньги на ветер; он же трудится долгие годы, чтобы уплатить долги брата, которые он считает долгами чести. Его герои — плохие отцы и супруги; он же — верный, усердный супруг, занимающийся воспитанием детей, редкое явление в России. Его герои с величайшим равнодушием относятся к их гражданским обязанностям; он — большой патриот, почтительный сын своей церкви, преданный делу своей расы славянин. Достоевский живет, как европеец, считает Европу своей второй родиной и не устает давать совет всем, кто его об этом спрашивает, изучать эту европейскую культуру, недостаток которой ощущается у большинства моих соотечественников, читать и усваивать созданное ею.

Позиция Толстого была совершенно иная. Он так же искренне любил Россию, как и Достоевский, но не судил ее. Напротив! Он презирал европейскую культуру и видел в невежестве мужиков высшую мудрость. Всем интеллигентам, посещавшим его, он советовал оставить их учение, науку, искусство и вернуться к земле, вести существование, подобное крестьянскому. Он советовал это и своим детям. «Я повторяю моим сыновьям, что они должны учиться, изучать языки и стать хорошо воспитанными людьми; отец же говорит им, чтобы они оставили школу и работали в поле вместе с мужиками»,— рассказывала графиня Толстая моей матери. Пророк из Ясной Поляны восторгается пороками своих соотечественников, разделяет их юношеский вздор и детские мечты о примитивном коммунизме. Его идеалом является восточный идеал русского народа — не работать, сидеть целый день, сложа руки, позевывая, мечтать и «плевать в потолок», как говорят русские о безделье. Этот апостол пораженчества советует своим потомкам сложить оружие перед врагом, не противиться злу, грозящему затопить мир, и борьбу с ним отдать на волю Божию. Он работает на победу большевиков и наивно утверждает, что проповедует христианские идеи. Он забывает, что Иисус не оставался в своей Ясной Поляне, а странствовал по Галилее, не зная отдыха, что ел в пути, спал кое-как, стучался во все сердца, у всех пробуждал совесть, сеял истину там, где шел, и готовил учеников, которых разослал во все страны, проповедовать его слово; что он неустанно противился злу и прекратил свое страстное сопротивление только в тот день, когда они подняли на него руку...

Идейные расхождения между моим отцом и Толстым проявились особенно ярко во время русско-турецкой войны. В «Дневнике писателя» Достоевский высказывался за освобождение славянских народов, требовал их независимости и свободного развития их национального идеала. Он был глубоко возмущен, прочитав, как турки мучили несчастных сербов и болгар, и призывал русских взяться за оружие и освободить преследуемые народы.

Со всей страстью он не уставал повторять, что это — долг России и что нельзя бросить на произвол судьбы людей одной с тобой расы и религии. Толстой же считал, что России нечего делать на

Балканах, и славяне сами должны решать свою судьбу. Он утверждал даже, что возмущение русских теми бесчинствами, которые творили турки в Болгарии, было лишь позой, и русские не чувствуют сострадания, не могут его чувствовать, читая сообщения об этих зверствах. Толстой открыто признавал, что и сам он не чувствует сострадания. «Как это может быть, чтобы у него не было сострадания. Это загадка для меня»,— писал Достоевский в «Дневнике писателя». Враждебное отношение Толстого на фоне общего воодушевления славянским вопросом показалось столь ужасным его издателю Каткову, что он отказался публиковать в своем журнале эпилог к «Анне Карениной», в котором были изложены основные его антиславянские идеи. Эпилог должен был выйти как отдельная брошюра. Как один из вождей славянофилов, Достоевский счел своей обязанностью выступить в «Дневнике писателя» с протестом против столь удивительного отношения Толстого к несчастным жертвам турок. Он полемизировал с ним иначе, чем с Тургеневым; мой отец презирал жестокого товарища юности и потому считал излишним стесняться с ним. Толстого же он любил и не хотел его обидеть. Чтобы смягчить свою критику, отец поставил Толстого на головокружительную высоту, утверждая, что он величайший русский писатель, а все другие, включая Достоевского, лишь его ученики [192]. Столь лестная критика не могла рассердить Толстого и ничего не изменила в его восторженном отношении к Достоевскому. Когда мой отец умер, Толстой писал Страхову: «Когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек» * [193].

Европейские биографы Толстого видят в нем обычно аристократа и противопоставляют ему Достоевского, которого они, не знаю, собственно, почему, считают пролетарием. Русские биографы, лучше осведомленные, не впадают в эту ошибку; они знают, что оба великих писателя являются потомственными дворянами, что, как я уже упоминала, ничего общего не имеет с европейской феодальной аристократией. Я думаю, что графский титул ослепляет и вводит европейских биографов в заблуждение. В России титул ничего не значит; можно встретить человека с титулом, носящим историческое имя, но мещанина; и можно найти людей без титула, но аристократов. Все зависит лишь от социального положения данного лица и его предков, от его воспитания, его друзей и его родственников. Европейским биографам Толстого, желающим более точно установить его положение в России, нужно лишь

---

* Достоевского особенно восхищала изобразительная сила искусства Толстого, его великолепная стилистика; но он никогда не считал его пророком. Напротив, отец находил, что Толстой не понимал наш народ. В разговорах с друзьями Достоевский часто упоминал, что Толстой и Тургенев умели хорошо описывать только жизнь помещиков, закат которой, по мнению моего отца, начался и был близок конец. Эти слова очень удивляли друзей моего отца; и все же Достоевский был прав; революция теперь изменит условия жизни в России. Отец видел в Толстом и Тургеневе только превосходных исторических писателей.

внимательно прочитать историю графа Ростова в «Войне и мире». Прообразом этой семьи послужила семья деда Толстого со стороны отца. Граф Илья Ростов живет в Москве и принимает у себя весь свет; но, когда он с семьей приезжает в Петербург, он никого там не знает, кроме одной старой статс-дамы. Она может обеспечить его семье только одно единственное приглашение на бал в светское общество, но не в ее силах найти партнера для очаровательной Наташи, так как она сама никого там не знает. Графа Ростова очень любят дворяне его губернии и выбирают его предводителем; но, когда он приходит к князю Волконскому, остановившемуся здесь проездом аристократу, чтобы пригласить его на обед, тот держится высокомерно и отказывается принять приглашение. Когда графиня Безухова настаивает на том, чтобы хорошенькая Наташа присутствовала на ее вечере, семье Ростовых очень льстит такая любезность великосветской дамы. А ведь графиня Безухова приглашает ее только для того, чтобы доставить радость своему брату, князю Курагину, влюбленному в прелестную Наташу и собирающемуся увезти ее. Он состоит в тайном браке и поэтому не может на ней жениться; он не испытывает укоров совести, собираясь обесчестить бедную девушку, поступок, на который он никогда бы не решился, если бы Наташа принадлежала к его кругу, так как в этом случае его карьера была бы окончена. Очевидно, для русских аристократов графы Ростовы были лишь поместными дворянами, малозначительными людьми, с которыми можно было не церемониться. Сегодня отношения между русской аристократией и нашим поместным дворянством очень изменились, но в эпоху 1812 года они были еще достаточно жестокими. Как историк Толстой изобразил их очень верно и показал нам в «Войне и мире», какое положение занимал в России его дед. Но мать его была княгиня Волконская, старая дева, очень некрасивая; не найдя себе жениха в своем круге, она вышла замуж по любви за графа Толстого, как рассказывает Толстой в «Войне и мире». Она была родом из провинции, но у нее были родственники в Петербурге, благодаря которым Лев Толстой гораздо легче нашел доступ в великосветское общество Петербурга, чем Тургенев. Толстой не стремился к этому; он не был снобом и обладал чувством собственного достоинства и независимостью ума, что всегда было характерно для нашего московского дворянства. Он не сделал блестящей партии, женившись по любви на дочери скромного доктора Берса, всю жизнь прожил в Москве и принимал каждого, казавшегося ему симпатичным, не спрашивая, к какому классу общества принадлежит его гость. Толстой не любил аристократов. Он открыто выражает свою антипатию в «Войне и мире», в «Анне Карениной» и в «Воскресении». Их чрезмерно богатой, роскошной, искусственной жизни он противопоставляет простой и радушный образ жизни московских дворян. Толстой был прав, московские дворяне действительно очень приятные люди. Дома их не богаты, но двери их всегда открыты друзьям; комнаты в их жилищах были с низкими потолками, но всегда нахо-

дился угол, чтобы приютить какого-нибудь старого родственника или больного друга; у них было много детей, но всегда находились средства и возможности принять нескольких бедных сирот, которых воспитывали, как собственных, и к которым относились, как к собственным. В этой вольной, радушной, веселой, доброй и простой среде и вырос Толстой, и этот мир описывал он во всех своих романах. «Толстой — историк и певец среднего московского дворянства»,— пишет Достоевский в «Дневнике писателя».

Европейские биографы Толстого, упрекающие его в роскоши великосветского человека, не знают, что говорят. Очевидно, они никогда не были ни в Москве, ни в Ясной Поляне. Однажды, будучи проездом в Москве, мы с матерью навестили графиню Толстую. Я была шокирована бедностью их дома; там не было ни мебели, ни предметов искусства, которые можно встретить в любой петербургской квартире, ни вообще какого-либо ценного предмета. Семья Толстого жила в одном из тех маленьких домиков между двором и садом, которые встречаются в Москве на каждом шагу. Богатые строят их из камня, остальные довольствуются деревянными домами. Дом Толстого был деревянный, построенный без архитектурных претензий. Комнаты в таких домиках обычно маленькие, низкие, плохо освещенные и плохо проветриваемые. Мебель покупалась в дешевых лавках, как было и у Толстых, или была сделана старыми крепостными, как в других московских домах, где я бывала. Шторы выгорели на солнце, ковры протерты, стены завешены семейными портретами, написанными каким-нибудь не очень искусным полуголодным художником. Единственную роскошь этих московских дворянских домиков составляют немногочисленные грязные и ворчливые старые слуги, которые под предлогом верности своим господам дерзят им и вмешиваются в их дела, и пара отяжелевших, не подходящих друг другу лошадей, привезенных осенью из деревни и запрягаемых в какой-нибудь старомодный экипаж. Итак, понятно, что роскошь Толстого не потрясала; какой-нибудь незнатный европеец, имеющий красивую виллу и элегантный автомобиль, живет гораздо шикарнее его. Впрочем, я не знаю, мог ли Толстой позволить себе роскошь. У него было много земли, но в Центральной России земельное владение не означало большое богатство. Оно приносит мало доходов и поглощает много денег. Толстой не мог его продать, так как по русским законам земля, унаследованная от отцов, должна переходить к сыновьям. У Толстого было пять сыновей; когда они выросли и женились, он был вынужден разделить свою землю между ними, и более чем вероятно, что в последние годы жизни он мог жить только на доходы от его литературных произведений. Когда графиня Толстая обратилась к моей матери за советом в отношении издания сочинений, она сделала это не из жадности; вероятно, графиня нуждалась в деньгах и, будучи отважной женщиной, хотела трудиться сама, чтобы увеличить доход.

Толстые не только никогда не были русскими аристократами, они даже не имели русского происхождения. Родоначальником

семьи Толстых был немецкий купец Dick [194], приехавший в XVII веке в Россию и открывший лавку в Москве. Его дела шли хорошо, и он решил остаться в России насовсем. Став русским подданным, он изменил немецкую фамилию «Dick» на русскую «Толстой». Без этого тогда нельзя было обойтись, ибо русские с недоверием относились к иностранцам; только после Петра Великого переселявшиеся к нам смогли сохранять свои европейские имена, становясь русскими подданными. Благодаря знанию немецкого языка потомки Dick — Толстого служили чиновниками в канцеляриях Министерства иностранных дел. Петр Великий, охотно имевший дело с иностранцами, почувствовал симпатию к одному из них, Петру Толстому, и поставил его во главе тайной полиции. Очень довольный его службой, он пожаловал ему потом графский титул, который только что был введен царем в России и который медлили принимать русские бояре, считавшие, что он лишен единой основы. Графский титул в России соответствует японскому титулу маркиза или виконта. Как обычно у немцев, потомки Dick'a были очень многочисленны, и спустя два столетия после его прибытия в Москву Толстых можно было встретить во всех наших министерствах, на флоте и в армии. Они женились на дочерях наших поместных дворян и выбирали чаще тех, у кого было богатое приданое. Состояние своих жен они не проматывали, а, напротив, нередко увеличивали. Толстые были хорошие отцы, хорошие супруги, обладали не очень сильным характером, подчиняясь часто воле своих матерей и жен. Они были трудолюбивы, приносили пользу своим министерствам и чаще всего делали хорошую карьеру. Я была знакома с несколькими Толстыми, не знавшими друг друга и утверждавшими, что связи их настолько дальние, что о родстве не может быть и речи. Но во всех этих семьях я нашла одни и те же черты характера, доказательство того, как мало повлияла на Dick — Толстых примесь русской крови. За исключением одаренного художника, графа Федора Толстого, они никогда не выходили за рамки посредственности, и Лев Толстой был первой звездой, загоревшейся в этой семье. Поэт Алексей Толстой, как говорят, Толстой только по фамилии.

Немецкое происхождение Толстого могло бы объяснить своеобразие его характера, которое иначе трудно было бы понять: его характерное для протестантов отношение к православному Христу, его любовь к простой трудовой жизни, такая редкая среди русских его положения, его поразительное бесчувствие по отношению к угнетаемым турками славянам, так поразившее моего отца *.

* Американские писатели, находившиеся в начале этой войны в Германии, рассказывают об этом удивительном бесчувствии немцев, которое проявляется не только по отношению к страданиям бельгийцев и французов, но и их соотечественников. Американцы рассказывают, с какой жестокостью оперировали немецких раненых и с каким бесчувствием переносили солдаты эти чудовищные операции. Возможно, знаменитая немецкая жестокость, о которой так много говорилось во время войны, есть не что иное, как презрение к боли, развившееся из строгой, культивируемой в Германии в течение многих столетий дисциплины.

Немецкое происхождение Толстого объясняет также удивительную его неспособность склониться перед идеалом, признанным во всем цивилизованном мире. Он отрицает всю европейскую науку, культуру и литературу. «Моя вера», «Моя исповедь» — вот названия его религиозных излияний и, очевидно, он желает создать и собственную культуру, культуру Ясной Поляны. Когда Достоевский говорит о Германии, он всегда называет ее «протестантская Германия» и утверждает, что эта страна с давних пор протестует против латинской культуры, принятой всем миром как завет римлян.

Немецкое происхождение Толстого могло бы объяснить нам еще одну особенность его характера, свойственную всем живущим в России многочисленным немецким семьям. Эти семьи находятся в течение многих столетий в нашей стране, принимают православие, говорят по-русски и иногда даже забывают родной язык, и в то же время они сохраняют свою немецкую душу и не способны постичь наш образ мыслей и разделить наши русские идеи. Толстой — лучший пример этой удивительной неспособности немецкой души. Он страстно любит Россию и одновременно не признает ни одну из наших исторических традиций; он исповедует православную религию и борется против нашей церкви, которую презирает. Он — славянин, но равнодушен к несчастью других славян, несчастью, трогающему сердца всех русских крестьян. Толстой принадлежит к поместному дворянству и ничего не понимает в этом институте, имевшем столь огромное значение для нашей культуры. Так, в романе «Анна Каренина» Толстой рассказывает, как Левин, прообразом которого является сам Толстой, приглашен друзьями на выборы нового предводителя дворянства, проходящие каждые три года. Тогда как его двоюродные братья, его деверь Стива Облонский пребывают в возбужденном состоянии, озабоченные тем, как сместить старого предводителя и выбрать нового, лучше понимающего положение дворянства, Левин остается совершенно равнодушным, не понимает этого возбуждения и думает об одном: как бы поскорее уехать из города и вернуться к себе в деревню. Очевидно, сознание своих обязанностей перед дворянством губернии у него отсутствует. Как писатель Толстой никоим образом не разделяет восхищения своих коллег Пушкиным, отцом русской литературы. Чтобы присутствовать на открытии памятника Пушкину в Москве, Достоевский жертвует лечением в Эмсе; Тургенев спешит из Парижа; все другие писатели, к какому бы направлению они ни принадлежали — славянофилы или западники, — братски соединяются у памятника великому национальному писателю; лишь Толстой уезжает из Москвы почти накануне церемонии[195]. Этот отъезд произвел самую неприятную сенсацию в России; возмущенная публика утверждала, что Толстой завидует славе Пушкина. Я считаю это вздором. Толстой был благородным человеком, и низкое чувство зависти было незнакомо ему. На протяжении всей своей жизни он был очень искренним и честным; патриотический пушкинский праздник ничего не говорил его немецкой душе, и он не хотел, чтобы восторженные поклонники

обвинили его во лжи. Во всей огромной России Толстой любит и понимает только своих мужиков, но увы! Эти мужики не любят и не понимают его. Тогда как наши интеллигенты спешат в Ясную Поляну, чтобы спросить совета у пророка, мужики в поместье с недоверием относятся к нему и его религии. Они обладают инстинктом принадлежности к великому народу, который, может быть, говорит им, что милый, старый бог из Ясной Поляны является всего лишь скверной немецкой халтурой, которая им не нужна.

Знаменитое «толстовство» очень напоминает различные немецкие секты, с давних пор существующие в России. Как только в нашей стране поселились немецкие колонисты, они сразу же начали бороться с православной церковью, которую не могли понять. Они образовали религиозные секты, дух которых был протестантским, пытались распространять свои идеи среди крестьян и вербовать приверженцев. Наиболее известны из этих сект штундисты, духоборы и молокане. Как истинный немецкий колонист, Толстой также создал протестантскую секту толстовцев и на протяжении всей своей жизни боролся с нашей церковью. Мои соотечественники были достаточно наивны, считая его религиозные идеи русскими идеями, но иностранцы оказались проницательнее. Изучая Россию, некоторые французы или англичане с удивлением замечали, что между взглядами Толстого и вероучением некоторых немецких сект в России имеется сходство. Неосведомленность моих соотечественников, вероятно, объясняется тем, что в России никто не обращал особого внимания на немецкие корни семьи Толстого. Мы хотим надеяться, что найдется, наконец, биограф пророка из Ясной Поляны, который подойдет к нему с этой точки зрения, только тогда мы узнаем настоящего Толстого.

ДОСТОЕВСКИЙ КАК СЛАВЯНОФИЛ

«Дневник писателя» имел огромный успех, и все же два года спустя отец прекратил его печатание и начал писать «Братьев Карамазовых». Искусство позвало его и напомнило ему, что он писатель, а не публицист. Роман «Братья Карамазовы», считающийся многими критиками моего отца лучшим его произведением, относится к числу тех сочинений, которые писатель вынашивает в своем сердце, обдумывает долгие годы, откладывает на более позднее время, когда его искусство окончательно созреет. Я едва ли поверю, что отец считал тогда, что достиг этой зрелости; он был слишком строгим судьей для этого. Но инстинкт предостерегал его, что жить ему осталось недолго. «Это будет мой последний роман»,— сказал он друзьям, сообщая им о том, что собирается писать «Братьев Карамазовых».

Эти растянувшиеся на долгие годы, выношенные с любовью романы содержат много автобиографических подробностей; в них находят воспоминания детства, юности и зрелого возраста. Так было и с «Братьями Карамазовыми». Как я уже упоминала, Иван Карамазов, согласно нашему семейному преданию,— это Достоевский в его ранней молодости. Есть также известное сходство между моим отцом, каким он был, вероятно, во второй период жизни, между каторгой и длительным пребыванием в Европе после второй женитьбы, и Дмитрием Карамазовым. Дмитрий напоминает моего отца шиллеровским сентиментальным и романтическим характером, наивностью в отношениях с женщинами. Таким должен был быть, очевидно, Достоевский, считавший хитрую Марию Дмитриевну и распутную Полину женщинами, достойными уважения. Но больше всего это сходство проявляется в сценах ареста, допроса и суда над Дмитрием Карамазовым. Очевидно, сцена суда занимает так много места в романе потому, что Достоевскому хотелось описать страдания, пережитые им во время процесса Петрашевского и никогда им не забываемые.

Некоторое сходство существует также между Достоевским и старцем Зосимой. Его автобиография, по сути, является биографией моего отца, по крайней мере в той части, которая касается детства. Отец помещает Зосиму в провинцию, в среду, более скромную, чем его. Автобиография Зосимы написана своеобразным, несколько старомодным языком, которым говорят наши священно-

служители и монахи. Несмотря на это, там есть все существенные факты из детства Достоевского: любовь к матери и старшему брату, впечатление, производимое на него церковными службами, на которых он присутствовал в детстве, книга «Сто четыре истории из Библии», любимая книга его детства [196], его отъезд в военную школу в столице, где его, по рассказу старца Зосимы, учили французскому и искусству вести себя в обществе, а заодно и столь многим ложным понятиям, что он превратился в «дикое, жестокое и тупое существо». Так, вероятно, отец оценил воспитание, полученное им в Инженерном замке.

Вкладывая в уста Зосимы собственную биографию, отец заботился о том, чтобы описывать старцев не только понаслышке. Он хотел писать их с натуры, и прежде чем взяться за «Братьев Карамазовых», он совершил паломничество в Оптину пустынь, монастырь, находящийся недалеко от Москвы. Мои соотечественники очень чтят этот монастырь, и он считается центром православной цивилизации; его монахи славятся своими познаниями. Отец отправился туда в сопровождении своего ученика, будущего философа Владимира Соловьева. Достоевский очень его любил, и иногда высказывается мнение, что он описал его в образе Алеши Карамазова. Но я думаю, что Алеша — это тоже мой отец-юноша. Монахи Оптиной пустыни были извещены о прибытии Достоевского и приняли его сердечно. Они знали, что Достоевский хочет описать в новом романе русский монастырь, и каждый монах стремился сообщить ему о своих взглядах и надеждах на обновление православной церкви путем восстановления патриаршества. Разумеется, отец лишь литературно обработал слова Зосимы, отца Паисия и отца Иосифа. В столь серьезном вопросе, как религиозный, он предпочитал давать слово монахам, разбирающимся в нем. Личность старца Амвросия, являющегося прообразом Зосимы, произвела на Достоевского большое впечатление; вернувшись из монастыря, он говорил о нем с умилением [197].

Успех «Дневника писателя», тот энтузиазм, с каким принимали Достоевского петербуржцы на литературных вечерах, авторитет, которым он пользовался у студентов, привлекли к нему внимание людей, интересовавшихся не столько литературой, сколько политикой страны. Эти патриоты видели столь же ясно, как и Достоевский, что пропасть между народом и интеллигенцией с каждым днем увеличивалась. Они стремились перекинуть мост через нее, мечтали о создании патриотических школ в России, хотели привить молодежи желание посвятить себя великому православному делу, доставшемуся нам в наследство от умирающей Византии, вместо того чтобы позволить одурманивать себя социалистическими утопиями Европы. Вокруг отца образовался кружок патриотов, самыми значительными из которых были Константин Победоносцев и генерал Черняев. Победоносцева очень любил и ценил Александр III, чьим чуть ли не всесильным министром он был почти на всем протяжении его правления. Достоевский не разделял узких взглядов своего нового друга, но любил его за пылкий патрио-

тизм и честность, столь редкие качества в России. Из-за этих качеств, наверное, Достоевский назначил его опекуном своих детей в случае своей преждевременной смерти. Победоносцев принял на себя эту обязанность и, несмотря на занятость государственными делами, занимался нами вплоть до совершеннолетия моего брата; он отказался от денег, на которые имел право как опекун. Но так как у него никогда не было детей, он плохо разбирался в вопросах воспитания и не оказал на нас большого влияния [198].

Генерал Черняев был пылким славянофилом. Взволнованный несчастной судьбой славянских народов, он отправился в Сербию, создал там добровольческую армию и отважно сражался с турками. Его рыцарские подвиги вызвали такое воодушевление в России, что Александр II был вынужден объявить войну туркам, в результате которой славянские народы были, наконец, освобождены от ига Оттоманской империи. Война окончилась, и Черняев вернулся в Россию. Впоследствии он был назначен генерал-губернатором наших центральноазиатских провинций; но в 1879 году он жил с семьей в Петербурге и каждый день бывал у Достоевского. Когда бы ни зашла я в комнату отца, я встречала там генерала, всегда сидевшего на привычном своем месте на диване и пылко обсуждавшего будущее объединение всех славянских народов [199]. Мой отец чрезвычайно интересовался этим вопросом. В Петербурге как раз было основано благотворительное славянское общество под предводительством великого русского патриота князя Александра Васильчикова. Пост вице-президента был предложен отцу, и он охотно принял его. Он относился к своим обязанностям столь серьезно, что лишал себя сна, чтобы присутствовать на заседаниях общества, проводившихся в послеобеденное время. Привыкнув поздно ложиться, Достоевский не мог заснуть ранее 5 часов утра, но в дни заседаний он приказывал будить себя в одиннадцать.

Биографы отца часто задавали себе вопрос, почему в конце жизни Достоевский так заинтересовался славянским вопросом, который в юности едва ли заставлял его задумываться. Страстный интерес к славянскому вопросу усилился у отца после его долгого пребывания за границей. Русские, приезжая на несколько месяцев в Европу, бывают обычно ослеплены европейской цивилизацией; но стоит им остаться на годы и начать изучать ее, моих соотечественников поражает уже не цивилизация, а дряхлость Западной Европы. Бог мой, как стары и затасканы все эти германские роды франков, англосаксов и немцев! Все их хорошие качества, все их пороки — старческие. Даже дети их рождаются уже стариками. Сердце сжимается у того, кто слышит не по годам умные речи этих маленьких старичков и старушек с голыми икрами. Европейцы не замечают своего возраста, так как живут всегда среди своих; но мы, приезжающие из очень молодой страны, мы ясно видим разницу. Вероятно, скоро, через несколько столетий, дрожащая рука германцев не сможет удержать факел цивилизации, переданный им римлянами, и выпустит его. Тогда драгоценный факел

подхватит славянская раса, и настанет ее черед светить миру. Тогда, наконец, она скажет новое слово, которого все ждут с нетерпением. Очевидно, германцы тоже понимают настоятельную необходимость новой идеи, лихорадочно ищут ее, но не могут найти. Мы уже присутствовали при одной из этих попыток Европы сказать, наконец, свое слово. В течение всей зимы нам говорили о союзе народов, который должен превратить нашу планету в земной рай, а итогом было заключение банальнейшего военного договора между Францией и Англией. Неспособность германцев омолодить мир имеет очень простую причину: вся их культура основана на латинской культуре старых римлян, великолепной, но по сути своей языческой. Германцы еще могут стремиться к этому, но им будет трудно отказаться от своих аристократических и феодальных идей. Славяне, цивилизовавшиеся гораздо позднее германцев, не знали латинских народов. Их культура, унаследованная от православной церкви Востока, с самого начала была глубоко христианской. Мы, славяне, народы, состоящие из скромных пастухов, из мирных пахарей, никогда не имели феодальной аристократии. Европейский капитализм нам неизвестен. Если славянам случается сколачивать большие состояния, их дети проматывают их, ведя расточительную жизнь и швыряя деньги на ветер. Инстинкт подсказывает им, что капиталисты — рабы, и они спешат сбросить цепи, скованные их неумными отцами. И будет легко насаждать в этом мире новую идею христианской демократии, которая одна только сможет подавить социалистическое и анархическое возбуждение.

Сознавая величие задачи, которая будет однажды поставлена Богом перед славянами, Достоевский желал, чтобы в этот торжественный момент они были едины. Он мечтал об объединении всех славянских народов, мирном союзе, без задней мысли о завоевании Европы или порабощении германских народов. Каждый славянский народ должен сохранить свою независимость, свои законы, свои общественные институты, свое правительство; мы хотим объединить лишь наши идеи, нашу науку, нашу литературу, наше искусство. Тогда как германские народы организуют свои олимпийские игры, чтобы доказать друг другу силу своего бронированного кулака, мы, славяне, хотим подготовить более мудрые соревнования. Мы будем собираться по очереди в каждой из наших столиц, чтобы восхищаться картинами наших художников и произведениями наших скульпторов, чтобы наслаждаться музыкой наших композиторов, аплодировать нашим актерам и слушать чтения наших поэтов и писателей. Вместо того чтобы изнурять себя в братоубийственных войнах, как несчастные германцы, мы будем помогать друг другу, ободрять и протягивать друг другу руку. Прежде чем дать миру новый закон христианской демократии, мы сначала покажем другим нациям пример нашего братства. Это время еще далеко. Сейчас славяне только что освободились от ига и заняты установлением границ своих маленьких государств. Они правы; прежде чем браться за большие дела, надо укрепить собственный

дом. Но когда будут прочно построены все эти русские, сербские, чешские и прочие дома, строители поднимут голову и возьмутся за осуществление великой миссии своей расы.

И все же наша мечта о будущем славян может осуществляться скорее, чем мы предполагаем. Союз народов, это последнее прибежище феодального империализма, мог бы сыграть большую роль в организации славянской конфедерации. Чем больше незадачливые европейцы будут сердить славян, чем больше они будут вмешиваться в их внутренние дела и пытаться подчинить их своей воле, тем скорее славяне попытаются объединиться братски. Союз народов увидит вскоре могущественную славянскую конфедерацию, создание которой повлечет за собой в силу логики и необходимости объединение всех германских народов. Мир вступает в новую стадию цивилизации. Прежний союз между народами различных рас, создание королей и дипломатов, изжил себя. Он не имел смысла, ибо обычно входившие в этот союз народы ненавидели и презирали друг друга, хотя расшаркивались друг перед другом и расточали друг другу комплименты. Новые союзы, основанные на братской симпатии людей одной расы, будут более долговечными. Так как все славянские, германские, латинские и англосаксонские союзы будут примерно равны по силе, они скорее откажутся от войн, чем это могло бы произойти при одряхлевшем и изжившем себя Союзе народов, просуществовавшем в Европе уже под названием «Священный союз» лишь непродолжительное время. Чувствуя, что почва у них под ногами колеблется, империалистические народы объединяются в надежде подавить народное движение общей силой своих кулаков. Напрасная надежда! Можно справиться с людьми, но нельзя уничтожить идеи. Современные народы хотят прежде всего быть свободными и независимыми. Они не потерпят больше опеки, в какой бы форме им ее ни навязывали.

САЛОН ГРАФИНИ ТОЛСТОЙ

Из литературных салонов Петербурга, посещавшихся Достоевским в последние годы жизни, самым значительным был салон графини Софьи Толстой, вдовы писателя Алексея Толстого. Ее семья была монгольского происхождения, и графиня Толстая обладала тем проницательным умом, «острым, как сталь», по выражению Достоевского, который встречается в России только у потомков монголов. Славянский ум — более медлительный, нуждается в длительном обдумывании, чтобы лучше разобраться в вопросе. Графиня принадлежала к числу тех женщин-вдохновительниц, которые, не будучи сами творческими натурами, умеют, однако, внушать писателям прекрасные замыслы. Алексей Толстой очень высоко ценил ум своей жены и ничего не публиковал без ее совета. Став вдовой, графиня обосновалась в Петербурге. Она была богата и не имела детей; очень любя свою племянницу, она воспитала ее и выдала замуж за дипломата [200]. Дипломат этот вел тогда наши дела в Персии, и графиня Толстая, ожидая, что ему предоставят место в более цивилизованной стране, оставила племянницу со всей ее семьей у себя. Поселившись в Петербурге, графиня Толстая стала принимать в своем доме всех прежних друзей мужа, поэтов и писателей, и попыталась завязать новые литературные знакомства. Встретив моего отца, она поспешила пригласить его к себе и была с ним очень любезна. Отец обедал у нее, бывал на ее вечерах, согласился прочесть в ее салоне несколько глав из «Братьев Карамазовых» до их публикации. Вскоре у него вошло в привычку заходить к графине Толстой во время своих прогулок, чтоб обменяться новостями дня. Хотя моя мать и была несколько ревнива, она не возражала против частых посещений Достоевским графини, в то время уже вышедшей из возраста соблазнительницы. Всегда одетая в черное, с вдовьей вуалью на седых волосах, совсем просто причесанная, графиня пыталась пленять лишь своим умом и любезным обхождением. Она очень редко выходила и к четырем часам всегда была уже дома, готовая предложить Достоевскому обычную чашку чая. Графиня была очень образованна, много читала на всех европейских языках и часто обращала внимание моего отца на какую-нибудь интересную статью, напечатанную в Европе. Достоевский тратил много времени на создание своих

романов и, естественно, не мог так много читать, как бы этого хотел. У графа Алексея Толстого было плохое здоровье, и больше половины жизни он провел за границей. Он приобрел там многочисленных друзей, с которыми графиня поддерживала постоянную переписку. Они, в свою очередь, посылали к ней своих друзей, приезжавших в Петербург, и те становились усердными посетителями ее салона. Благодаря беседам с ними Достоевский соприкасался с Европой, которую всегда считал своим вторым отечеством. Вежливый и любезный тон, царивший в салоне графини, приятно отличал его от тривиальности других литературных салонов. Некоторые его старые друзья из круга Петрашевского разбогатели и охотно приглашали теперь к себе знаменитого писателя. Отец принимал эти приглашения; но назойливая роскошь недавно приобретенного богатства не нравилась ему, он предпочитал комфорт и сдержанную элегантность салона графини Толстой.

Благодаря отцу салон этот вскоре вошел в моду и привлекал многих посетителей. «Когда графиня Софья приглашала нас на свои вечера, мы приходили, если у нас не было более интересных приглашений; когда же она писала: «Одной из нас Достоевский обещал прийти», тогда забывались все другие вечера, и мы прилагали все усилия, чтобы явиться к ней»,— рассказывала мне недавно одна старая дама из великосветского петербургского общества, бежавшая в Швейцарию. Почитатели Достоевского, принадлежавшие к высшим кругам петербургского общества, просили Толстую познакомить их с отцом. Она всегда соглашалась, но это не всегда было легко. Достоевский не был светским человеком и совсем не старался казаться любезным людям, которые ему не нравились. Встречаясь с доброжелательными людьми, чистыми и благородными душами, он бывал настолько мил с ними, что они никогда не могли его забыть и даже через двадцать лет после его смерти повторяли слова, сказанные им Достоевским. Если же перед отцом оказывался один из снобов, которыми были полны петербургские салоны, он упорно молчал. Напрасно старалась тогда графиня Толстая прервать его молчание, искусно задавая ему вопросы; отец отвечал рассеянно «да», «нет» и продолжал рассматривать сноба как удивительное и вредное насекомое. Подобной нетерпимостью отец нажил себе множество врагов, что его обычно мало беспокоило. Это высокомерие Достоевского находилось в поразительном противоречии с той изысканной вежливостью, восхитительной любезностью, с которой отец отвечал на письма своих почитателей из провинции. Достоевский знал, что все его мысли, его советы принимались с благоговением сельскими врачами, учительницами народных школ и священниками из маленьких приходов, тогда как петербургских фатов он интересовал лишь потому, что был в моде.

Возможно, скажут, что такой великий писатель, как Достоевский, должен был бы быть снисходительнее к этим глупым и плохо воспитанным людям. Отец, однако, имел право презирать их, потому что снобизм, принесенный к нам баронами из балтийских

провинций, причинил России большие беды. Основанная на феодальных правах Европа в течение многих столетий привыкла пресмыкаться перед людьми с титулами, перед капиталистами и крупными чиновниками. Во время своих заграничных путешествий я часто удивлялась этой позорной субординации, господствующей в Европе. Славянский идеал братского равенства не может понять этого снобистского чувства превосходства и восстает против него. Мои соотечественники считают высокомерные позы снобов вызовом и оскорблением, никогда не прощают их и пытаются мстить. Два столетия балтийского снобизма привели к расколу всю Россию. Накануне революции у нас смертельно враждовали все классы. Поместное дворянство ненавидело аристократию, окружившую двор китайской стеной; купцы боролись с дворянством, которое их презирало и не хотело иметь с ними ничего общего; духовенство устало от жалкого положения, занимаемого им в государстве; вышедшие из народа представители интеллигенции были в оппозиции, ибо видели, что русское общество все еще считает их крестьянами, несмотря на высшее образование, которое они получили. Вполне возможно, что русская революция пошла бы другим путем, если бы каждый последовал примеру Достоевского и объявил бы войну снобизму.

В салоне графини Толстой так же, как и на студенческих вечерах, Достоевский имел больший успех у женщин, чем у мужчин, и все по той же причине: потому что всегда относился с уважением к слабому полу. У русских до сих пор сохранилось восточное отношение к женщине. Правда, со времен Петра Великого они не угрожают им больше кнутом, поклоняются им, целуют им руки, ведут себя с ними, как с королевами, и стараются всегда быть на уровне европейской цивилизации. Но в то же время они смотрят на женщин, как на больших детей, которые, будучи невежественными и легкомысленными, хотят, чтобы их занимали более или менее остроумными шутками и анекдотами. Они отказываются говорить с женщинами о серьезных вещах и насмехаются над их дерзким желанием заниматься общественными делами. Это восточное отношение очень злит моих соотечественниц. Нет ничего оскорбительнее для умной женщины, чем видеть, как дураки и невежды ведут себя с ней, словно высшие существа. Этой ошибки Достоевский никогда не совершал. Он не развлекал женщин и не собирался их обольщать; он говорил с ними серьезно, как с равными. Никогда не хотел он следовать русской моде и целовать женщине руку; он утверждал, что это целование унизительно для нее. «Мужчины, целующие женщине руку, считают ее рабыней и хотят ее утешить тем, что обращаются с ней, как с королевой,— говорил он обычно.— Если они позднее увидят в ней равную себе, они удовольствуются тем, что пожмут ей руку, как своему товарищу». Эти слова отца привели петербуржцев в большое изумление, они не понимали, что он хотел сказать. А это была одна из многих норманнских идей, унаследованных Достоевским от своих норманнизированных предков. Англичане не целуют женщинам руки и доволь-

ствуются крепким рукопожатием. И, однако, нигде женщина не пользуется такой свободой и независимостью, как в Англии.

Успех Достоевского у женщин можно объяснить и иначе. Как считает один из его товарищей по заговору Петрашевского г. Ястржембский, отец принадлежал к мужчинам такого сорта, которые, как говорит Мишле [201], «обладая очень сильным мужским началом, многое взяли в то же время и от женской природы»; такой до некоторой степени женоподобный характер часто встречается у литовцев. Характер же литовок имеет в себе много мужских черт, они отважны и мужественны, любят самостоятельность, не полагаются на помощь мужчин, ощущают даже потребность защищать их.

Достоевский искренне любил графиню Толстую, предложившую ему литературную дружбу, в которой так нуждаются писатели, и все же, умирая, он не ей доверил свою семью. У Достоевского был еще один друг — женщина, которую он, правда, реже видел, но к которой относился с еще большим почтением. Это была графиня Гейден, урожденная графиня Зубова. Ее муж был генерал-губернатором Финляндии, она же жила в Петербурге, где основала большую больницу для бедных. Там она проводила целые дни, занималась больными, интересовалась их судьбой и пыталась их утешить. Графиня Гейден была большой почитательницей Достоевского. Встречаясь, они говорили о религии; мой отец излагал ей свои идеи о христианском воспитании. Зная, какое большое значение Достоевский придавал нравственному воспитанию своих детей, графиня Гейден подружилась с моей матерью и пыталась оказывать влияние на меня. Только после ее смерти, оставившей в моей жизни большую пустоту, я поняла, сколь многим я обязана этой истинной христианке.

Литературные вечера, которые устраивала в Петербурге учащаяся молодежь, вскоре вошли в моду в большом петербургском свете. Вместо того чтобы ставить живые картины или любительские спектакли, русские дамы, занимавшиеся благотворительностью, организовывали литературные вечера в своих салонах. Наши писатели предоставляли себя в их распоряжение и обещали свою помощь, ибо речь шла о добром деле. Достоевский был основной приманкой этих вечеров. Имея дело с публикой, совершенно отличавшейся от той, которая присутствовала на студенческих вечерах, мой отец предпочитал не читать монолог Мармеладова, а выбирал другие отрывки из своих произведений. Достоевский, верный своей идее приблизить интеллигентное общество к народу, читал на аристократических вечерах предпочтительно главу из «Братьев Карамазовых», в которой старец Зосима принимает бедных крестьянок, пришедших к нему на богомолье. Одна из этих крестьянских женщин, потерявшая сына, ребенка трех лет, покидает свой дом, мужа, бродит по разным монастырям, не находя утешения в своем горе. Достоевский описал в этой главе собственную боль; он также не мог забыть своего любимого, маленького Алешу. Он вложил столько чувства в этот простой рассказ бедной матери, что все женщины, слушавшие его, бывали потрясены до глубины души. На

одном из таких вечеров присутствовала великая княгиня Мария Федоровна, будущая русская императрица. Она тоже когда-то потеряла маленького сына и не могла его забыть. Услышав чтение моего отца, цесаревна * принялась горько плакать, вспомнив об умершем младенце. Когда Достоевский кончил читать, она обратилась к дамам, организовавшим вечер, и сказала, что хотела бы с ним поговорить. Дамы поспешили удовлетворить ее желание. Очевидно, они были не слишком умны; зная несколько недоверчивый характер Достоевского, они боялись, что он откажется выполнить просьбу цесаревны, и решили принудить его к этому хитростью. Они приблизились к моему отцу и сказали ему с таинственным выражением лица, что «одна очень интересная личность» хотела бы поговорить с ним о его чтении.

— Что за интересная личность?— спросил Достоевский удивленно.

— Вы сами увидите... Она очень интересная... Пойдемте скорее с нами! — ответили молодые женщины, завладели моим отцом и, смеясь, повлекли его за собой в маленькую гостиную. Они ввели его туда и закрыли за ним двери. Достоевский был очень удивлен этим таинственным поведением. Маленькая гостиная, в которой он находился, была слабо освещена лампой, затененной ширмой; молодая женщина скромно сидела у столика. В этот период жизни отец уже не заглядывался больше на молоденьких женщин. Он приветствовал незнакомку, как приветствуют даму, которую встречают в салоне своей знакомой, а так как он подумал, что две юные шалуньи позволили себе его мистифицировать, то вышел из комнаты через противоположную дверь. Достоевский, без сомнения, знал, что цесаревна присутствовала на вечере, но подумал, что она уже ушла, или, возможно, он уже забыл по своей обычной рассеянности о ее присутствии. Он вернулся в большую гостиную, был сразу же окружен своими почитателями, вступил в разговор, заинтересовавший его, и совершенно забыл о «мистификации». Четверть часа спустя молодые дамы, которые привели его к дверям маленькой гостиной, бросились к нему.

— Что она вам сказала? Что она вам сказала?— спрашивали они с любопытством.

— Кто она?— спросил отец удивленно.

— Как это кто? Цесаревна, конечно!

— Цесаревна? Но где же она? Я ее не видел...

Великую княгиню не оттолкнула эта неудачная встреча [202]; она знала о дружбе между Достоевским и великим князем Константином [203] и обратилась к последнему с просьбой познакомить ее с моим отцом. Великий князь немедленно организовал вечер и при-

* Европейцы часто ошибаются, называя наших наследных великих князей «царевичами». Так называли сыновей старых московских царей. Старший сын русского императора имеет титул «цесаревича», а его жена «цесаревна». Наименование «царь», которое европейцы считают монгольским словом, произносится по-русски «цесарь».

гласил Достоевского, сообщив ему предварительно, кого он встретит у него. Отец был несколько смущен тем, что не узнал цесаревну, фотографии которой висели тогда во всех витринах; он принял приглашение и постарался быть любезным. Теперь пришел его черед восхищаться цесаревной. Будущая русская императрица была изумительной личностью, простой и доброй, с присущим ей даром нравиться людям. Достоевский произвел на нее глубокое впечатление; она так много говорила о нем своему мужу, что и цесаревич захотел познакомиться с моим отцом. Через посредничество Константина Победоносцева он передал ему приглашение посетить его. Будущий Александр III очень интересовался всеми русофилами и славянофилами, ожидавшими от него крупных реформ. Достоевский также хотел с ним познакомиться, чтобы поделиться своими идеями по русскому и славянскому вопросам, и отправился в Аничков дворец, который был обычно резиденцией наших наследных великих князей. Их высочества приняли его вместе и были восхитительно любезны по отношению к моему отцу[204]. Очень характерно, что Достоевский, пылкий монархист в тот период жизни, не хотел подчиняться этикету двора и вел себя во дворце, как привык вести себя в салонах своих друзей. Он говорил первым, вставал, когда находил, что разговор длился достаточно долго, и, простившись с цесаревной и ее супругом, покидал комнату так, как он это делал всегда, повернувшись спиной. «Литовец одинаково приближается и к знатным господам, и к нищему,— говорит В. Видунас.— В его глазах нет большой разницы между людьми разных классов. Это свидетельствует также о том, что литовцу присуще ярко выраженное чувство собственного достоинства». Наверное, это был единственный раз в жизни Александра III, когда с ним обращались, как с простым смертным. Он не обиделся на это и впоследствии говорил о моем отце с уважением и симпатией. Этот император видел в своей жизни так много холопских спин! Возможно, ему не доставило неудовольствия то, что в своем обширном государстве он нашел менее податливый, чем у других, хребет...

ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК

В июне 1880 года в Москве состоялось открытие памятника Пушкину. Этот великий национальный праздник объединил все политические партии; и славянофилы, и западники возлагали цветы к подножию памятника и чествовали в своих речах великого русского поэта. Пушкин умел угодить всему миру. Западников восхищала его европейская культура и те его сочинения, основой которых являлись сюжеты английской, немецкой и испанской литературы. Славянофилы преклонялись перед его патриотизмом и великолепными сочинениями его на славянские темы. Все русские писатели и ученые спешили на этот праздник. Прибыл из Парижа Тургенев, и его почитатели устроили ему торжественную встречу. Он имел огромный успех на литературном вечере и затмил Достоевского. Отец получил удовлетворение на следующий день на торжественном заседании Литературного общества, состоявшемся в зале Московского дворянского собрания. Успех его был так велик, что Пушкинский праздник превратился в триумф Достоевского; глава славянофилов Аксаков назвал с трибуны речь моего отца «событием» [205]. Позднее мне рассказал об этом присутствовавший на пушкинском празднике адвокат Кони. Этот выдающийся юрист является в то же время талантливым писателем и блестящим оратором. По своему мировоззрению он скорее был западником, чем славянофилом. Тем лишь значительнее поэтому его восторженное отношение к речи Достоевского. «Слушая Вашего отца, мы были совершенно загипнотизированы,— рассказывал он мне.— Мне кажется, что, если бы в это мгновение рухнула стена зала Дворянского собрания, если бы в этом месте запылал громадный костер и Ваш отец, указывая на этот костер, сказал нам: «Умрем же сейчас в этом огне, чтобы спасти Россию», мы последовали бы за ним подобно счастливому, довольному человеку, умирающему за отчизну». Необыкновенные сцены разыгрались после того, как Достоевский окончил свою речь. Бросались к эстраде, чтобы обнять его, пожать ему руку. Молодые люди от волнения падали в обморок к его ногам. Два старика подошли к моему отцу, держа друг друга за руки, и сказали: «Уже двадцать лет мы враги; нас часто пытались помирить, но мы всегда отказывались. Сегодня после Вашей речи мы посмотрели друг на друга и поняли, что в будущем должны жить как два брата». Тургенев, удовольствовавшийся до этого холодным приветствием, был глубоко тронут и, приблизившись к Достоев-

скому, тепло пожал ему руку. Это рукопожатие Тургенева и примирение двух старых друзей произвели самое глубокое впечатление на моего отца; он охотно говорил об этом в Старой Руссе, вернувшись из Москвы.

Каковы же были магические слова этой знаменитой речи, которую сочли впоследствии большим событием все представители образованной России, даже и не присутствовавшие на Пушкинском празднике и узнавшие обо всем из газет? Эта речь, довольно длинная, представляет собой одухотворенный анализ пушкинской поэзии. Имело бы смысл прочесть ее в оригинале; я же здесь передаю только мысли моего отца о русском народе и его будущем. Этот новый взгляд произвел впечатление на умы нашей интеллигенции и превратил Пушкинский праздник в триумф Достоевского. Следующие слова — цитата из сказанного Достоевским интеллигенции его страны:

«Вы недовольны, вы страдаете и приписываете ваше несчастье режиму, при котором вы живете. Вы полагаете, что введение европейских порядков в России сделало бы вас счастливыми и довольными. Вы ошибаетесь; ваши страдания имеют другую причину. Ваше космополитическое образование отделило вас от вашего народа; вы не понимаете его больше; вы составляете в вашем государстве очень небольшую прослойку, глубоко чуждую остальной стране. Вы презираете свой народ за его невежество и забываете, что этот народ оплатил ваше европейское образование; это он в поте лица своего обеспечивает ваши университеты и высшие учебные заведения. Вместо того чтобы презирать его, попытайтесь лучше понять святые идеи вашего народа. Смиритесь перед ним, трудитесь в свою очередь над его великим делом; ибо этот необразованный народ, от которого вы с презрением отворачиваетесь, несет в себе христианское слово, которое он возвестит старому миру, когда тот потонет в крови. Не рабским подражанием европейским химерам, которые приведут ее саму к гибели, можете вы служить человечеству; а тем, чтобы вместе с вашим народом выработать новую православную мысль»[206].

Эти золотые слова тронули до глубины души моих соотечественников, уставших презирать свою страну. Они были счастливы услышать, что Россия не есть лишь копия, раболепное подражание Европе,— она сможет сказать новое слово миру.

Увы! Их радость была непродолжительной. Завеса, скрывающая будущее, которую приподняла рука гениального человека, вскоре опустилась вновь, и наша интеллигенция вернулась к своим ложным представлениям. Упорно стремилась она ввести в России европейскую республику и слишком презирала народ, чтобы спросить его мнения, наивно полагая, что одиннадцать миллионов образованных имеют право навязывать свою волю ста восьмидесяти миллионам ее жителей. Воспользовавшись вызванной бесконечной войной усталостью, наша интеллигенция сумела, наконец, установить в России республику, столь для нее желан-

ную. Но скоро она поняла, как трудно управлять Россией без царя. Народ сразу же показал ей свою нравственную силу, давно предвиденную Достоевским, которую упрямо продолжали отрицать его политические противники. Этот сверхгениальный, с богатым будущим народ чувствовал себя глубоко уязвленным при мысли о том, что им управляет горсть мечтателей и честолюбцев. капризам которых он вынужден подчиняться. Он боролся с кадетами и продолжает бороться с большевиками. Народ защищает свой идеал, хранимое им для будущего великое свое христианское сокровище, которое впоследствии он передаст миру, когда старое аристократическое и феодальное общество окончательно распадется. Поняла ли наша интеллигенция урок, преподанный ей только что народом? Конечно, нет. Она продолжает считать свои мечты реальностью; она убеждена, что большевикам удалось доказать строптивым мужикам преимущество европейского режима, привезенного ею в пломбированном вагоне из Цюриха. Я же думаю, что большевики похоронили республиканскую идею в России. Наши крестьяне обладают долгой памятью, и в грядущих столетиях слово «республика» будет для них отождествляться с беспорядком, разбоем и убийством. Они вернутся к монархической идее, с помощью которой смогут создать огромное государство; но новая русская монархия будет гораздо демократичнее старой. Народ понял, что его «баре», как он называет интеллигентных буржуа и поместное дворянство, слабые люди, которых легко одурманить утопиями, неспособные разобраться в том, что они делают, и что правительство страны не может больше доверять им. Конечно, он вновь возьмет их к себе на службу, нуждаясь в их знаниях; но в то же время он пошлет в новую Думу гораздо больше своих собственных представителей, чем раньше. Эти новые депутаты не обладают европейской культурой, но у них будет здравый смысл русского народа и знание действительной жизни, они будут голосовать за законы, которые показались бы жестокими и варварскими нашему старому правительству.

Россия открыла новую страницу своей истории. Достоевский, столь верно понимавший и предсказавший будущее, станет самым популярным писателем. До сих пор мои соотечественники довольствовались тем, что восхищались им, теперь они начнут его изучать.

* * *

Какая удивительная вещь! Все эти собравшиеся вокруг Пушкинского памятника писатели прославляли в прозе и стихах русское искусство великого поэта, его русское сердце, его русские идеи, его русские склонности, и ни один из них не проронил ни слова о его негритянском происхождении, представляющем все же определенный интерес.

В XVII веке одно небольшое негритянское государство Африки, расположенное на побережье Средиземного моря, было побеждено своими соседями. Король был убит, его гарем, сыновья были проданы морским разбойникам. Один из этих малень-

ких принцев, купленный русским посланником, был подарен Петру Великому. Император, в свою очередь, подарил его своим юным дочерям, которые играли с негритенком, как с куклой. Петр Великий, заметив, что маленький черный принц очень умен, послал его в Париж, где юный Ганнибал, как назвал его император, получил блестящее воспитание. Потом он возвратился в Петербург и с большим усердием служил Петру. Чтобы еще больше привязать его к России, император женил его на дочери боярина и пожаловал Ганнибалам дворянский титул. Они остались в России, женились на русских и в начале XIX века отблагодарили Россию за ее гостеприимство, подарив ей великого поэта.

Мать Пушкина была урожденная Ганнибал. Пушкин, хотя и был белее своего предка с материнской стороны, сохранил, однако, негритянский тип: черные курчавые волосы, толстые губы, живость, страстный и пылкий нрав обитателей Африки. Это не мешало ему сердцем и душой быть русским. Он создал наш литературный язык, дал нам совершенные образцы прозы, поэзии и драмы; он является истинным отцом русской литературы. И все же многое в жизни и в произведениях Пушкина можно объяснить его африканским происхождением. Почему же ни один из его почитателей не упомянул об этом?

Это факт, что в то время идея расовой наследственности еще не была известна русским; я даже не знаю, появилась ли она тогда уже в Европе. Эта идея возникла там, как я думаю, гораздо позднее благодаря графу Гобино [207], вывезшему ее из Персии. Некоторые французские писатели усвоили ее и сделали модной, до некоторой степени утрировав ее. Мысль настолько верна, что невозможно написать хорошую биографию, не принимая ее во внимание. С удивлением спрашиваешь себя, как случилось, что люди не открыли ее раньше. Увы, человечество продвигается вперед черепашьими шагами, совершая в каждое столетие лишь два с половиной открытия. «Будет выгодно для нас изменить эту планету как можно позднее», — замечает Ренан [208] в своих воспоминаниях о детстве. Декарт был бы вне себя от радости, если бы мог прочесть какое-нибудь сочинение о физике и космографии, написанное в наши дни. Простой ученик знает сейчас истины, ради которых Архимед пожертвовал жизнью. Что бы мы дали за то, чтобы можно было хоть бегло взглянуть на какую-нибудь книгу, которой будут пользоваться в народных школах через сто лет!

Не зная расовой теории, Достоевский никогда не придавал значения своему литовскому происхождению. Хотя он и его братья часто повторяли: «Мы, Достоевские — литовцы» [209], однако он искренне считал себя настоящим русским. Это происходило также потому, что старая русская империя была гораздо более единой, чем обычно предполагают. За всеми этими эмигрантами, требующими сегодня отделения своей страны от России, никто, в сущности, не стоит. Большинство литовцев, осевших в крупных русских городах, искренне привязаны к России. Они были даже бо́льшими патриотами, чем сами русские, ибо унаследовали от

своих цивилизованных родителей сознание обязанности быть верными своей стране, тогда как у русских это чувство никогда не было сильно развито. Наша школа старалась убить патриотизм, вместо того чтобы его укреплять; ее идеалом был бесцветный и угасающий космополитизм. С другой стороны, литовцы в силу своей скромности так мало говорили о себе и своей стране, что в России, наконец, поверили, что Литва давно умерла. Только с началом войны они начали робко поднимать голову; если почитать книги, которые они теперь печатают, станет очевидным, что сами они весьма мало знакомы с историей своей страны. Теряя каждый год образованных людей, переселяющихся в Россию, Польшу и на Украину, литовцы, оставшиеся в стране, создали в итоге сельское общество из крестьян и мелких буржуа, которые лишь смутно помнят о былой славе и не понимают ее истинных причин. Они забывают свою норманнскую культуру, утверждают, что не имеют ничего общего со славянами, и почитают за честь причислять себя к финно-тюркам. Финно-тюрки, конечно, хорошие люди; было бы несправедливо относиться к ним с пренебрежением, так как они ведь являются предками русских, поляков и литовцев. Но они представляют собой низшую расу, не давшую на протяжении всего ее существования ни одного выдающегося человека. Лишь скрещиваясь с высшими расами, финно-тюрки освободились от своего невежества и начали играть роль в истории. Объединение финно-тюркской народности, населявшей берега Немана, со славянами, спустившимися с Карпат, привело к образованию литовского народа, дух которого впоследствии был перенят у норманнов. Пока в нем пылал этот норманнский огонь, Литва была блестящим и цивилизованным государством; с того самого дня, когда этот огонь начал угасать, Литва стала приходить в упадок, хотя народ ее сохранил свой норманнский характер, отличающий его от украинских и русских соседей. Естественно, Достоевский не мог особенно интересоваться угасшей и забытой нацией и основное внимание обратил на свои русские корни. И все же, читая его письма, замечаешь, как всю жизнь его преследовало желание не быть похожим на своих русских товарищей и не иметь с ними почти ничего общего [210].

«У меня удивительный характер! У меня скверный характер!» — часто признается он в письмах к друзьям и не понимает, что его характер не был ни удивительным, ни скверным, а просто литовским. «У меня кошачья живучесть, мне всегда кажется, что я только начинаю жить» — этими словами Достоевский с удивлением констатирует большую силу своего характера, свойственную всем норманнам и не обнаруженную им у русских *. «Я видел Достоевского в самые страшные мгновения его жизни,— рассказывает его друг Страхов. — Никогда не терял он мужества, и я ду-

---

* Биографы Достоевского придают слишком большое значение вечным жалобам, которые они находят в его письмах родным или близким друзьям. Их нельзя воспринимать слишком трагически, так как все нервные люди ощу-

маю, что ничто не могло бы его сломить». Удивляясь собственной силе, Достоевский еще более удивлялся инфантильной слабости его русских друзей. Отец был вынужден приноравливаться к уровню мышления своих друзей, и все же они не всегда понимали его. Их детские представления о чести поражали его. Так, один из его лучших друзей, А. Милюков, желая освободить отца из ловушки, расставленной ему его издателем Стелловским, предложил, чтобы все его друзья-литераторы взяли себе по главе и написали вместе роман «Игрок»; отцу же оставалось поставить свою подпись. Милюков предлагает моему отцу совершить подлог и даже не замечает этого. Впоследствии он расскажет об этом читателям и наивно будет гордиться тем, что хотел спасти своего знаменитого друга. «Я никогда не поставлю свое имя под чужой работой»,— возмущенно отвечает ему мой отец. Как часто могли возникнуть подобные недоразумения между отцом и его друзьями, и как должен был он страдать, ибо вынужден был жить среди соотечественников, находившихся в тот момент на уровне развития двенадцатилетнего ребенка, даже если у них уже были седые волосы.

Одну из характернейших идей Достоевского, его страстный интерес к католической церкви, также нельзя объяснить иначе как атавизмом. Дела Ватикана никогда не представляли интереса для русских. Папа — наименее известная в России личность; никто о нем не думает, никогда о нем не говорят, ни один писатель не упоминает о нем в своих произведениях. Один Достоевский интересуется Ватиканом; почти во всех номерах «Дневника писателя» возвращается к нему, со страстью обсуждает будущее католической церкви. Он называет ее мертвой церковью, утверждая, что католицизм давно уже представляет собой не что иное, как идолопоклонство, но все же ясно, что эта церковь еще живет в его сердце. Ведь его предки-католики верили страстно; Рим должен был играть огромную роль в их жизни. Верность Достоевского делу православной церкви является лишь логическим следствием верности его предков римской церкви. «Я никогда не понимал, почему Ваш отец так интересовался этим старым слабоумным папой»,— признался мне однажды один русский писатель, друг моего отца. Но для Достоевского «этот старый слабоумный» был интереснейшим человеком в Европе.

Та умственная и моральная изолированность, в какой находился мой отец на протяжении всей своей жизни, не единичный

щают потребность пожаловаться или быть утешенным. Я знаю это по опыту, ибо унаследовала эту маленькую слабость от отца. У меня очень сильная воля; я думаю, что ничто не могло бы меня подавить или сломить, и все же, если прочесть письма, написанные мною матери или близким подругам, может создаться впечатление, что имеешь дело с отчаявшимся человеком, находящимся на грани самоубийства. Психиатры могли бы, конечно, объяснить эту патологию. Я же думаю, что человек может иметь одновременно очень сильную волю и очень слабые нервы. В поступках своих они руководствуются своей сильной волей, но по временам они дают разрядку своим больным нервам, плача и жалуясь друзьям, питающим по отношению к ним истинную дружбу.

случай в России. Почти все наши большие писатели имели нерусские корни и неловко чувствовали себя в России. Пушкин — потомок негра; Лермонтов ведет свое происхождение от шотландского барда, Лермонта, переселившегося в Россию по не известной мне причине. Жуковский — сын турчанки; Некрасов — сын польки; Достоевский — литовец; поэт Алексей Толстой — украинец; Лев Толстой — немецкого происхождения. Только Тургенев и Гончаров — русские. Вероятно, юная Россия еще не в состоянии сама производить большие таланты. Она может заронить в них искру гения; но хворост должны собрать другие, цивилизованные или более старые народы. Все эти полурусские неловко чувствовали себя в России. Их жизнь была лишь страстной борьбой с монгольским обществом, окружавшим их и грозившим их задушить. «И угораздил же меня черт родиться в России»,— восклицает Пушкин. «Немытая страна рабов и господ»,— говорит шотландец Лермонтов. «Я думаю о том, чтобы уехать, бежать от этого моря ненавистных мерзостей, развращенной тупости, грозящей поглотить со всех сторон тот маленький островок порядочной и трудолюбивой жизни, который я создал для себя»,— пишет честный немецкий колонист Лев Толстой. И действительно, самые осторожные из русских писателей бежали за границу; так, поэт Жуковский, предпочитавший жить в Германии, или Алексей Толстой, пылко восторгавшийся сокровищами искусства Италии. Те, которые оставались, объявляли войну невежеству, грубости русских и умирали молодыми, сраженные ими; так, Пушкин и Лермонтов, убитые на дуэли. Некрасов живет среди русских и умирает глубоко несчастным; сам Достоевский говорит об этом в некрологе по поводу смерти Некрасова. Толстой, насколько это ему удается, уединяется в своей Ясной Поляне; но, к сожалению, живя в России, трудно держаться совершенно в стороне. Его ученики, тупые монголы, в конце концов завладели ослабевшей волей бедного старика, поссорили его с женой, единственной, любившей его и понимавшей, увели из дома и бросили умирать...

Бедные великие люди, которых Бог принес в жертву цивилизации нашей страны!

Все эти писатели нерусского происхождения разделяют мысли моего отца о России. Они питают отвращение к нашему обществу, считающему себя культурным, и чувствуют себя хорошо только с народом. Лучшие их образы списаны с крестьян, которых они считали будущим нашей страны. Всем этим великим людям Достоевский служит переводчиком, обращаясь к русской интеллигенции с такими словами: «Вы считаете себя истинными европейцами и по сути не обладаете никакой культурой. Тот народ, который вы якобы цивилизуете с помощью ваших европейских утопий, гораздо цивилизованнее вас благодаря Христу, перед которым он склоняется и который спас его от отчаяния»[211].

ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО

Достоевский вернулся победителем в Старую Руссу, где мы жили летом. «Как жаль, что тебя не было со мной в Дворянском собрании,— сказал он своей жене.— Как я сожалею, что ты не видела моего успеха!» Верная принципу экономии, моя мать не захотела сопровождать своего супруга в Москву. Теперь она уговаривала его как можно скорее ехать в Эмс, чтобы пройти обычный курс лечения, но Достоевский не думал больше об этом. Он был занят работой над тем единственным в своем роде номером «Дневника писателя» за 1880-й год, который вышел в августе и имел огромный успех. Достоевский хотел утвердить новую мысль, высказанную им на Пушкинском празднике, и ответить противникам, вновь поднявшим головы после того, как прошел первый порыв, и пытавшимся похоронить эту новую мысль, повергшую в ужас тех вечных попугаев, повторяющих идеи европейцев. Достоевский надеялся, что сможет пройти курс лечения в сентябре, но потом отказался от поездки за границу, утомленный волнениями, связанными с его триумфом и политической борьбой. Он думал, что может обойтись без Эмса один год. Увы, он и не предполагал, насколько уже был подорван его бедный организм! Его железная воля, идеал, горевший в его сердце и воодушевлявший его, ввели его в заблуждение относительно его физического здоровья, всегда слабого.

Он собирался печатать «Дневник писателя», программой которого должен был служить единственный номер 1880 г. Теперь, закончив «Братьев Карамазовых», Достоевский вновь стал публицистом и вновь устремился на поприще политической борьбы. Первый и, к сожалению, также единственный январский номер 1881 года содержит в себе всю его программу. Это завещание Достоевского провозглашает истины, в которые тогда никто не хотел верить и справедливость которых, однако, не раз была подтверждена впоследствии и будет еще подтверждена в XX столетии. Этот гениальный человек предвидел события: «Не презирайте народ,— говорил он русским интеллигентам.— Забудьте, что он был когда-то вашим рабом; уважайте его мысли, любите, что он любит; восхищайтесь тем, чем он восхищается; ибо если вы бу-

дете упрямо продолжать презирать его убеждения, стараться насильственно навязать ему европейские порядки, которые он не может понять и никогда не захочет принять, то скоро наступит момент, когда народ гневно отречется от вас, отвернется и будет искать других вождей. Вы требуете европейского парламента и надеетесь занять там место, принимать законы, не спрашивая мнения народа. Этот парламент будет лишь сборищем болтунов. Вы не сможете управлять Россией, ибо не понимаете ее. Единственным возможным в нашей стране парламентом является народный парламент. Пусть бы собрался он и объявил свою волю. Но что касается вас, интеллигентов, прислушайтесь с уважением к смиренным словам крестьянских депутатов и постарайтесь хорошо понять их, чтобы суметь потом придать их простым словам юридическую форму. Управляя Россией согласно желанию, высказанному народом, вы не ошибетесь, и ваша страна будет процветать. Но, обособившись от народа в своем европейском парламенте болтунов, вы будете действовать во мраке и будете натыкаться друг на друга; вместо того чтобы просвещать Россию, будете иметь лишь шишки на лбу. Увеличьте число ваших народных школ, сделайте более обширной сеть железных дорог, особенно же постарайтесь создать хорошую армию. Ведь Европа ненавидит и презирает вас и думает лишь о том, как бы захватить ваши владения. Европейцы знают, что русский народ всегда будет враждебно относиться к капиталистическим устремлениям алчных буржуа. Они чувствуют, что Россия несет в себе новое слово христианского братства, сулящего конец их буржуазного режима. Не с европейцами должны мы сотрудничать, а с азиатами, ибо мы, русские, столько же азиаты, сколько европейцы. Ошибка наших политиков за два последние столетия заключалась в том, что мы хотели уверить народы Европы в том, что мы — истинные европейцы. Мы слишком старались услужить Европе, мы слишком много занимались ссорами соседей. Едва заслышав сигнал бедствия, мы спешили послать наши армии, и наши бедные солдаты умирали за дело, ничего им не говорившее, и те, кому они помогли, сразу же забывали о них. Мы пали на колени перед европейцами, подобно рабам, и заслужили лишь их ненависть и презрение. Настало время покинуть неблагодарную Европу. Наше будущее в Азии. Конечно, Европа тоже — наша мать; но вместо того, чтобы вмешиваться в ее дела, мы лучше послужим ей, если будем работать над нашей новой православной идеей, которая впоследствии принесет счастье всему миру. Пока же мы будем счастливее, соединившись с азиатскими народами. В Европе мы были лишь незваными пришельцами, в Азии мы будем хозяевами. В Европе мы были лишь татарами; в Азии мы будем цивилизованным народом. Сознание нашей культурной миссии даст нам то чувство собственного достоинства, которого сейчас мы лишены, ибо мы являемся карикатурной копией Европы. Пойдем же в Азию, в эту «страну святых чудес», как назвал ее один из самых известных славянофилов, и убедимся, что имя белого царя в Азии по-

читается больше, чем имя королевы Англии *, больше даже, чем имя калифа».

Я привожу здесь только этот отрывок из последнего номера «Дневника писателя»[212]. Весь текст намного длиннее и заслуживает тщательного изучения. Как ясно виден в нем норманнский ум Достоевского, всегда готовый уноситься в неизвестные области, нести цивилизацию в первобытные страны. Этот ум тем удивительнее, что его нельзя найти ни у одного другого русского писателя. Толстой, Тургенев, Гончаров и прочие предпочитают не двигаться и с большой радостью всегда остаются на одном и том же месте. Цивилизация монголов не интересует их никоим образом.

Это завещание Достоевского современники его не смогли понять. Его прозорливый ум далеко опередил их. Русское общество находилось под гипнозом Европы и жило только надеждой стать однажды вполне европейским. Эта идея упрочивалась тем сильнее, что ее поддерживало наше правительство. Подобно всем славяно-норманнам, Романовы ненавидели монголов и боялись Азии. Нашим царям принадлежали многочисленные дворцы в европейской части России, но ни одного дворца не было в Сибири или Центральной Азии; они почти не бывали там. Когда восточные князья приезжали в Петербург, их принимали вежливо, но холодно. Верные идеям Петра Великого, Романовы упрямо насаждали в России европейские порядки. Все наши государственные учреждения, сенат, дума, министерства и канцелярии, были точными копиями европейских. Наши институты благородных девиц — это французские монастыри, наши военные учебные заведения созданы по образцу немецких. Русский дух был изгнан из этих учреждений, и мои юные соотечественники, получавшие там образование, становились космополитами и предпочитали говорить между собой по-французски. Если нашим правителям удалось перетянуть наше дворянство на сторону Европы, то они не смогли это сделать с русским народом. Русское дворянство, русская интеллигенция были слабы; народ был силен и остался верен своей исторической миссии. Избавившись от европейского правительства, он начал немедленно проводить русскую политику. Прошло едва два года после отречения Николая II, и уже полковник Семенов провозглашен «великим князем Монголии»[213], уже русские вступили в переговоры с эмирами Афганистана и Курдистана, а индусы посылают делегации в Москву. *Это факт, что в жилах русских все меньше славянской крови, тогда как процент монгольской крови год от года увеличивается.* Если западные славяне не пошлют нам своих колонистов, чтобы помочь колонизировать Азию, русские в течение одного столетия полностью монголизируются. Идея их братства со славянами уже ощутимо идет на убыль. В 1877 и 1878 годах вся Россия сражалась за освобождение сербов и болгар, а в 1917 году наши солдаты бросили свое оружие и мало заботились о том, что Сербия была наводнена

---

* Достоевский жил во времена правления королевы Виктории.

врагом. Русский народ все более и более забывает о славянах и все больше интересуется монголами. Раньше он боролся за освобождение своих братьев-славян от ига турок и австрийцев; теперь он думает об освобождении своих новых братьев, восточных народов от их европейских угнетателей. Азиатские народности, в свою очередь, чувствовали симпатию к русским из-за монгольской крови, все сильнее проявляющейся в нашем народе. Стоило России протянуть им руку, как все коричневые монгольские руки сразу же радостно ухватились за нее. Бедные люди! Так долго они ждали этого жеста! Устав быть варварами, они стремятся к цивилизации, в свою очередь, теперь желают сыграть роль в судьбах мира. Цивилизация, предлагаемая им Англией, слишком высока для них, они не могут принять ее, к тому же эта цивилизация предлагается им с презрением. Англичане хотят рыть в Индии каналы и строить железные дороги, но отказываются поддерживать знакомство с местными жителями, оставляют их пребывать в языческом суеверии. И все же ничто так не оскорбляет жителей Востока, как пренебрежение и презрение, так как нигде чувство собственного достоинства не развито так высоко, как на Востоке. Восточные народы всегда отдадут предпочтение русским, так как русский медведь по своему призванию добродушное животное, скромное и великодушное. На Востоке знают, что он всегда готов братски поцеловать любое обращенное к нему лицо, какого бы оно ни было цвета. Он с радостью женится на монгольских женщинах и будет любить своих маленьких коричневых медвежат так же нежно, как и белокурых. Россия даст монголам свою европейскую культуру, еще очень незначительную, которую поэтому легче принять. Она возвестит им Евангелие и призовет жителей Востока на пир Господний. Прежде, во времена патриархов и московских царей, христианская миссия считалась святой обязанностью старой Руси. Побеждая какой-нибудь монгольский народ, русские сразу же посылали в завоеванные провинции своих миссионеров. Там строили церкви и монастыри, привозили молодых князей в Москву, ослепляли их празднествами наших царей, роскошью и дружелюбием бояр. Молодые монголы, соблазненные первой встретившейся на их пути цивилизацией, принимали православие вместе со всем своим родом. Многие наши аристократы и поместные дворяне ведут свое происхождение от этих монгольских князей и отличаются своим пылким патриотизмом. Отменив патриаршество, Петр Великий положил конец этой превосходной московской политике. Его последователи, подражая его примеру, вместо того чтобы посылать в Азию миссионеров, покровительствовали мечетям, украшая их лучшими коврами из русских дворцов; они помогали буддистам строить их храмы к великому негодованию нашего духовенства, остававшегося всегда верным московским идеям. Новые русские патриархи вновь приступят к своему христианскому делу в Азии. Европейцы ищут там только залежи золота и серебра, мы же, русские, сумеем найти в этой «стране святых чудес» другие залежи, более

ценные для человечества. Мы откроем там сокровища веры, найдем красноречивых апостолов, которые сумеют бороться с атеизмом Европы и исцелят ее от этой смертельной болезни.

Русская революция означает пробуждение всей Азии. Европейский период в нашей стране окончен; начался восточный. Русские все больше и больше освобождаются от европейских проблем и интересуются теперь только проблемами Азии. Они помогут другим восточным народам сбросить европейское иго и возьмут их под свою защиту. Как и мечтал Достоевский, имя белого царя будет почитаться больше, чем имя короля Англии или калифа.

Вот удивительное дело! Европейцы, кажется, хотят помочь нам в завоевании Азии, что лишит их, однако, богатейших восточных колоний. Они хотят извлечь выгоду из беспорядка, царящего в настоящее время в России, и лихорадочно стремятся отделить от России Литву, Украину, Грузию, Финляндию, Эстонию и Лифляндию. Они думают ослабить этим нашу страну и не замечают, что, напротив, усиливают ее этим. Литовцы, украинцы, грузины и прибалты всегда ненавидели и презирали монгольскую кровь русских и делали все возможное, чтобы оторвать нас от Азии. Более цивилизованные, чем русские, они имели огромное влияние на моих соотечественников и представляли собой основное препятствие нашему объединению с азиатами. В тот день, когда все эти славяно-норманнские и грузинские депутаты покинут Думу, русские депутаты, оставшись одни, поймут друг друга гораздо лучше, и монгольская кровь повлечет их к Азии. Европейцы с громкими воплями требуют установления в России демократического режима и не замечают, что чем демократичнее становится Россия, тем враждебнее она ведет себя по отношению к Европе. Наши аристократы, наши дворяне говорили между собой по-французски и по-английски и считали Европу вторым отечеством, наши мещане, наши крестьяне не учат европейских языков, не читают европейских писателей, не ездят в Европу и ненавидят иностранцев. Они увлекут с собой в Азию своих новых царей, которые, освободившись от европейского влияния балтийских баронов, поляков и грузин, окружавших их, не смогут больше бороться с волей своего народа. Создав в России демократический режим, европейцы и американцы надеются тем надежнее овладеть нашими полезными ископаемыми и богатством наших лесов. Они ошибаются, ибо мужики лучше сумеют охранять свои земли, чем опьяненные европейским воспитанием дворяне. Русские дворяне всегда были готовы поставить на карту все свое состояние и наслаждаться жизнью на террасах Монте-Карло. Наши крестьяне не знают этих уголков земного рая и предпочитают оставаться в России и сохранять для себя свою землю. Все восстания или забастовки мужиков начинаются с того, что они убивают служащих-европейцев на наших рудниках и фабриках. Мысль, что иностранцы извлекают выгоду из наших богатств, чтобы стать миллионерами, кажется им в высшей степени унизительной для их национального достоинства. Введенные в заблуждение нашими

беженцами, европейцы и американцы, по-видимому, не понимают истинной сути наших крестьян и считают их обычно легко управляемыми идиотами. Европейцы медлят начинать борьбу с большевизмом, надеясь, что беспорядки ослабят Россию; но русские между тем укрепляют с восточными народами свою новую дружбу, которая, будучи основана на взаимной склонности, может очень усилиться. Тогда как европейцы меняют ежедневно свое мнение о нашей стране, не зная, какой придерживаться политики, Россия, огненная птица, навсегда улетает на восток. Слепота Европы и Америки в отношении нашей страны, действительно, не была бы лишена комизма, если бы в то же время она не была в порядке вещей. Если Бог хочет сказать миру новое слово, он сначала поражает слепотой народы, несущие в себе прошлую идею, старую и ставшую теперь бесполезной.

* * *

Уделяя так много времени политике нашей страны, Достоевский не забывал о своих детях и продолжал читать нам по вечерам шедевры русской литературы. В эту последнюю зиму своей жизни он хотел познакомить нас с отрывками из знаменитой комедии Грибоедова «Горе от ума». Многие фразы из этой остроумной комедии стали поговорками и часто цитируются у нас. Достоевский очень ценил эту блестящую сатиру на московскую жизнь и любил смотреть ее на сцене. Однако он полагал, что наши актеры не понимают ее, особенно роль Репетилова, которой он восторгался, видя в этом образе истинного предка либеральной партии западников. Репетилов появляется только в конце пьесы. Приглашенный на бал к Фамусову, он приходит в четыре часа утра, в тот момент, когда все другие гости разъезжаются. Он входит, шатаясь, слегка опьяневший, поддерживаемый своим лакеем, и сразу же начинает нести вздор и произносить бесконечные речи, тогда как гости Фамусова слушают его, посмеиваясь, и ловко исчезают, уступая место другим. Репетилов едва ли замечает, что слушатели его меняются, и не прекращает свои речи. Наши актеры изображают Репетилова как комика; Достоевский же находил этот тип по сути своей трагическим. Он был прав, ибо эта неспособность наших интеллигентов понять Россию, найти там приносящую пользу работу и восточная их инертность, проявляющаяся в бесконечной болтовне, представляют собой истинную болезнь. Достоевский так часто читал нам эту комедию и объяснял нам ее, что, наконец, у него появилось желание самому сыграть эту роль, чтобы показать, как он ее понимал. О своем намерении он сообщил нескольким друзьям, предложившим ему устроить у них любительский спектакль и поставить последний акт бессмертной комедии Грибоедова. В Петербурге много говорили об этой интересной постановке. Отец хотел показаться перед публикой только тогда, когда хорошо подготовится, и играл лишь

перед своими детьми. Как всегда, он страстно увлекся новой идеей и играл со всей серьезностью, вставал, как бы упав, входя в комнату, жестикулировал и декламировал. Мы с большим интересом следили за его игрой. У нас был маленький товарищ, Сергей К., единственный сын довольно богатой вдовы, очень баловавшей его [214]. В зале ее квартиры была маленькая сцена с занавесом и несколькими декорациями, и мы устраивали для наших родителей представления, изображая в лицах басни Крылова и стихотворения наших великих русских поэтов. Несмотря на свою занятость, Достоевский не пропускал ни одного нашего спектакля и одаривал юных артистов аплодисментами. Мы начинали уже страстно увлекаться театром, и нас очень интересовала игра отца. Я всегда жалела, что смерть помешала Достоевскому проявить себя как актеру. Он сумел бы создать оригинальный и незабываемый тип. Между прочим, украинская страсть к театру завладела Достоевским не в первый раз. После каторги он написал комедию «Дядюшкин сон», переделанную им позднее в роман. В одном из писем Достоевский рассказывает, что много смеялся, когда писал эту комедию; он уверял, что герой, князь К., похож на него. И, действительно, наивный и рыцарский характер бедного князя напоминает характер моего отца. Позднее, возвратившись в Петербург, он любил придумывать речи à la князь К. и произносить их перед друзьями, подражая тону, голосу и мимике этого бедного дегенерата. Это очень забавляло Достоевского, и он умел делать живым своего героя. Примечательно, что отец дважды, в «Идиоте» и в «Дядюшкином сне», изобразил себя в лице князя, то есть человека старой, наследственной культуры, и оба раза как дегенерата.

СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО

В конце января из Москвы приехала тетя Вера и остановилась у своей сестры Александры. Отец был очень обрадован, узнав о ее приезде в Петербург, и поспешил пригласить ее на обед. С удовольствием вспоминал он о своих многочисленных поездках в Москву во время вдовства и том сердечном приеме, который находил он в семье своей сестры Веры. Достоевский пригласил ее, надеясь поговорить о своих племянницах и племянниках, о своей матери, память которой он высоко почитал, и о детстве, проведенном совместно в Москве и в Даровом. Он не предполагал, что сестра подготовилась к разговору совсем другого рода.

Дело же обстояло следующим образом: все Достоевские давно открыто враждовали друг с другом из-за наследства их тетки Куманиной. Она оставила после смерти все свое состояние наследникам своего мужа; лишь одно лесное владение в 12 тысяч десятин в Рязанской губернии должно было быть разделено между ее племянниками Достоевскими и другими племянниками, сыновьями другой сестры, или кузины. Все эти наследники не пришли ни к какому соглашению и тратили время на бесконечные распри. Переговоры велись в Москве, и мой отец, не знакомый близко с родственниками своей тетки, не принимал в них участия и с нетерпением ожидал, когда, наконец, придут к соглашению и можно будет получить свою долю наследства в две тысячи десятин. Это было довольно большое владение; к сожалению, оно было удалено от железной дороги и туда было трудно добираться, что снижало его ценность. Несмотря на это, Достоевский возлагал на него большие надежды, так как это было единственное состояние, которое он мог оставить своей семье, и вдруг теперь это наследство стали оспаривать его сестры!

Согласно русским законам, женщины тогда получали лишь четырнадцатую долю наследуемого недвижимого имущества. Мои тетки, все до некоторой степени скупые, очень рассчитывали на богатство их тетки Куманиной и были страшно недовольны, узнав, что они должны получить лишь малую долю. Тут они вспомнили, с какой легкостью их брат Федор отказался от наследства своих родителей за незначительную и немедленно выплаченную сумму. Они полагали, что и во второй раз он с легкостью даст себя обокрасть, и попросили его отказаться от своей доли в пользу

трех его сестер под тем предлогом, что он уже получил от тетки Куманиной гораздо больше, чем прочие члены семьи Достоевских. Действительно, мой отец на протяжении всей ее жизни был любимцем тетки Куманиной, которая была его крестной. Но, во-первых, моя двоюродная бабушка Куманина унаследовала свое состояние от своего мужа, следовательно, могла распоряжаться им по своему усмотрению; во-вторых же, мой отец истратил большую часть полученных от тетки подарков на потребности всей семьи Достоевских. В письме, отправленном одному из друзей, отец рассказывает, что пожертвовал десять тысяч рублей, полученных от нее, чтобы спасти журнал «Эпоха», принадлежащий брату Михаилу. Всю жизнь он помогал брату Николаю и сестре Александре во время болезни ее первого мужа, не говоря уже о его племянниках, сыновьях брата Михаила, которые долго были его обузой. Несмотря на это, я убеждена, зная великодушный характер отца, что он оставил бы свою долю сестрам, если бы его обязанности по отношению к жене и детям не были более настоятельными. Он выплатил, наконец, долги брата Михаила, но, постоянно имея на шее три дома — брата Николая, пасынка Исаева и свой собственный, он тратил все, что зарабатывал, и не мог ничего откладывать. Следовательно, рязанское лесное владение было единственным, что он мог оставить своей семье. Он, конечно, оставил нам свои произведения; но в России подобное наследство не дает уверенности. Бывает часто, что писателя, которого много читали при его жизни, после смерти забывают. Тогда никто не мог предвидеть, какое исключительное положение займет Достоевский не только в России, но и во всем мире. И сам он не предвидел этого. Уже начинали переводить его произведения на иностранные языки, но отец не придавал значения этим переводам. Он считал себя русским и уверял, что европейцам не понять русские идеи. Он был прав, ведь наши крупные писатели — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грибоедов, Гончаров, Островский — никогда не пользовались большим успехом в Европе, даже Тургенев, которому его европейские друзья делали хорошую рекламу. Достоевский не вспомнил при этом о своем норманнском уме, который и сделал его имя дорогим для народов Европы, как и немецкий ум явился основой для славы Толстого. Норманны совершали дальние путешествия и были знаменитыми колонизаторами. Ни в Европе, ни в Америке нет почти ни одного народа, в жилах которого не было бы хоть нескольких капель норманнской крови. В произведениях Достоевского европейцев привлекает страстная вера норманнов, их удивительная прозорливость, тогда как его славянская душа, столь нежная, щедрая и восторженная, пленяет славянские народы. Только монгольская кровь, которую отец мог унаследовать от московского деда, очень слабо чувствовалась в нем; по этой причине, наверное, восточные народы, включая евреев, никогда не любили Достоевского.

Отец не мог также рассчитывать на государственную пенсию для жены и детей. Она полагалась лишь вдовам чиновников,

а мой отец никогда не хотел служить государству, желая прежде всего быть свободным и независимым. Моя мать была первой вдовой писателя, которой русское правительство назначило пенсию *, что вызвало всеобщее удивление. Следовательно, отец не мог лишить своих детей куска хлеба, просто не имел права отдать его своим сестрам, находившимся, между прочим, в лучших условиях, чем мы. У моей тетки Александры был дом в Петербурге, у тетки Варвары — несколько домов в Москве; у тети Веры осталось поместье родителей «Даровое». Они рано вышли замуж, и к тому времени, о котором я говорю, дети их уже были взрослыми и могли сами обеспечивать себя, тогда как мы были еще совсем маленькими. Достоевский хотел все это объяснить своим сестрам, но они ничего не желали слушать. Тетка Александра поссорилась со своим братом и никогда не бывала у нас; тетка Варвара была дипломатичнее, держалась в стороне и не хотела вмешиваться в это дело. Зная о симпатии, с которой относился Достоевский к семье сестры Веры, они послали ее к моему отцу, отважившись на новое наступление.

Семейный обед состоялся в воскресенье, 25 января [215]. Начался он весело, шутками и обменом воспоминаниями об играх и развлечениях в детские годы Достоевского и его сестры. Но тетка спешила начать переговоры и перешла к обсуждению вечного вопроса о куманинском наследстве, отравившем жизнь всем Достоевским. Отец наморщил лоб; моя мать попыталась переменить тему разговора, расспрашивая свою золовку о здоровье детей. Все напрасно; тетя Вера была наименее интеллигентной из всей семьи. Хорошо подученная более хитрыми и ловкими сестрами, она боялась забыть их советы и, поглощенная целиком и полностью своим поручением, распалялась все более. Напрасно пытался Достоевский объяснить ей свое печальное финансовое положение, говоря о своих отцовских обязанностях; тетка не хотела ничего слышать, упрекала моего отца в «его жестокости» по отношению к сестрам и в конце концов разразилась слезами. Достоевский потерял терпение и встал из-за стола до окончания обеда, чтобы прервать неприятный разговор. В то время, как моя мать провожала золовку, продолжавшую плакать и пожелавшую как можно скорее отправиться домой, отец побежал в свою комнату. Он сел за письменный стол и подпер голову обеими руками. Страшная усталость навалилась на него. Он ожидал такой радости от этого семейного обеда, и вот это проклятое наследство

* Государство назначило моей матери пенсию в 2000 рублей, как генеральским вдовам, и одновременно предоставило две бесплатные вакансии для нас — в Пажеском корпусе и в Смольном институте, аристократических учебных заведениях России. Мать приняла вакансии, но мы были еще слишком малы, чтобы отправить нас в эти заведения. Позднее, когда мы стали старше, посмертное издание сочинений Достоевского уже стало давать хорошие доходы. Мать отдала нас тогда в другие учебные заведения и сама платила за наше обучение. Она объяснила нам, что, по мнению отца, родители должны сами платить за воспитание своих детей и оставлять бесплатные вакансии сиротам.

снова испортило ему весь вечер... Внезапно он почувствовал странную влагу на руках; он посмотрел на них — они были в крови. Он прикоснулся ко рту, к бороде и с ужасом отдернул руку — у него еще никогда не было кровотечения. Достоевского охватил страх, и он позвал жену. Моя мать в испуге бросилась к нему, сразу же послала за доктором, лечившим отца, позвала нас в его комнату, попыталась шутить, принесла только что полученный юмористический журнал. К отцу вернулось самообладание, он смеялся, рассматривая юмористические рисунки, шутил теперь сам с нами. Кровотечение прекратилось; лицо, руки ему уже вымыли. Видя отца смеющимся и шутящим, мы не совсем понимали, почему мать сказала нам, что папа болен и мы должны его развлечь. Пришел доктор, успокоил родителей и сказал, что у людей, страдающих катаром дыхательных путей, часто бывает кровотечение. Он настаивал, однако, на том, чтобы больной немедленно лег, два дня оставался в постели и говорил как можно меньше. Отец послушно лег на свой турецкий диван, чтобы больше уже не встать...

На следующее утро он проснулся веселым и здоровым. Ночью он хорошо отдохнул и остался в постели только по приказанию своего врача. Он пожелал пригласить близких друзей, посещавших его ежедневно, и говорил с ними о первом номере «Дневника писателя» за 1881 год, который должен был вскоре появиться и очень его интересовал. Его друзья, видя, что отец мой не придает значения своей болезни, подумали, что речь идет о кратковременном недомогании. Вечером, когда они ушли, у отца повторилось кровотечение. Так как врач предупредил мою мать, что подобное кровотечение может начаться как следствие первого, мать особенно не испугалась. На следующее утро, во вторник, она, однако, была очень обеспокоена, заметив чрезвычайную слабость мужа. Достоевского больше не интересовал его журнал; он лежал на диване с закрытыми глазами, удивленный этой необычной слабостью, свалившей его и заставляющей лежать, его, переносившего все болезни так бодро, на ногах, не прерывая работы. Друзья, пришедшие вновь узнать о его самочувствии, тоже были испуганы при виде его слабости и посоветовали моей матери не слишком полагаться на доктора Бретцеля, обычно лечившего нашу семью, и пригласить для консультации другого врача. Мать послала за специалистом по легочным болезням, который смог приехать только вечером. Он объяснил, что слабость является неизбежным следствием двух кровотечений и может пройти через несколько дней. Однако он не скрыл от моей матери, что болезнь значительно серьезнее, чем предполагал доктор Бретцель. «Эта ночь решит все»,— сказал он, уходя.

Но, увы! Когда мой отец проснулся на следующий день после очень беспокойной ночи, моя мать знала, что его часы сочтены. И отец знал это. Как всегда в трудные минуты жизни, он обратился к Евангелию. Он попросил жену раскрыть наудачу старую Библию, привезенную им с каторги, и прочесть первые строчки, кото-

рые попадутся ей на глаза. Скрывая слезы, моя мать прочла громким голосом: «Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Выслушав эти слова Иисуса, отец задумался на мгновение и потом сказал жене: «Ты слышала? Не удерживай! Мой час настал, я должен умереть!»

Потом Достоевский попросил пригласить священника, исповедовался и причастился. Когда священник ушел, он позвал нас в свою комнату, взял наши маленькие руки в свои, попросил мать еще раз раскрыть Библию и прочесть нам притчу о блудном сыне. Он слушал чтение с закрытыми глазами, погруженный в раздумья. «Дети, не забывайте никогда того, что только что слышали здесь,— сказал он нам слабым голосом.— Храните беззаветную веру в Господа и никогда не отчаивайтесь в его прощении. Я очень люблю вас, но моя любовь ничто в сравнении с бесконечной любовью Господа ко всем людям, созданным им. Если бы вам даже случилось в течение вашей жизни совершить преступление, то все-таки не теряйте надежды на Господа. Вы его дети; смиряйтесь перед ним, как перед вашим отцом, молите его о прощении, и он будет радоваться вашему раскаянию, как он радовался возвращению блудного сына».

Он обнял нас и благословил; плача, мы вышли из комнаты умирающего. Друзья, родственники собрались в гостиной, ибо весть об опасной болезни Достоевского распространилась уже в городе. Отец попросил их заходить друг за другом и каждому говорил дружеское слово. Силы его на глазах падали с каждым часом. Вечером началось новое кровотечение, и он стал терять сознание. Тогда открыли двери его комнаты, и все его друзья и родные вошли, чтобы присутствовать при его смерти. Стояли молча, без слез, чтобы не мешать агонии. Только моя мать тихо плакала, стоя на коленях у дивана, на котором лежал ее супруг. Странный шум, похожий на клокотание воды, вырывался из горла умирающего, грудь его приподнималась, он говорил быстро и тихо, но понять, что он говорил, было уже нельзя. Дыхание становилось все менее слышимым, слова — более редкими. Наконец, он умолк. . .[216]

Позднее случалось мне присутствовать при смерти родных и друзей, но ни одна не была столь светлой, как кончина моего отца. То была истинно христианская кончина, какую желает всем верующим христианская церковь — смерть без боли и без стыда. Достоевский страдал только от слабости; он потерял сознание лишь в последний момент. Он видел приближение смерти, не боясь ее. Он знал, что не зарыл свой талант и всю жизнь хорошо служил Богу. Он был готов без боязни предстать перед вечным отцом, надеясь, что Господь в награду за все, что он выстрадал, за все, что он вытерпел в этой жизни, поручит ему создать какое-то другое великое произведение, выполнить иную великую задачу. . .

* * *

Когда в России умирает человек, его тело сразу же обмывают, облачают в лучшие одежды, потом кладут на покрытый белым покрывалом стол, ожидая, когда будет готов гроб. Из ближайшей церкви приносят большие свечи, которые устанавливают вокруг стола, и золотой покров, которым закрывают умершего до середины тела. Дважды в день приходит священник, чтобы отслужить панихиду — заупокойную молитву, которую он произносит в сопровождении церковного хора. Друзья, родные присутствуют при этой молитве, держа в руках зажженные свечи. Остальную часть дня и ночью церковный псаломщик или монахиня, стоя в ногах у гроба, читают громким голосом псалмы. Хоронят умершего на третий день, иногда даже на четвертый, если родные, желающие присутствовать при погребении, живут в других провинциях России и не могут приехать раньше.

Когда после лихорадочной ночи я проснулась и с покрасневшими от слез глазами вошла в комнату отца, я нашла его лежащим на столе со сложенными на груди руками, в которые только что вложили икону. Как многие нервные дети, я боялась покойников и отказывалась подходить к ним, но перед отцом я не испытывала страха. Казалось, что он спит на своей подушке, тихо улыбаясь, словно видит что-то очень хорошее. Около мертвого сидел уже художник и рисовал Достоевского в его вечном сне [217]. Утром в газетах появилось извещение о смерти моего отца, и все друзья собрались, чтобы присутствовать на первой панихиде. Делегации студентов различных высших учебных заведений Петербурга последовали за ними. Они пришли вместе со священником, прикрепленным к этим заведениям, и сопровождали его молитвы своим пением. Слезы катились у них по щекам; они всхлипывали, взглядывая на безжизненное лицо любимого писателя. Мать бродила, как тень, с затуманенными от слез глазами. Она так плохо сознавала, что произошло, что когда явился придворный сообщить ей от имени Александра II о назначении ей государственной пенсии и принятии решения о воспитании ее детей за государственный счет, она радостно вскочила, чтобы передать это приятное известие своему супругу. «В этот момент я поняла в первый раз, что мой муж умер и что отныне я должна жить одинокой и что теперь у меня нет больше друга, с которым я могла бы делиться радостью и горем»,— рассказывала она мне позже. Дядя Иван, по удивительному стечению обстоятельств приехавший в Петербург в момент смерти Достоевского, должен был заняться всеми приготовлениями к похоронам. Он спросил сестру, где бы она хотела похоронить своего мужа. Тут мать вспомнила разговор, состоявшийся у нее с мужем в день погребения поэта Некрасова, умершего несколькими годами раньше и похороненного на Новодевичьем кладбище женского монастыря. Мой отец произнес речь у еще открытой могилы поэта и печальный и подавленный вернулся домой. «Я скоро последую за Некрасовым, — сказал он

матери.— Прошу тебя, похорони меня на том же кладбище! Я не хочу заснуть последним сном на Волковом *, рядом с другими русскими писателями. Они презирали меня, преследовали меня всю жизнь своею ненавистью и очень огорчали меня. Я хочу лежать рядом с Некрасовым, который всегда относился ко мне хорошо, который заявил первым, что у меня большой талант, и не забывал меня, когда я был в Сибири».

Моя мать, видя своего мужа печальным и несчастным, старалась развеселить его шуткой, средство, почти всегда ей удававшееся.

— Что за мысль! — сказала она весело.— Этот Новодевичий монастырь такой мрачный, такой пустынный! Лучше я похороню тебя в Александро-Невской лавре.

— Я думал, там хоронят только генералов от инфантерии и кавалерии **,— отвечал отец, также стараясь пошутить.

— А ты разве не генерал от литературы? Ты имеешь полное право быть похороненным рядом с ними. Какие чудесные похороны я тебе устрою! Архиепископы будут служить по тебе заупокойную обедню, митрополичий хор будет петь. Огромная толпа будет сопровождать твой гроб, и, когда шествие приблизится к лавре, монахи выйдут встречать тебя.

— Они делают это только для царей,— сказал отец, которого развеселили предсказания жены.

— Они сделают это и для тебя. О, у тебя будут великолепные похороны, каких еще никогда не видели в Петербурге...

Отец смеялся и рассказывал об этих фантазиях своей жены друзьям, пришедшим к нему поговорить о похоронах Некрасова. Многие позднее вспоминали это удивительное предсказание, сделанное моей матерью, как всегда, в шутку.

Сейчас мать вспомнила этот разговор и попросила дядю Ивана отправиться вместе с ее зятем Павлом Сватковским в Новодевичий монастырь и купить место для отца по возможности ближе к могиле Некрасова. Она вручила им все деньги, бывшие в доме, чтобы оплатить заранее могилу и панихиду. Уже собираясь уйти, дядя заметил наши бледные и несчастные физиономии и попросил сестру разрешить взять нас с собой. «Прогулка в санях будет полезна им»,— сказал он, глядя на нас с состраданием.

Мы побежали одеваться и радостно уселись в сани. Холодный воздух и зимнее солнце, действительно, подействовали на нас благоприятно, и со счастливой детской беззаботностью мы на несколько мгновений забыли о жестокой утрате, только что постигшей нас. Новодевичий монастырь находится на окраине города у излучины реки Нарвы. Я впервые вступила в женский монастырь и с любопытством разглядывала безмолвные коридоры, вдоль которых, как тени, скользили монахини. Нас провели в при-

* Большинство наших писателей похоронено на Волковом кладбище. Там есть место, называющееся «Литераторскими мостками».

** Александро-Невская лавра, где хранятся мощи святого защитника Петербурга, считается аристократическим кладбищем.

емную; вошла настоятельница монастыря, пожилая дама, с холодным и высокомерным видом, одетая в черное, с длинной накидкой, закрывавшей голову и одежду. Сватковский изложил ей желание знаменитого писателя Достоевского быть похороненным в Новодевичьем монастыре рядом с поэтом Некрасовым и, зная довольно высокие цены кладбища, попросил разрешения для нас приобрести место по возможности дешевле, в виду незначительных средств, оставленных нам отцом. Сделав презрительную мину, настоятельница холодно ответила: «Мы, монахини, не принадлежим больше миру, и ваши знаменитости не имеют в наших глазах никакой цены. У нас твердые цены на могилы нашего кладбища, и мы не можем менять их для кого бы то ни было». И эта смиренная служительница Иисуса потребовала чрезмерную цену, намного превышавшую скромную сумму, которой располагала моя мать. Напрасно дядя Иван хлопотал за сестру, просил настоятельницу позволить моей матери внести сумму по частям в течение года. Монахиня заявила, что могила не будет выкопана, пока не будет уплачена вся сумма. Не оставалось ничего иного, как встать и распрощаться с этой ростовщицей в монашеском одеянии.

Возмущенные, мы вернулись домой и рассказали матери о безрезультатности нашей поездки. «Как жаль! — сказала она печально.— Мне так хотелось бы похоронить мужа на кладбище, которое он сам выбрал. Теперь мне не остается ничего больше, как похоронить его на Охте, рядом с его маленьким Алексеем, хотя, к сожалению, это кладбище никогда не нравилось ему». Было решено, что дядя Иван отправится на следующее утро на Охту купить там могилу и договориться со священником об отпевании.

Вечером матери доложили о приходе монаха, желающего говорить с ней. Он пришел по поручению братии Александро-Невской лавры, которая, по его словам, высоко чтит Достоевского. Монахи пожелали, чтобы прах знаменитого писателя покоился в ограде их монастыря. Они также хотели отслужить за свой счет заупокойную обедню, которая должна была состояться в самом большом их соборе. Мать с радостью приняла их великодушное предложение. Монах ушел, мать вернулась в свою комнату и вдруг вспомнила свои слова, сказанные несколько лет назад мужу: «Я похороню тебя в Александро-Невской лавре».

На следующий день, в пятницу, с самого утра нашу скромную квартиру заполнила толпа почитателей Достоевского. Она была очень пестрой: писатели, министры, студенты, великие князья, генералы, священники, светские дамы и бедные горожанки сменяли друг друга у гроба, чтобы проститься с покойным, и ожидали иногда своей очереди по несколько часов. В комнате покойного была такая жара, что во время панихиды гасли свечи. Было доставлено так много чудесных, украшенных лентами, с трогательными надписями цветочных венков, посланных различными обществами, министерствами и учебными заведениями, которые должны были фигурировать в траурном шествии, что не знали,

куда их положить. Маленькие венки и букеты, принесенные друзьями Достоевского, были размещены около гроба, в котором покоилось теперь тело моего отца. Его почитатели, плача, целовали его руки и просили нас дать им на память листок, цветок. Наши маленькие друзья, пришедшие стоять с нами у гроба, помогали брату и мне целый день раздавать цветы неизвестным, теснившимся вокруг нас.

На следующий день, в субботу, огромная толпа заполнила обе улицы, на углу которых находился дом, в котором мы жили. Из окон мы видели море человеческих голов, качавшихся, как волны, среди которых вздымались подобно островам венки с лентами, которые несли студенты. Траурная повозка стояла наготове, чтобы везти бренные останки Достоевского в монастырь. Его почитатели не позволили поставить на нее гроб; они несли его, чередуясь, сами до монастыря. Согласно обычаю, вдова и сироты следуют за гробом пешком. Так как путь до Александро-Невской лавры долгий, и наши детские силы были слишком незначительны, друзья семьи иногда сажали нас в экипаж и везли вдоль процессии. «Никогда не забывайте прекрасные похороны, устроенные Россией Вашему отцу»,— говорили они нам. Когда, наконец, гроб приблизился к монастырю, из больших ворот вышли монахи и пошли навстречу моему отцу, который теперь должен был покоиться среди них. Подобную честь они оказывали только царям; они оказали ее также знаменитому русскому писателю, верному и почтительному сыну православной церкви. Еще раз сбылось предсказание моей матери.

Было слишком поздно начинать отпевание, и пришлось отложить его на следующий день. Гроб был установлен посреди церкви Святого Духа; после краткого богослужения мы вернулись домой, изнемогающие от усталости и волнения. Друзья отца остались на некоторое время наблюдать за толпой, стремившейся преклонить колени у гроба и помолиться. Наступил вечер, стемнело; постепенно рассеялась толпа почитателей и друзей отца, готовых вновь явиться на следующий день на отпевание. Но Достоевский не остался один. Петербургские студенты не покинули его; они решили бодрствовать рядом с обожаемым писателем последнюю его ночь на земле. Что делали они в церкви, рассказал нам позже петербургский митрополит, живший, как принято, в Александро-Невской лавре. Через несколько дней после погребения моя мать посетила его, чтобы поблагодарить за великолепные похороны, которые устроили монахи отцу, и взяла нас с собой. Митрополит благословил нас и рассказал моей матери о своих впечатлениях о ночном дежурстве студентов: «В субботу вечером я отправился в церковь Святого Духа, чтобы поклониться праху Достоевского. Монахи задержали меня у дверей и сказали, что в церкви, которую я считал пустой, полно людей *. Тогда я направился наверх

* Русские митрополиты — лица высокого ранга и могут появляться на публике лишь в торжественных случаях.

в маленькую часовню, находящуюся на втором этаже соседней церкви, окна которой выходят в церковь Святого Духа. Я провел там часть ночи, наблюдая за студентами, не видимый им. Они молились, стоя на коленях, с плачем и рыданиями. Монахи хотели читать у гроба псалмы, но студенты взяли у них псалтырь и по очереди читали псалмы. Никогда еще я не слышал подобного чтения псалмов! Студенты читали их дрожащим от волнения голосом, вкладывая душу в каждое произносимое ими слово. И мне еще говорят, что эти молодые люди атеисты и презирают нашу церковь. Какой же магической силой обладал Достоевский, чтобы так вновь обратить их к Богу?»

Это была та сила, которую дает Иисус всем своим ученикам. Несчастная русская церковь, со времен Петра Великого связанная по рукам и ногам, утратила эту священную силу. Теперь, освободившись, наконец, от своих оков, омытая после революции в крови своих мучеников, священников, монахов, убитых большевиками, теперь она воспрянет и станет такой же сильной, какой была во времена старых московских патриархов...

В день погребения, воскресенье, 1 февраля, все почитатели Достоевского, занятые в течение недели, воспользовались праздничным днем, чтобы пойти в церковь и помолиться за упокой его души. С раннего утра огромная толпа заполнила мирную Александро-Невскую лавру, расположенную на берегу Невы и представляющую собой маленький городок с многочисленными церквами, тремя кладбищами, садами, духовной семинарией и академией. Бедные монахи, увидев, как растет толпа, как заполняет она сады и кладбища, как взбирается на памятники и решетки, перепугались и позвали на помощь полицию, которая немедленно закрыла ворота. Пришедшие позднее остановились на большой площади, расположенной перед монастырем, и оставались там до окончания отпевания, в надежде тем или иным способом проникнуть за ограду или, по крайней мере, услышать церковное пение, когда гроб понесут на кладбище. В девять часов утра мы подъехали в экипаже к главным воротам и были очень удивлены, найдя их закрытыми. Моя мать в трауре вышла из экипажа, держа нас за руки. Полицейский офицер преградил нам путь.

— Больше не пропускают! — заявил он строго.

— Как это не пропускают? — спросила удивленно моя мать. — Я вдова Достоевского и меня ждут в церкви, чтобы начать отпевание.

— Вы — шестая вдова Достоевского, требующая, чтобы ее пропустили. Довольно лжи! Я никого больше не пропущу! — ответил в ярости полицейский.

Мы в замешательстве оглядывались и не знали, что делать. К счастью, нашего прибытия ожидали друзья, они бросились к нам и провели нас. С большим трудом нам удалось пробраться через толпу, заполнившую монастырь, и с еще большим трудом проникнуть в церковь, битком набитую людьми. Когда мы, наконец, пробрались к месту, оставленному для нас, началось отпева-

ние, которое было прекрасным. Пел митрополичий хор; служили архиепископы. Потом на кладбище пришла очередь писателей; речи, произносимые согласно обычаю у еще открытой могилы, длились несколько часов. Полностью сбылось предсказание моей матери — никогда еще Петербург не видел подобных похорон *.

И все же была пропущена важная часть православного отпевания. В России гроб на протяжении всего обряда остается открытым; в конце его к нему приближаются родные и друзья и прощаются с покойным, целуя его. Гроб Достоевского оставался закрытым. В день похорон дядя Иван рано утром отправился в монастырь в сопровождении Победоносцева, только что назначенного нашим опекуном. Они открыли гроб и нашли Достоевского сильно изменившимся. Был уже четвертый день после смерти; друзья отца, несшие накануне его гроб, ускорили, из-за тряски, процесс разложения, начавшийся и без того раньше времени из-за страшной жары в первые два дня в комнате покойного. Опасаясь, что изменившееся лицо покойного произведет тяжелое впечатление на вдову Достоевского и его детей, Победоносцев запретил монахам открывать гроб. Моя мать никогда не смогла простить ему этот запрет. «Что из того, что я увидела бы его изменившимся? — говорила она с горечью.— Ведь он всегда был моим дорогим, дорогим мужем! И он ушел в могилу без моего прощального поцелуя, без моего благословения!»

Я же позднее была глубоко благодарна моему опекуну за то, что он избавил меня от печального зрелища. Я предпочитала сохранить в своей памяти отца таким, каким он мирно спал в гробу, тихо улыбаясь чему-то прекрасному, увиденному им. И все же, может быть, для меня было бы лучше увидеть его разложившееся тело, услышать запах гниения. Эта печальная действительность убила бы, наверное, странную мечту, овладевшую мной на следующий день после похорон, сначала доставившую мне большую радость, а потом причинившую много горя. Я грезила, что мой отец не умер, что он погребен живым в состоянии летаргического сна, что скоро он проснется в своей могиле, будет звать на помощь кладбищенских сторожей и вернется домой. Я воображала нашу радость, наш смех, поцелуи, ласковые слова, которые скажем друг другу. Недаром я была дочерью писателя; потребность придумывать сцены, жесты, слова жила во мне, и это детское творчество давало мне много радости. Но по мере того, как проходили дни, недели, все более пробуждался разум в моем детском мозгу и разрушал мои иллюзии, говоря мне, что люди не могут долго оставаться под землей без воздуха и без пищи; что летаргический сон отца чрезмерно затянулся и что, возможно, он действительно умер. Тогда я стала ужасно страдать...

И все же я была права! Моя детская мечта не обманула меня: отец не умер. Он пришел ко мне позднее, когда я выросла

* Я считаю, что сам Достоевский предсказал некоторые детали своей смерти и похорон, описывая смерть старца Зосимы в «Братьях Карамазовых».

и начала изучать его произведения. Он вернулся и не оставлял меня больше, в минуты горя, забот, он был так близко, что мне казалось, я могу дотронуться до него рукой. Благодаря его дорогому присутствию я никогда в жизни не испытывала страха. Я знала, что отец охраняет меня, что он является моим заступником перед Богом, и Господь не сможет ему ни в чем отказать. Я часто думала об отце, когда писала эту книгу; я просила его руководить мною в моем деле, вдохновлять, особенно же помешать мне написать то, что могло бы ему не понравиться. Я надеюсь, что он услышал мою молитву...

ПРИМЕЧАНИЯ

Находясь после октября 1917 года за границей, дочь писателя, Любовь Федоровна Достоевская, пишет на французском языке книгу «Достоевский в изображении своей дочери». С французской рукописи в 1920—1921 гг. эта книга выходит в переводе на различных европейских языках[1]. Первой вышла книга Л. Ф. Достоевской на немецком языке в 1920 году в мюнхенском издательстве Эрнста Рейнгардта в переводе Г. О. Кнооп, одобренном автором. В русском переводе под редакцией А. Г. Горнфельда эта книга вышла в Госиздате (Москва — Петроград) в 1922 году в сильно сокращенном (больше чем наполовину) виде. С тех пор, вот уже семьдесят лет, книга Л. Ф. Достоевской так и не появлялась на русском языке в полном виде[2], хотя главы, не вошедшие в русское издание, представляют несомненный историко-литературный интерес[3]. Настоящее издание, представляющее перевод с немецкого издания 1920 года, является, таким образом, первым полным русским изданием книги Л. Ф. Достоевской «Достоевский в изображении своей дочери» и первым научно-комментированным изданием.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ*

Волоцкой — М. В. Волоцкой. Хроника рода Достоевского (1506—1933). М., 1933.

Достоевский А. М. — А. М. Достоевский. Воспоминания/Вступ. ст., ред. и примеч. А. А. Достоевского. — Л., 1930.

Достоевский Ф. М. — Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений в тридцати томах. — Л., 1972—1990.

Иванов А. И. Л. Ф. Достоевская. — А. И. Иванов. Л. Ф. Достоевская: Воспоминания об отце//Записки Русской академической группы в США, т. XIV. New York, 1981. С. 324—356.

---

[1] На французском языке книга дочери писателя вышла в Париже в 1926 г. с предисловием Андрэ Суареца.

[2] Лишь несколько новых отрывков из нее были опубликованы С. В. Беловым в переводе Е. С. Кибардиной в 86 томе «Литературного наследства» «Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования» (М., 1973. С. 291—308), в книге С. В. Белова «Жена писателя. Последняя любовь Ф. М. Достоевского» (М., 1986) и в журнале «Сибирские огни», 1987, № 12. С. 165—170.

[3] См. обзор этих глав, сделанный А. И. Ивановым в «Записках Русской академической группы в США», т. XIV. New York, 1981. С. 324—356.

* Применяются во всем научном аппарате настоящего издания, кроме вступительной статьи.

[1] «Воспоминания» второй жены писателя Анны Григорьевны Достоевской (1846—1918) (см. о ней: Белов С. В. Жена писателя. Последняя любовь Ф. М. Достоевского. — М., 1986) впервые вышли в 1925 году, а затем выходили дополненными изданиями в 1971, 1981 и 1987 гг.

[2] Это неверно. Племянник писателя, сын его младшего брата А. М. Достоевского, в примечаниях к первому изданию «Воспоминаний» своего отца (Л., 1930) приводит справку, предоставленную ему знатоком генеалогии Достоевского Н. П. Чулковым: «Родоначальником Достоевских является Данило (Данилей) Иванович Иртищ (Ртищевич, Иртищевич, Артищевич — так пишется его фамильное прозвище в разных документах), боярин Пинского князя Федора Ивановича Ярославича. Отец этого князя Иван Васильевич бежал в Литву в княжение Василия Темного в 1456 г. Боярин князя Федора Ивановича Иртищ или Ртищевич — вряд ли был местного, т. е. белорусского происхождения. Напротив, целый ряд исторических документов и фактов наводят на мысль о происхождении Иртищевича от великорусского рода Ртищевых. 6 октября 1506 г. князь Пинский Федор Иванович Ярославич пожаловал своему боярину Даниле Ивановичу Иртищевичу несколько имений, в том числе «Достоев», расположенный к северо-востоку от Пинска, между реками Пиной и Яцольдой, на границе бывшего Кобринского уезда. Данило Иванович имел двух сыновей — Ивана и Семена Даниловичей, землян пинских. Семен встречается еще со старым фамильным прозвищем Артищевич, а **Иван** — уже с новым, по имению, **Достоевский**. У Ивана Даниловича было четыре сына, от которых пошли отдельные ветви Достоевских. Третий сын, Стефан Иванович, сохраняя связь с Пинском, имел владения в Минском повете. И хотя он перешел в католичество, но всегда подписывался «письмом русским». Ему даже был отдан в управление в 1577 году Минский Вознесенский православный монастырь. В XVII в. Достоевские подписывались также по-русски рядом с польскими подписями своих земляков. Второй сын Ивана Даниловича, Федор Иванович Достоевский, связал свою судьбу со знаменитым московским эмигрантом князем А. М. Курбским, с которым и поселился на Волыни. Курбский в одном акте называет его своим приятелем и уполномоченным. Потомство Федора Ивановича Достоевского утвердилось на Волыни, и надо полагать, что ближайшие предки писателя Федора Михайловича Достоевского, православные и жившие в Подолии, по соседству с Волынью, принадлежат именно к этой ветви. Источником для справки о происхождении Достоевских послужили частью неопубликованные еще документы Литовской метрики, частью опубликованные уже в разных изданиях дела Киевского и Виленского архивов» (**Достоевский А. М.**, 409—410). Дополнительные разыскания по генеалогии рода Достоевского провел И. Волгин в работе «Родиться в России. Достоевский и современники: жизнь в документах»//Октябрь, 1989, № 3. С. 3—24. См. также: **Волоцкой**, 12—46.

[3] Здесь Л. Ф. Достоевская, как отмечает А. И. Иванов, прямо переписывает с книги В. Видунаса (Вилюса Сторосты) «Литва в прошлом и настоящем» (о ней она упоминает в дальнейшем), вышедшей в Женеве в 1918 г. (см.: **Иванов А. И. Л. Ф. Достоевская**, 336). На самом деле, славянские племена — кривичи (белорусы) заселяли ту местность, откуда вышел род Достоевского. В десятом веке эта территория входила в Киевскую Русь и Полоцк построили славяне.

[4] Рюрик, согласно летописи, начальник варяжского военного отряда, призванный ильменскими славянами вместе с братьями Синеусом и Трувором княжить в Новгород; основатель династии Рюриковичей.

[5] Романовы, боярский род в России XIV—XVI вв., потомки Андрея Кобылы, до начала XVI в. именовались Кошкиными, до конца XVI в. Захарьиными, с 1613 г. — царская, с 1721 г. — императорская династия.

[6] Гедимин (Гедиминас) (?—1341), великий князь литовский с 1316 г., нанес ряд поражений немецким рыцарям, в союзе с Тверью выступил против объединительной политики Москвы. Внук Гедимина Ягелло стал основателем польской королевской династии Ягеллов. На Руси княжеская ветвь Гедиминовичей — вторая по знатности после Рюриковичей.

[7] М. Волоцкой отмечает, что «потомки Данилы Иртищевича по мужской линии именуются уже Достоевскими, по селу Достоеву, находящемуся в их владении. Таким образом 1506 г., когда Иртищевичи получили часть села Достоева, можно считать исходной датой возникновения фамилии Достоевских. Следует, впрочем, добавить, что фамилия «Достоевские» утвердилась за потомками Данилы Иртищевича не сразу, и сыновья его Семен и Иван именуются иногда Достоевскими, иногда же Данилевичами, по имени своего отца...» (**Волоцкой,** 25).

Село Достоев, а точнее Достоево, находилось в Поречской волости Пинского уезда Минской губернии. В настоящее время входит в Ивановский район Брестской области. В 1968 г. при местной школе был создан Музей Ф. М. Достоевского. И. Шпадарук высказал предположение, что село получило название в честь приближенных князя, которых называли «достойниками», то есть людьми, достойными князя (см.: Шпадарук И. Есть такое село...//Знание — сила, 1977. № 4. С. 48).

[8] Это была созданная А. Г. Достоевской комната Ф. М. Достоевского при Московском историческом музее, ставшая в 1920-е годы основой Музея-квартиры Достоевского в Москве.

[9] С. Любимов в работе «Ф. Достоевский (к вопросу о его происхождении)» указывает совсем обратное: «Когда-то, в XVI и XVII столетии, стойкие борцы за православие и русскую национальность в борьбе с католичеством и польской культурой, представители рода Достоевских часто упоминаются в разных актах и документах, касающихся южной России. Подобно представителям многих других дворянских фамилий юго-западной России, Достоевские добровольно принимали священнический сан и вступали в монашество ⟨...⟩ В результате Достоевские, как большинство южно-русских дворянских родов, не устояли в борьбе с более высокой культурой, — не приняв католичество, они были вытеснены из рядов полонизированного дворянства в духовное сословие...» (Литературная мысль, 1922, кн. 1. С. 210).

[10] В конце XVIII века дед писателя Андрей (Михайлович?) Достоевский служил протоиереем униатской церкви в городе Броцлаве Подольской губернии (**Волоцкой,** 42).

[11] Более подробные сведения об отце писателя Михаиле Андреевиче Достоевском (1789—1839) см.: **Достоевский А. М.**; Нечаева В. С. В семье и усадьбе Достоевских (Письма М. А. и М. Ф. Достоевских). М., 1939; Волгин И. Родиться в России. Достоевский и современники: жизнь в документах//Октябрь, 1989. № 3. С. 25—34; Нечаева В. С. Ранний Достоевский: 1821—1849. М., 1979;

Федоров Г. А. «Помещик. Отца убили...», или история одной судьбы//Новый мир, 1988. № 10. С. 219—238.

[12] В этом сообщении о Стефане Достоевском многое неверно. Известен только один Стефан Иванович Достоевский, землевладелец и католик, получивший в 1577 г. от короля Стефана Батория грамоту на Минский Вознесенский православный монастырь (см. **Волоцкой,** 28—29).

[13] М. В. Волоцкой отмечает, что эта «буколическая поэма» неизвестна, а сохранилось лишь другое стихотворение, напечатанное в 1790 г., являющееся также акростихом, из первых букв которого слагается слово «Достоевский» (не «Андрей Достоевский», как пишет Л. Ф. Достоевская) (**Волоцкой,** 45). Приведя текст — этот акростих, Волоцкой сообщает о письме к нему сына младшего брата писателя А. М. Достоевского, А. А. Достоевского, указавшего, что его отец предполагал его автором своего деда Андрея Достоевского (**Волоцкой,** 46—47).

[14] Подробнее о матери писателя Марии Федоровне Достоевской (1800—1837) см. в кн.: **Достоевский А. М.**

[15] Ныне здесь, на улице Достоевского в Москве, Музей-квартира Ф. М. Достоевского. Это был флигель больницы.

[16] Подробное описание Дарового и отражение этого имения родителей писателя в его творчестве см. в статье В. С. Нечаевой Из литературы о Достоевском: (Поездка в Даровое)//Новый мир, 1926. № 3. С. 128—144.

[17] Точнее Сушард. Сюшард (Драшусов) Николай Иванович войдет в роман «Подросток» под фамилией Тушар. Г. Федоров, посвятивший ему специальную работу «Драшусовы и «Пансионишко Тушара», справедливо пишет: «При создании произведений Достоевский привлекает свое, передает лично пережитое героем лишь в том случае, если факт из его жизни имеет идеологическую связь с произведением. И на примере с «Пансионишком Тушара» видим, как биографическая реалия обобщается до символа, исключающего частные черты факта и тем самым снимающего автобиографическое. Но при этом Достоевский своеобычно в законченном произведении сохраняет **след факта**, стоящего у истока образа. Иногда оставляет подлинное имя прототипа, чаще маскирует его (Сушард — Тушар), отмечает топографические приметы... В портрете Тушара несомненны реальные черты Н. И. Драшусова. Во всяком случае Достоевскому важно отметить его возраст «лет сорок пять», — именно столько было Н. И., когда он появился у Достоевских; его службу «на штатном месте» — Драшусов служил в женских институтах; чин, «которым чрезвычайно гордился», к этому времени он титулярный советник» (Лит. газ., 1974, 17 июля, № 29).

[18] Ф. М. Достоевский говорил младшему брату А. М. Достоевскому о своих родителях: «Да знаешь ли, брат, ведь это были передовые... и в настоящую минуту они были бы передовыми!.. А уж такими семьянинами, такими отцами... нам с тобою не быть, брат!..» (**Достоевский А. М.,** 94).

[19] Поэма Вольтера.

[20] Речь идет о воспоминаниях Николая Николаевича Страхова (1828—1896), опубликованных в книге: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений, т. 1. Биография, письма и заметки из записной книжки. Спб., 1883.

[21] В. С. Нечаева справедливо отмечает, что «атмосфера пансиона Чермака способствовала их любви к книге, так как там они встретили юношей, несомненно начитанных, одаренных и в дальнейшем выдвинувшихся научной деятельностью» (Нечаева В. С. Ранний Достоевский: 1821—1849. М., 1979. С. 45).

Учившийся вместе с братьями Достоевскими А. Д. Шумахер вспоминал о пансионе Леонтия Ивановича Чермака: «По окончании домашнего учения, под руководством отца, я поступил в средние классы одного из лучших в то время в Москве частных пансионов с полным гимназическим курсом и даже обоими древними языками, именно в пансион, содержавшийся чехом Чермаком. Там я имел сверстниками несколько воспитанников, получивших впоследствии более или менее громкую известность» (Шумахер А. Д. Поздние воспоминания о давно минувших временах//Вестник Европы, 1899, № 3. С. 94). Сын известного московского профессора М. Т. Каченовского В. М. Каченовский, учившийся вместе с будущим писателем в пансионе Чермака, отмечал в своих воспоминаниях: «В то время Федор Михайлович был вместе с братом уже в старших классах; это был серьезный, задумчивый мальчик, белокурый с бледным лицом. Его мало занимали игры: во время рекреаций он не оставлял почти книг, правда, остальную часть свободного времени проводил в разговорах со старшими воспитанниками пансиона А. М. Ломовским, Ф. и А. Мюльгаузенами, Д. и А. Шумахерами и П. Перевощиковым» (Московские ведомости, 1881, 31 января). (Подробнее о пребывании Ф. М. Достоевского в пансионе Чермака см.: Федоров Г. А. Пансион Л. И. Чермака//Достоевский и его время. Л., 1971. С. 241—254).

[22] Как показали многочисленные статьи и публикации 1970—1980-х годов московского исследователя Г. А. Федорова, это неверно.

[23] Все это, как и дальнейший рассказ о М. А. Достоевском, как убедительно показал в своих «Воспоминаниях» А. М. Достоевский, неверно (см.: **Достоевский А. М.**).

[24] Ф. М. Достоевский уехал в Петербург после смерти матери, а в Москву приехал уже после смерти и отца.

[25] Имеется в виду статья «Одна из современных фальшей» («Дневник писателя» за 1873 год), где Достоевский сделал признание: «Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец» (**Достоевский Ф. М.**, т. 21. С. 134).

[26] По признанию А. М. Достоевского, «История государства Российского» была настольной книгой Достоевского, ее он всегда читал, когда не было «чего-либо новенького» (**Достоевский А. М.**, 69). За полгода до смерти, в письме к Н. Л. Озмидову от 18 августа 1880 года, на вопрос о том, что давать читать его дочери, Ф. М. Достоевский ответил: «Впечатления же прекрасного именно необходимы в детстве... Хорошо прочесть всю историю Шлоссера и русскую Соловьева. Хорошо не обойти Карамзина...» (**Достоевский Ф. М.**, т. 30, кн. 1. С. 212). (См. подробнее: Белов С. В. Достоевский и Карамзин//Москва, 1988, № 5. С. 136—140).

[27] Вторая жена писателя, А. Г. Достоевская, указывает, что «из всех своих родных Федор Михайлович особенно любил сестру, Веру Михайловну Иванову, и всю ее семью» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1987. С. 147). Особенно ценил писатель за светлый ум и чистоту сердца дочь Веры Михайловны Софью Александровну Иванову (в замужестве Хмырову), посвятив ей роман «Идиот» и назвав в честь ее свою первую дочь. Однако последние дни жизни Ф. М. Достоевского были омрачены ссорой с В. М. Ивановой. По свидетельству дочери писателя Л. Ф. Достоевской (см. далее текст) и по рассказу самой А. Г. Достоевской в ее письме к Н. Н. Страхову от 21 октября 1883 г. (опубликовано в кн. Л. П. Гроссмана «Жизнь и труды Ф. М. Достоевского». М.; Л., 1935),

между Достоевским и его сестрой произошел бурный разговор о наследстве их тетки А. Ф. Куманиной, явившийся главной причиной, ускорившей смерть писателя. См. также: «...Я тебя люблю...» (Ф. М. Достоевский в неизданной записной книжке А. Г. Достоевской)/Публ. С. В. Белова//Волга, 1988, № 9. С. 168—176).

[28] Это была надпись из «Эпитафий» Карамзина: «Покойся, милый прах, до радостного утра...».

[29] М. Волоцкой приводит воспоминания П. Прозорова «Белинский и Московский университет в его время» из журнала «Библиотека для чтения», 1859, № 12, назвавшего «защитником студенческим» Василия Михайловича Котельницкого (1769—1844) после следующего эпизода: «Студенты-стипендиаты выразили свое недовольство казенной университетской столовой и решили объявить ей бойкот. Пришедшему для объяснений ректору один из студентов открыто выразил свой протест, в очень независимом тоне. До крайности раздраженный ректор приказывает отдать выступавшего в солдаты и затем обращается к другому студенту, «которого счастливая физиономия с первого взгляда располагала в его пользу». Но и от него последовал тот же ответ, что «пища не хороша».— «У него и лицо-то не такое, чтобы не пойти обедать»,— произнес тогда присутствовавший при этой сцене В. М. Котельницкий, по-видимому, с желанием как-нибудь разрядить сгустившуюся атмосферу. «Эх, братцы! — продолжал он. — Всякое даяние благо и всяк дар совершен». — «Я пришел вас защищать», — говорил он студентам тихо. «За этот дар мы должны заплатить казне шестью годами службы», — возражали студенты» (**Волоцкой**, 85—86).

Никаких данных об украинском происхождении бабки писателя со стороны матери нет.

[30] Это была пастель художника Попова, 1823 г. Фотографии с нее см. в кн.: **Достоевский А. М., Волоцкой.**

[31] Достоевский вкладывает в биографию старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» одно свое драгоценное воспоминание, вынесенное писателем «из дома родительского»: «Но и до того еще как читать научился, помню, как в первый раз посетило меня некоторое проникновение духовное, еще восьми лет от роду. Повела матушка меня одного (не помню, где был тогда брат) во храм господень, в страстную неделю в понедельник к обедне. День был ясный, и я, вспоминая теперь, точно вижу вновь, как возносился из кадила фимиам и тихо восходил вверх, а сверху в куполе, в узенькое окошечко, так и льются на нас в церковь божьи лучи, и, восходя к ним волнами, как бы таял в них фимиам. Смотрел я умиленно и в первый раз от роду принял я тогда в душу первое семя слова божия осмысленно. Вышел на средину храма отрок с большою книгой, такою большою, что, показалось мне тогда, с трудом даже и нес ее, и возложил на налой, отверз и начал читать, и вдруг я тогда в первый раз нечто понял, в первый раз в жизни понял, что во храме божием читают» (**Достоевский Ф. М.**, т. 14. С. 264).

[32] Михаил Михайлович Достоевский (1820—1864) из всех братьев и сестер был самым близким духовно писателю. После смерти брата Ф. М. Достоевский принял на себя добровольное обязательство рассчитаться с его долгами по издаваемому им журналу «Эпоха» (тридцать три тысячи долга). (См. об этом в кн. В. С. Нечаевой «Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». М., 1975).

[33] «Воспоминания» А. М. Достоевского, вышедшие отдельной книгой в 1930 году, были частично опубликованы в кн.: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений, т. 1. Биография, письма и заметки из записной книжки. Спб., 1883.

[34] Из «Дневника писателя» за 1876 г. (См.: **Достоевский Ф. М.**, т. 22. С. 27).

[35] Генерал-лейтенант Иван Григорьевич Кривопишин (1796—1867) был вице-директором инспекторского департамента Военного министерства. Как указывает А. М. Достоевский, «никогда Достоевские не состояли в родстве с Кривопишиными и отец наш не только не был в родстве, но даже и не знал о существовании Кривопишина», а знакомство братьев Михаила и Федора Достоевских с ним произошло через мужа их сестры Варвары П. А. Карепина (см.: **Достоевский А. М.**, 134—135).

[36] Слова героя «Записок из подполья», несправедливо отнесенные Л. Ф. Достоевской к высказываниям самого писателя о своих товарищах по учебе в Инженерном замке.

[37] Воспоминания Александра Ивановича Савельева (1816—1907) были опубликованы в разных вариантах в кн.: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений, т. 1. Биография, письма и заметки из записной книжки. Спб., 1883. С. 35—38, 42—45 и в журнале «Русская старина», 1918, № 1—2. С. 13—20.

[38] Ф. М. Достоевский и Д. В. Григорович жили на одной квартире в 1844—1845 гг. Григорович был непосредственным «виновником» и свидетелем триумфа первого произведения Ф. М. Достоевского «Бедные люди», о чем он сам рассказал в «Дневнике писателя» за 1877 год, а Д. В. Григорович в главе о Достоевском в своих «Литературных воспоминаниях» (М., 1961). Однако после каторги и ссылки первоначальные дружеские отношения сменились охлаждением, а в конце 1870-х гг. и неприязнью. Возможно, разрыву дружеских отношений способствовало появление в журнале Ф. М. Достоевского «Эпоха» в 1864 году статьи А. П. Григорьева «Отживающие в литературе явления» с очень резкой критикой творчества Григоровича.

[39] Однако гораздо ближе Достоевский сблизился в Инженерном училище с Иваном Игнатьевичем Бережецким (1820—?). Современник их сообщает: «Помню, как Ф. М. Достоевский и Бережецкий увлекались совместным чтением, если не ошибаюсь, Шиллера. Бывало, читают и вдруг заспорят и затем скоро, скоро пойдут через все наши камеры и спальни, один впереди, как бы убегая, чтобы не слышать возражений другого, что делал обыкновенно Бережецкий, а его преследовал Достоевский, желая доказать ему свои мысли» (Хлебников К. Д. Записки//Русский архив, 1907, кн. 1, вып. 3. С. 381).

В свой первый приезд в Петербург весной 1837 года Ф. М. Достоевский знакомится с чиновником Министерства финансов, поэтом Иваном Николаевичем Шидловским (1816—1872). (Л. Ф. Достоевская ошибочно считает его соучеником писателя по пансиону Чермака). Во время учебы в Инженерном училище Ф. М. Достоевский находился под сильным влиянием Шидловского, который пишет туманно-мистические стихи, страдает от возвышенной любви, вдохновенно говорит о царствии Божием и сладостно мечтает о самоубийстве. Ф. М. Достоевский восторженно рассказывает о Шидловском в письме к старшему брату Михаилу: «Взглянуть на него: это мученик! Он иссох; щеки впали; влажные глаза его были сухи и пламенны; духовная красота его лица возвысилась с упадком физической... Часто мы с ним просиживали целые вечера,

толкуя Бог знает о чем! О, какая откровенная чистая душа! У меня льются теперь слезы, как вспомню прошедшее... Знакомство с Шидловским подарило меня столькими часами лучшей жизни... Я имел у себя товарища, одно созданье, которое так любил я!»

Недолго прослужив чиновником в Петербурге, Шидловский вскоре уехал к себе на родину, в Харьковскую губернию, и там готовил большое исследование по истории русской церкви. Небезынтересно отметить, что Ордынов — герой ранней повести Достоевского «Хозяйка», возможно, отчасти психологический портрет Шидловского, тоже пишет работу по истории церкви. В 1850-х годах Шидловский поступает послушником в Валуйский монастырь, затем предпринимает паломничество в Киев, снова возвращается домой, в деревню, где и живет до самой кончины, не снимая одежды инока-послушника.

Достоевский всю жизнь хранил нежные воспоминания о друге своей юности. Критик Вс. С. Соловьев вспоминает, что, когда он попросил Достоевского в 1873 году сообщить некоторые биографические сведения для статьи о нем, писатель ответил: «Непременно упомяните в вашей статье о Шидловском, нужды нет, что его никто не знает и что он не оставил после себя литературного имени. Ради Бога, голубчик, упомяните — это был большой для меня человек, и стоит он того, чтоб его имя не пропало» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. 2. М., 1964. С. 191). В сознании Достоевского навсегда запечатлелся образ русского романтика Шидловского, хотя он и не идеализировал излишний отрыв его от действительности: Ордынов в «Хозяйке» начинает линию романтических героев Достоевского, а Дмитрий Карамазов, декламирующий Шиллера, замыкает ее. (О дружбе Достоевского и Шидловского см. в кн.: Алексеев М. П. Ранний друг Достоевского. Одесса, 1921).

[40] Все письма Ф. М. Достоевского опубликованы в кн.: **Достоевский Ф. М.**

[41] Л. Ф. Достоевская сознательно нагнетает «отрицательные» черты М. А. Достоевского, переосмысляя его облик в худшую сторону, в связи с последующим убийством его крепостными крестьянами.

[42] На самом деле, никакого разлада не было и Достоевский понимал, что если отец посылал ему мало денег, то только по одной причине: у него у самого их было немного.

[43] 18 июня 1975 года в «Литературной газете» появилась статья Г. А. Федорова «Домыслы и логика фактов», в которой он показал на основе найденных им архивных документов, что Михаил Андреевич Достоевский не был убит крестьянами, а умер в поле между Даровым и Черемошней своей смертью от «апоплексического удара». Архивные документы о смерти М. А. Достоевского свидетельствуют о том, что естественный характер смерти был зафиксирован двумя врачами независимо друг от друга — Шенроком из Зарайска. Рязанской губернии, и Шенкнехтом из Каширы, Тульской губернии. Под давлением П. П. Хотяинцева, выразившего сомнения в факте естественной смерти М. А. Достоевского, через некоторое время к властям обратился отставной ротмистр А. И. Лейбрехт. Но и дополнительное следствие подтвердило первоначальное заключение врачей и кончилось «внушением» Лейбрехту. Тогда появилась версия о взятках, «замазавших» дело, причем подкупать надо было много разных инстанций в двух губерниях. А. М. Достоевский в своих воспоминаниях считает невозможным, чтобы нищие крестьяне или беспомощные наследники могли повлиять на ход следствия. Таким образом, остался единственный аргумент в пользу версии о сокрытии убийства: приговор виновным мужикам повлек бы

за собой их ссылку в Сибирь, что явно сказалось бы отрицательно на и без того уже бедном хозяйстве Достоевских, — поэтому наследники и предпочли замять дело. Однако и это неверно. Никто дела не заминал, оно проходило все многочисленные инстанции, включая даже очную ставку между Хотяинцевым и Лейбрехтом. Слухи же о расправе крестьян распространил соседний помещик Хотяинцев, с которым у отца Ф. М. Достоевского была земельная тяжба. Он решил запугать мужиков, чтобы они были ему покорны, так как некоторые дворы крестьян Хотяинцева помещались в самом Даровом. Он шантажирует бабку писателя, приезжавшую узнать о причинах случившегося. А. М. Достоевский указывает в своих воспоминаниях, что Хотяинцев и его жена «не советовали возбуждать дела». Вероятно, отсюда и пошел слух в семействе Достоевских о том, что со смертью Михаила Андреевича не все обстояло чисто. (См. подробнее: Федоров Г. А. «Помещик. Отца убили...», или история одной судьбы//Новый мир, 1988, № 10. С. 219—238. См. также: Кирпотин В. Я. Опровергнутая версия//Кирпотин В. Я. Мир Достоевского: Статьи. Исследования. Изд. 2-е, доп. М., 1983. С. 448—455).

Открытие Г. А. Федорова важно и с нравственной точки зрения. Известие о насильственной смерти потрясло будущего писателя. Ведь совсем недавно умерла мать. Он вспомнил, как она любила отца настоящей, горячей и глубокой любовью, вспомнил, как бесконечно любил ее отец, вспомнил свое безмятежное детство, отца, привившего ему любовь к литературе, ко всему высокому и прекрасному. Нет, в насильственную смерть отца Ф. М. Достоевский так и не мог поверить до конца дней, никогда не мог примириться с этой мыслью, ибо известие о расправе над отцом — жестоким крепостником — противоречило тому образу отца — гуманного и просвещенного человека (таким он и предстает, кстати, в «Воспоминаниях» младшего брата писателя А. М. Достоевского), который Ф. М. Достоевский навсегда сохранил в своем сердце. Вот почему в его последнем романе «Братья Карамазовы» «лишь драгоценные воспоминания» «из дома родительского вынес» старец Зосима, а Алеша Карамазов также вдохновенно говорит о «прекрасном, святом воспоминании» с детства, как «самом лучшем воспитании», вот почему в 1876 году в письме к брату Андрею Ф. М. Достоевский так высоко отозвался о родителях, а мужу сестры Варвары Карепину он писал: «Будьте уверены, что я чту память моих родителей не хуже, чем вы ваших».

Таким образом, писатель не ошибся в том образе своего отца, который он вынес из детства и навсегда сохранил его. (См. также: Федоров Г. Сельцо Даровое//За новую жизнь, Зарайск, 1981, 10, 12, 19, 21, 26 ноября).

[44] После смерти писателя его младший брат А. М. Достоевский выступил с сообщением, что эпилепсию (падучую) писатель приобрел в Сибири (см.: «Новое время», 1881, 8 февраля, № 1778).

[45] Из письма Достоевского к М. М. Достоевскому от 31 октября 1838 г. (см.: **Достоевский Ф. М.**, т. 28, кн. 1. С. 55).

[45a] Неверно. О насильственной смерти отца пишет в своих воспоминаниях А. М. Достоевский.

[46] Это предположение Л. Ф. Достоевской дало толчок появлению целого ряда фрейдистских работ, ложно и тенденциозно обыгрывающих этот факт мнимого сходства отца писателя и старика Карамазова (см., например, книгу И. Нейфельда «Достоевский. Психоаналитический очерк». Л., 1925, вышедшую, кстати, под редакцией знаменитого психиатра З. Фрейда, и, наконец, сенсацион-

ную статью «Dostojewski und die Vatertotung» (в кн.: «Die Urgestalt der Brüder Karamazoff». München, 1928) самого Зигмунда Фрейда, доказывающего, что Достоевский сам желал смерти своего отца (!).

Русский литературный критик-эмигрант В. Вейдле справедливо замечает по этому поводу в своей книге «Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества» (Париж, 1937): «Фрейд сказал ясно: «У нас нет другого способа побороть наши инстинкты, кроме нашего рассудка», какое же место остается тут для такой противорассудочной вещи, как преображение? Однако без преображения искусства нет, и его не создать одними инстинктами или рассудком. Потемки инстинкта и рассудочное «просвещение», только это видел и Толстой, когда писал «Власть тьмы», но художественный его гений подсказал ему все же под конец неразумное, хоть и не инстинктивное покаяние Никиты. Искусство живет в мире совести, скорее, чем сознание; этот мир для психоанализа закрыт. Психоанализ только и знает, что охотиться за инстинктами, нащупывать во тьме подсознания все тот же универсальный механизм... В одной из недавних своих работ Фрейд не только приписал Достоевскому желание отцеубийства, осуществленное через посредство Смердякова и Ивана Карамазова, но и земной поклон старца Зосимы... объяснил, как бессознательный обман, как злобу, прикинувшуюся смирением. Из этих двух «разоблачений» первое, во всяком случае, не объясняет ничего в замыслах Достоевского, как художника, второе обличает полное непонимание поступка и всего образа старца Зосимы. Психоанализ бессилен против „Братьев Карамазовых".

К этому абсолютно верному замечанию В. Вейдле можно лишь добавить, что психоанализ бессилен, вообще, против христианского духа, против христианского искусства, каким является все искусство Достоевского.

Здесь необходимо также привести слова из письма Достоевского к своему младшему брату Андрею Михайловичу от 10 марта 1876 года, написанные им под впечатлением встречи с его семьей: «...Я, голубчик брат, хотел бы тебе высказать, что с чрезвычайно радостным чувством смотрю на твою семью. Тебе одному, кажется, досталось с честью вести род наш: твое семейство примерное и образованное, а на детей твоих смотришь с отрадным чувством. По крайней мере, семья твоя не выражает ординарного вида каждой среды и средины, а все члены ее имеют благородный вид выдающихся **лучших людей.** Заметь себе и проникнись тем, брат Андрей Михайлович, что идея непременного и высшего стремления **в лучшие люди** (в буквальном, самом **высшем** смысле слова) была основною идеей и отца и матери наших, несмотря на все уклонения. Ты эту самую идею в созданной тобою семье твоей выражаешь наиболее из всех Достоевских. Повторяю, вся семья твоя произвела на меня такое впечатление». (**Достоевский Ф. М.**, т. 29, кн. 2. С. 76).

[47] Исследователи, наоборот, уже давно отметили антикатолический характер «Легенды о Великом Инквизиторе» (см.: Евнин Ф. Достоевский и воинствующий католицизм 1860—1870-х годов: (К генезису «Легенды о Великом Инквизиторе»)//Русская литература, 1967, № 1. С. 29—42).

[48] М. С. Альтман высказал предположение, что в образе Федора Павловича Карамазова Достоевский запечатлел черты Дмитрия Николаевича Философова, тестя известной общественной деятельницы Анны Павловны Философовой, с которой писатель был хорошо знаком (см.: Альтман М. С. Еще об одном прото-

типе Федора Павловича Карамазова)//Вопросы литературы, 1970, № 3. С. 252—254.

[49] М. М. Достоевский не был алкоголиком, как, впрочем, не был и сам его отец М. А. Достоевский.

[50] Это неверно. Скорее всего, Достоевский приобрел эпилепсию на каторге под влиянием нервного потрясения от всего увиденного и пережитого.

[51] Все сказанное Л. Ф. Достоевской насчет скупости Варвары Михайловны основывается на заметке по поводу ее убийства «Жертва скупости», опубликованной 22 января 1893 г. в газете «Московский листок», № 22. Через несколько дней в № 28 «Московского листка» брат Варвары Михайловны Андрей Михайлович счел своим долгом написать, что «расчетливость и даже кажущаяся скупость допускались ею только относительно самой себя, ко всем же близким она была — вся доброта, вся щедрость». Сам же писатель писал 28 ноября 1880 г. Андрею Михайловичу: «К 4-му декабря хочу написать сестре Варваре Михайловне. Я ее люблю: она славная сестра и чудесный человек».

[52] Речь идет об Александре Петровиче Карепине. Племянник писателя А. А. Достоевский замечает по этому поводу: «Про А. П. Карепина Л. Ф. Достоевская пишет, что он был глуп до идиотизма. А. П. Карепин, действительно, страдал ненормальностью, для которой в медицине, по всей вероятности, есть особый термин, но это не была глупость, а тем более не идиотизм. Я лично хорошо помню Александра Петровича, и мы — дети — вместе со старшими подсмеивались над его, так сказать, «недержанием речи», но о глупости его у нас никто и никогда не говорил» (**Волоцкой**, 165).

[53] Александр Андреевич Достоевский (1857—1894), доктор медицины, был приват-доцентом по кафедре гистологии и эмбриологии в Военно-медицинской академии в Петербурге. А. А. Достоевский специально указывает, что «приписывая алкоголизму предков разрушающее действие на всю нашу семью, Л. Ф. Достоевская, по своей наивности, даже прогрессивный паралич моего брата Александра относит к его влиянию, между тем как это есть следствие того несчастья, которое произошло с братом в его студенческие годы...» (**Волоцкой**, 177).

[54] Имение брата жены писателя Ивана Григорьевича Сниткина (1849—1887) находилось в Курской губернии, около города Мирополье. Достоевские были там в мае 1877 года.

[55] Об этом рассказывает сама А. Г. Достоевская в своих «Воспоминаниях» (см., например, издание: М., 1987).

[56] По особому распоряжению о земельном имуществе А. Ф. Куманиной, тетки писателя, скончавшейся в 1871 г., Достоевский в январе 1881 г. был введен во владение частью ее рязанского имения при условии выплаты денежных сумм своим сестрам, не участвовавшим в этом разделе. Сестра Достоевского Вера Михайловна обратилась с просьбой к писателю — отказаться в пользу сестер от своей доли в рязанском имении. Судя по дальнейшему тексту книги Л. Ф. Достоевской, между братом и сестрой произошел бурный разговор о куманинском наследстве. Кончилось тем, что у Достоевского из горла хлынула кровь, а через два дня его не стало.

[57] Л. Ф. Достоевская неточно передает здесь слова Белинского в воспоминаниях самого Достоевского в «Дневнике писателя» о встрече с критиком (см.: **Достоевский Ф. М.**, т. 25).

[58] «Бедные люди» были опубликованы не в журнале, а в издаваемом Некрасовым «Петербургском сборнике».

[59] О знакомстве и встречах в 1840-е годы В. А. Соллогуб рассказал в «Воспоминаниях», первоначально напечатанных в «Историческом вестнике», 1886, № 6. С. 561—562. См. также: Соллогуб В. А. Воспоминания. М.; Л., 1931. С. 413—415.

[60] А. Я. Панаева вспоминает: «С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своей раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли промывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколом в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев — он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался... Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умалить его произведение, нанести ему обиду... Вместо того чтобы снисходительно смотреть на больного, нервного человека, его еще сильнее раздражали насмешками...» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. 1. М., 1964. С. 141).

Д. В. Григорович, который помог Некрасову и Белинскому «открыть» Достоевского, тоже рассказывает об этой травле «больного, нервного человека»: «Неожиданность перехода от поклонения и возвышения автора «Бедных людей» чуть ли не на степень гения к безнадежному отрицанию в нем литературного дарования могла сокрушить и не такого впечатлительного и самолюбивого человека, каким был Достоевский. Он стал избегать лиц из кружка Белинского, замкнулся весь в себя еще больше прежнего и сделался раздражительным до последней степени. При встрече с Тургеневым, принадлежавшим к кружку Белинского, Достоевский, к сожалению, не мог сдержаться и дал полную волю накипевшему в нем негодованию, сказав, что никто из них ему не страшен, что дай только время, он всех их в грязь затопчет... После сцены с Тургеневым произошел окончательный разрыв между кружком Белинского и Достоевским; он больше в него не заглядывал. На него посыпались остроты, едкие эпиграммы, его обвиняли в чудовищном самолюбии, в зависти к Гоголю...» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. 1. М., 1964. С. 134—135).

Коллективному творчеству Тургенева и Некрасова в конце 1846 года принадлежит «Послание Белинского к Достоевскому», начинающееся строфой:

Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ...

По свидетельству А. Я. Панаевой, у Некрасова с Достоевским произошло бурное объяснение по поводу этого «Послания»: «...Когда Достоевский выбежал из кабинета в переднюю, то был бледен как полотно и никак не мог попасть в рукав пальто, которое ему подавал лакей; Достоевский вырвал пальто из его рук и выскочил на лестницу. Войдя к Некрасову, я нашла его в таком же разгоряченном состоянии. «Достоевский просто сошел с ума! — сказал Некрасов мне дрожащим от волнения голосом. — Явился ко мне с угрозами, чтобы я не смел печатать мой разбор его сочинения в следующем номере. И кто

ему это наврал, будто бы я всюду читаю сочиненный мною на него пасквиль в стихах! До бешенства дошел» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. 1. М., 1964. С. 143).

Только через тридцать лет Достоевский снова сблизился с Некрасовым, а после смерти поэта признался, как Некрасов был ему всегда дорог, всю последующую творческую жизнь Достоевский, хотя никогда и не мог забыть первую встречу с Белинским, неоднократно резко, и не всегда справедливо, высказывался о нем. Но, может быть, Достоевский вспомнил о таком своем отношении к критику, когда незадолго до смерти вложил в уста Алеши Карамазова такие слова: «Может быть, мы... будем смеяться и над теми людьми, которые говорят, вот как давеча Коля воскликнул: «Хочу пострадать за всех людей»,— и над этими людьми, может быть, злобно издеваться будем».

[61] Ошибка. Речь идет о «Бедных людях». Тургенев распространил слух о том, что Достоевский требовал напечатать «Бедные люди» с золотой каймой. Слух оказался абсолютным вымыслом (см. об этом: Захаров В. Н. По поводу одного мифа о Достоевском//Север, 1985, № 11. С. 113—120).

[62] Начавшаяся ссора с Тургеневым превратилась в историю одной вражды, и только лишь за полгода до смерти, в своей знаменитой Пушкинской речи, упомянув Лизу Калитину из «Дворянского гнезда» в числе замечательных русских женщин, Достоевский как бы помирился с Тургеневым, завещав потомкам не вражду, а их великое художественное слово (см. подробнее: Никольский Ю. Тургенев и Достоевский. История одной вражды. София, 1921).

[63] Далее Л. Ф. Достоевская приводит во многом фантастические утверждения о происхождении писателей, не соответствующие действительности. Например, она пишет, что Белинский был поляк или литовец по происхождению, хотя хорошо известно, что его отец Григорий Никифорович Белинский был сыном священника Трифонова в селе Белынь Пензенской губернии (отсюда происхождение фамилии, которую Белинский «смягчил» в студенческие годы), а мать — Мария Ивановна, урожденная Иванова, — дочь матроса (шкипера).

[64] Из дальнейшего текста видно, что речь идет о давно обрусевшем семипалатинском прокуроре Александре Егоровиче Врангеле.

[65] См.: Яновский С. Д. Воспоминания о Достоевском//Русский вестник, 1885, № 4. С. 796—819.

[66] См. примеч. 44, 50.

[67] В начале 1846 года на вечере у графа М. Ю. Виельгорского с Достоевским, действительно, случился обморок, когда его представили известной петербургской красавице Сенявиной.

[68] Л. Ф. Достоевская цитирует воспоминания А. Е. Ризенкампфа по кн.: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений, т. 1. Биография, письма и заметки из записной книжки. Спб., 1883.

[69] На самом деле, наиболее радикальные петрашевцы, в том числе и Ф. М. Достоевский, независимо от кружка Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского (1821—1866), недовольные умеренностью большинства посетителей «пятниц» дома М. В. Буташевича-Петрашевского, организовали кружок во главе с писателем Сергеем Федоровичем Дуровым (1816—1869). «Дуровцы» стояли не за медленную пропаганду, а за революционную тактику и освобождение крестьян «хотя бы путем восстания» (см. подробнее: Бельчиков Н. Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1971). Для того чтобы подготовить народ к восстанию, «дуровцы» — Спешнев, Филиппов, Мордвинов, Момбелли, Гри-

горьев, Достоевский — решили завести тайную типографию (см. об этом в кн.: Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы [Кн. 1]. М.; Пг., 1922. С. 268—270) и выбрать комитет для непосредственного руководства из пяти членов, причем для соблюдения тайны «должно включить в одном из параграфов приема угрозу наказания смертью за измену; угроза будет еще более скреплять тайну, обеспечивая ее».

[70] Это не подтверждается «Воспоминаниями» А. Г. Достоевской, свидетельствующими об откровенности с ней писателя и до свадьбы.

[71] Ошибка. А. М. Достоевский не только не посещал «пятницы» у Буташевича-Петрашевского, но даже не знал, кто это такой (см.: **Достоевский А. М.,** 201).

[72] Вся сцена придумана Л. Ф. Достоевской.

[73] М. М. Достоевский не знал о намерении брата завести тайную типографию, чтобы освободить крестьян «хотя бы путем восстания».

[74] А. М. и М. М. Достоевские тоже находились в Петропавловской крепости.

[75] Неточно. К столбам привязали Буташевича-Петрашевского, Спешнева, Момбелли.

[76] После эшафота, в тот же день, 22 декабря 1849 г., в прощальном письме брату Михаилу из Петропавловской крепости Достоевский рассказал об обряде смертной казни (см.: **Достоевский Ф. М.,** т. 28, кн. 1. С. 161—165).

[77] Неточная цитата из письма Достоевского к брату Михаилу от 30 января — 22 февраля 1854 г. из Омска (см.: **Достоевский Ф. М.,** т. 28, кн. 1. С. 167).

[78] Жены декабристов Ж. А. Муравьева, П. Е. Анненкова с дочерью О. И. Ивановой и Н. Д. Фонвизина добились («умолили», по словам Достоевского) тайного свидания с петрашевцами на квартире смотрителя пересыльной тюрьмы в Тобольске. В «Дневнике писателя» за 1873 год Достоевский вспоминал: «Мы увидели этих великих страдалиц, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием — единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой на каторге» (см. также: Францева М. Д. Воспоминания//Исторический вестник, 1888, № 6. С. 628—630).

[79] «Перерождение убеждений», говоря словами Достоевского, т. е. переход от атеиста к христианину и от революционера к монархисту, произошло у писателя не сразу. 22 февраля 1854 г. он писал брату Михаилу: «Жили мы в куче, все вместе в одной казарме... Все полы прогнили. Пол грязен на вершок, можно скользить и падать... Затопят шестью поленами печку, тепла нет, а угар нестерпимый, и вот вся зима. Тут же в казарме арестанты моют белье и всю маленькую казарму заплескают водой. Поворотиться негде. Выйти за нуждой уже нельзя с сумерек до рассвета, ибо казармы запираются, и ставится в сенях ушат, и потому духота нестерпимая... Блох, вшей и тараканов четвериками... В пост капуста с водой и больше ничего. Я расстроил желудок нестерпимо и был несколько раз болен. Суди, можно ли было жить без денег, и если бы не было денег, я бы непременно помер и никто, никакой арестант, такой жизни не вынес бы... Прибавь ко всем этим неприятностям почти невозможность иметь книгу, что достанешь, то читать украдкой, вечную вражду и ссору кругом себя, брань, крики, шум, гам, всегда под конвоем, никогда один, и это

четыре года без перемен, — право, можно простить, если скажешь, что было худо...»

Но четыре года «страдания невыразимого, бесконечного» явились поворотным пунктом в духовной биографии Достоевского. В страшный миг эшафота, когда жить ему остается не больше минуты, в нем начинает умирать «старый человек». Четыре года Достоевский читает на каторге одну книгу — Евангелие — единственную книгу, разрешенную в остроге. Постепенно рождается «новый человек», начинается «перерождение убеждений».

Однако не тяжелый каторжный быт, не ужасы каторги больше всего потрясли Достоевского. Больше всего поразил писателя тот факт, что острожники «народ грубый, раздраженный и озлобленный», как он охарактеризовал их в том же письме к брату, с ненавистью встретили их — дворян — за их атеизм, за их безверие, за бунт, за стремление свергнуть царя. Наоборот, они верят в Бога, любят царя и всякий бунт осуждают как барскую затею.

Наряду с чтением Евангелия это имело решающее влияние на перерождение убеждений Достоевского. И он был, пожалуй, единственным среди всех петрашевцев, кто «в каторге между разбойниками, в четыре года отличил, наконец людей», как признавался Достоевский в том же письме к брату от 22 февраля 1854 года и продолжал: «Поверишь ли: есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото. И не один, не два, а несколько. Иных нельзя не уважать, другие решительно прекрасны... Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! Я сжился с ними и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько историй бродяг и разбойников и вообще всякого черного, горемычного люда. На целые томы достанет. Что за чудный народ. Вообще время для меня не потеряно, если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его».

Постепенно расшатывалась старая «вера», незаметно вырастало новое мировоззрение. В «Дневнике писателя» Достоевский признается: «Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений... История перерождения убеждений, — разве может быть во всей области литературы какая-нибудь история более полная захватывающего и всепоглощающего интереса? История перерождения убеждений, — ведь это и прежде всего история их рождения. Убеждения вторично рождаются в человеке, на его глазах, в том возрасте, когда у него достаточно опыта и проницательности, чтобы сознательно следить за этим глубоким таинством своей души».

«Перерождение убеждений» началось с беспощадного суда над самим собой и над всей прошлой жизнью. «Помню, что все это время, — писал впоследствии Достоевский о своей каторге, — несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении, и я полюбил, наконец, это уединение. Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь, перебирал все до последних мелочей, вдумывался в мое прошлое, судил себя неумолимо и строго, и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни. И какими надеждами забилось тогда мое сердце! Я думал, я решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде... Я ждал, я звал поскорее свободу, я хотел испробовать себя вновь на новой борьбе... Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых. Экая славная минута!»

В первом же послекаторжном письме к Н. Д. Фонвизиной, подарившей ему четыре года назад в Тобольске Евангелие, Достоевский рассказывает ей, в каком направлении шло перерождение его убеждений: «...Я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост; вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, то мне лучше бы хотелось оставаться с Христом, нежели с истиной».

Отныне и навсегда «сияющая личность» Христа заняла главное место в новом миросозерцании Достоевского. В 1874 году он говорил своему молодому другу Всеволоду Соловьеву о значении каторги для его духовного развития: «...Мне тогда судьба помогла, меня спасла каторга... совсем новым человеком сделался... О! это большое для меня было счастие: Сибирь и каторга! Говорят: ужас, озлобление, о законности какого-то озлобления говорят! ужаснейший вздор! Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя понял, голубчик... Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что я и сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются, да и то не так ясно. Ах, если бы вас на каторгу!» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. 1. М., 1964. С. 199—200).

Достоевский ушел на каторгу революционером и атеистом, а вернулся монархистом и верующим человеком, хотя мечта о «золотом веке», о земном рае, о братстве всех людей никогда не оставляла его. Но христианская вера была им так всесторонне выстрадана (в том же послекаторжном письме к Фонвизиной Достоевский признавался: «каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных»), что в конце своей жизни он записывает по поводу своего последнего романа «Братья Карамазовы»: «И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было, стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла...»

После каторги и ссылки религиозная тема становится центральной темой творчества Достоевского. В 1870 году он писал своему другу, поэту А. Н. Майкову: «Главный вопрос... которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь — существование Божие».

Эпилог «Преступления и наказания» имеет автобиографическую ценность. Эволюция Раскольникова от «безбожника» (однажды каторжники «все разом напали на него с остервенением: «Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь! — кричали ему. — Убить тебя надо!» Он никогда не говорил с ними о Боге и о вере, но они хотели убить его, как безбожника») к вере, — это эволюция и самого Достоевского на каторге...

[80] Это неточно. Достоевский неоднократно рассказывал об обряде своей смертной казни.

[81] Поэма Некрасова «Несчастные» была опубликована в 1856 г. в журнале «Современник». Достоевский дважды в «Дневнике писателя» упоминает о посвященных ему стихах Некрасова. А. Г. Достоевская указывает, что сам Некрасов перед смертью сказал писателю, что он вывел его в поэме «Несчастные» под именем Крота (см.: Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1987. С. 340).

В современном литературоведении мнения о прототипе Крота противоречивы.

[82] Неточная цитата из письма Достоевского к А. Н. Майкову от 18 января 1856 г. (см.: **Достоевский Ф. М.**, т. 28, кн. 1. С. 206).

[83] Из «Дневника писателя» за 1873 г. (см.: **Достоевский Ф. М.**, т. 21. С. 134).

[84] Есть упоминания о церкви в раннем произведении «Хозяйка».

[85] Это был Василий Григорьевич Перов (1833—1882).

[86] Выставка в Академии художеств, где демонстрировался «Портрет Достоевского» работы Перова (1872 г.), совпала с редактированием писателем консервативного журнала «Гражданин». Вс. С. Соловьев вспоминает: «Автора «Преступления и наказания» и «Записок из Мертвого дома» называли сумасшедшим, маньяком, отступником, изменником, приглашали даже публику идти на выставку в Академию художеств и посмотреть там портрет Достоевского работы Перова как прямое доказательство, что это сумасшедший человек, место которого в доме умалишенных» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. 2. М., 1964. С. 196—197).

[87] А. Г. Достоевская вспоминает, как перед смертью Достоевский открыл это Евангелие, подаренное ему женами декабристов по дороге на каторгу: «Открылось Евангелие от Матфея. Гл. III, ст. II: «Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду».

— Ты слышишь — «не удерживай» — значит, я умру, — сказал муж и закрыл книгу» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1987. С. 397).

[88] Речь идет о плац-майоре В. Г. Кривцове, о котором Достоевский писал брату Михаилу 22 февраля 1854 г.: «. . .Плац-майор Кривцов — каналья, каких мало, мелкий варвар, сутяга, пьяница, все, что только можно представить отвратительного» (**Достоевский Ф. М.**, т. 28, кн. 1. С. 169). Но Кривцов не был комендантом крепости. Комендантом был полковник Алексей Федорович де Граве (1793—1864).

[89] Неточно. Речь идет об А. Ф. де Граве, который был комендантом Омской крепости со дня прибытия туда Достоевского (см. о нем: Мартьянов П. К. Дела и люди века. Т. 3. Спб., 1896. С. 251—252).

[90] Из письма Достоевского от 21 августа 1855 г. из Семипалатинска (см.: **Достоевский Ф. М.**, т. 28, кн. 1. С. 193).

[91] Это расходится со словами самого Достоевского, признававшегося, что в молодости он «страстно принял учение» Белинского и что именно на каторге у него началось «перерождение убеждений».

[92] С. Ф. Дуров умер в 1869 г.

[93] Речь идет о выдающемся казахском просветителе, этнографе, путешественнике Чокане Валиханове (1835—1865), которому Достоевский предсказал великое будущее (см.: Мануйлов В. А. Друг Ф. М. Достоевского Чокан Валиханов//Труды Ленинградского библиотечного института, т. 5, 1959. С. 343—369).

[94] Александр Егорович Врангель (1833—1915) был назначен прокурором в Семипалатинск от Министерства юстиции.

[95] Врангель А. Е. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири 1854—1856 гг. Спб., 1912.

[96] Не совсем точно. Воспоминания А. Е. Врангеля, действительно, самые полные мемуары о жизни писателя в Семипалатинске, но есть и другие воспо-

минания: Сытина З. Из воспоминаний о Достоевском//Исторический вестник, 1895, № 1; Семенов-Тян-Шанский П. П. Путешествие в Тянь-Шань. М., 1958; Иванов А. Встреча с Достоевским//Туркестанские ведомости, Ташкент, 1893, 14 февраля; К. Заметка о пребывании Достоевского в Семипалатинске//Степной край, Омск, 1896, 17 марта.

[97] Здесь и далее Л. Ф. Достоевская абсолютно несправедлива по отношению к первой жене писателя Марии Дмитриевне Исаевой (1824—1864).

[98] Павел Исаев родился в 1846 г.

[99] Александр Иванович Исаев (?—1855) не был военным, а был чиновником особых поручений при таможне в Семипалатинске, а в мае 1855 г. стал заседателем по корчемной части в Кузнецке.

[100] Речь идет о местном учителе Николае Борисовиче Вергунове (1832—?). (См. о нем: Б. Г-в [Б. Герасимов]. Ф. М. Достоевский в Семипалатинске//Сибирские огни, 1926, № 3. С. 127—129).

[101] Это неверно. Вергунов на свадьбе Достоевского в Кузнецке был его «поручителем», а позднее приезжал к молодоженам в Семипалатинск.

[102] Это ничем не подтверждается, и здесь Л. Ф. Достоевская продолжает свое явно негативное и несправедливое отношение к Марии Дмитриевне.

[103] Как писал Достоевский А. Е. Врангелю 23 марта 1856 года, он получил «громовое известие»: Мария Дмитриевна получила предложение от «человека пожилого, с добрыми качествами, служащего и обеспеченного» и просит у него совета, как ей поступить, «прибавляет, что она любит меня, что это одно еще предположение и расчет. Я был поражен, как громом, я зашатался, упал в обморок и проплакал всю ночь. Теперь я лежу у себя. Неподвижная идея в моей голове! Едва понимаю, как живу и что мне говорят. О, не дай господи никому этого страшного грозного чувства. Велика радость любви, но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить. Клянусь вам, что я пришел в отчаяние. Я понял возможность чего-то необыкновенного, на что бы в другой раз никогда не решился... Я написал ей письмо в тот же вечер, ужасное, отчаянное. Бедненькая! Ангел мой! Она и так больна, а я растерзал ее! Я, может быть, убил ее моим письмом. Я сказал, что я умру, если лишусь ее. Тут были и угрозы, и ласки и [униженные] просьбы, [не знаю что]» (**Достоевский Ф. М.**, т. 28, кн. 1. С. 220).

[104] См. примеч. 102.

[105] Эдуард Иванович Тотлебен (1818—1884) руководил инженерно-фортификационными работами в период обороны Севастополя 1854—1855 гг.

[106] Достоевский учился в Инженерном училище вместе с младшим братом Э. И. Тотлебена Адольфом Ивановичем Тотлебеном. Э. И. Тотлебен учился в Инженерном училище до 1838 года, т. е. до поступления туда Достоевского, и познакомился с ним через своего младшего брата в начале 1840-х годов.

[107] См. примеч. 102.

[108] Бывший член Следственной комиссии по делу петрашевцев Василий Андреевич Долгоруков (1803—1868) с 1858 г. являлся шефом жандармов и главным начальником III отделения.

[109] Это неверно.

[110] Речь идет о письме из Твери, написанном между 10—18 октября 1859 г. (см. **Достоевский Ф. М.**, т. 28, кн. 1. С. 386).

[111] Прошение императору министр двора граф В. Ф. Адлерберг — двоюродный брат тверского губернатора П. Т. Баранова — передал уже после того, как

вопрос о жительстве Достоевского в Петербурге был решен В. А. Долгоруковым.

[112] См. примеч. 102.

[113] Тут все сложнее, т. к. Достоевский в это время любил другую женщину — А. П. Суслову.

[114] См. примеч. 102.

[115] Это неверно. Запутанные отношения с А. П. Сусловой, выпуск вместе с братом Михаилом журналов «Время» и «Эпоха» не мешали все же Достоевскому быть с Марией Дмитриевной при любых ухудшениях ее здоровья.

[116] История первого несчастного брака писателя покрыта для нас тайной. Возможно, Мария Дмитриевна быстро поняла, что она обречена как чахоточная больная, и это сознание накладывало определенный отпечаток на ее отношения с близкими. Во всяком случае, Анна Григорьевна Достоевская, конечно, со слов самого писателя, свидетельствовала, что «обострившаяся болезнь» Марии Дмитриевны «сообщила особенную мучительность» ее отношениям с Достоевским (см.: Гроссман Л. Н. Достоевский. М., 1962. С. 198). Если же говорить о Достоевском, то можно с уверенностью сказать, что он очень переживал, что их брак с Марией Дмитриевной оказался бездетным. Он всегда любил детей, и когда его старший брат женился и у него пошли дети, он искренне и по-хорошему завидовал брату. И здесь человеческое совпадало с писательским. Мало кто сумел так близко подойти к детской душе и так глубоко в нее проникнуть, как Достоевский. (Любопытно, что на похоронах Достоевского среди множества венков был венок и от русских детей). Многие очень любили детей, но писали о них с ласковым юмором взрослого человека и лишь слегка, словно кончиками пальцев, касались их мира. А Достоевскому детская душа открывалась полностью потому, что как художнику ему был дан самый ценный человеческий дар — дар страдания во имя любви к людям, к детям, дар сострадания. И самым сильным побуждением к состраданию являются дети.

Может быть, Достоевский все же терзался мыслью, что когда-то в Кузнецке Мария Дмитриевна предпочла ему Вергунова исключительно по любви, не почувствовав страстную веру унтер-офицера Достоевского в свое писательское призвание, а Мария Дмитриевна, в свою очередь, может быть, так и не смогла забыть тот страшный припадок Достоевского всего лишь через несколько дней после венчания.

Однако делая попытки проникнуть в тайну несчастного брака писателя, надо в любом случае отбросить как абсолютно лживые все «сплетни», которые явно тенденциозно приводит в своей книге Л. Ф. Достоевская. В письме от 31 марта 1865 года к Александру Егоровичу Врангелю, который не только знал хорошо Марию Дмитриевну, но и был свидетелем первых лет их любви, Достоевский писал: «Существо, полюбившее меня и которое я любил без меры, жена моя умерла... Помяните ее хорошим добрым воспоминанием... Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла — я хоть мучился, видя (весь год), как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с нею, — но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею. И вот уже год, а чувство все то же, не уменьшается» (**Достоевский Ф. М.**, т. 28, кн. 2. С. 116). Это признание тем более поразительное, если учесть, что в последние годы жизни Марии Дмитриевны Достоевский страстно любил другую женщину — А. П. Суслову.

(О М. Д. Исаевой см.: Слоним М. Л. Три любви Достоевского. Нью-Йорк, 1953).

[117] Речь идет о второй большой любви писателя — Аполлинарии Прокофьевне Сусловой (1839—1918), участнице демократического движения 1860-х годов.

[118] Это является вымыслом Л. Ф. Достоевской.

[119] Это тоже вымысел.

[120] Письмо не сохранилось.

[121] Л. Ф. Достоевская путает с Николаем Михайловичем Достоевским, действительно, страдавшим от запоя.

[122] Это был испанский студент Сальвадор.

[123] Эта поездка к Сусловой в Париж состоялась в августе 1863 года, но Достоевский был за границей и раньше, в 1862 году.

[124] Ошибка. Достоевский был у Герцена в июле 1862 года.

[125] Это было в первую поездку Достоевского за границу в 1862 году.

[126] Из письма Достоевского к Н. Н. Страхову от 26 июня (8 июля) 1862 года (см.: **Достоевский Ф. М.,** т. 28, кн. 2. С. 28).

[127] Речь идет о «Преступлении и наказании».

[128] Изданный в 1928 году интимный дневник А. П. Сусловой «Годы близости с Достоевским» свидетельствует, что в ее отношениях с писателем все было гораздо сложнее, чем пишет Л. Ф. Достоевская. Перелом в их отношениях произошел после того, как Суслова сошлась в Париже с испанским студентом Сальвадором, который ее быстро бросил. Во всяком случае, в Баден-Бадене, где Суслова была с Достоевским, в ее дневнике появляется такая запись: «Часов в 10 мы пили чай. Кончив его, я, так как в этот день устала, легла в постель и попросила Ф[едора] М[ихайловича] сесть ко мне ближе. Мне было хорошо. Я взяла его руку и долго держала в своей. Он сказал, что ему так очень хорошо сидеть... Вдруг он внезапно встал, хотел идти, но запнулся за башмаки, лежавшие возле кровати, и также поспешно воротился и сел. «Ты куда ж хотел идти?» — спросила я. — «Я хотел закрыть окно». — «Так закрой, если хочешь». — «Нет, не нужно. Ты не знаешь, что сейчас со мной было!» — сказал он со странным выражением. — «Что такое?» — Я посмотрела на его лицо, оно было очень взволнованно. — «Я сейчас хотел поцеловать твою ногу». — «Ах, зачем это?» — сказала я в сильном смущении, почти в испуге и подобрав ноги.— «Так мне захотелось и я решил, что поцелую».

Потом он меня спрашивал, хочу ли я спать, но я сказала, что нет, хочется посидеть с ним. Думая спать и раздеваться, я спросила его, придет ли горничная убирать чай. Он утверждал, что нет. Потом он так смотрел на меня, что мне стало неловко, я ему сказала это. «И мне неловко», — сказал он со странной улыбкой. Я спрятала лицо в подушку. Потом я опять спросила, придет ли горничная и он опять утверждал, что нет. «Ну, так поди к себе, я хочу спать»,— сказала я. — «Сейчас», — сказал он, но несколько времени оставался. Потом он целовал меня очень горячо и, наконец, стал зажигать для себя свечу. Моя свечка догорала. «У тебя не будет огня», — сказал он. — «Нет, будет, есть целая свечка». — «Но это моя». — «У меня еще есть». — «Всегда найдутся ответы», — сказал он, улыбаясь, и вышел. Он не затворил своей двери и скоро вошел ко мне под предлогом затворить окно. Он подошел ко мне и посоветовал раздеваться. «Я разденусь», — сказала я, делая вид, что только дожидаюсь его ухода. Он еще раз вышел и еще раз пришел под каким-то предлогом, после чего уже ушел и затворил свою дверь». (Суслова А. П. Годы близости с Достоевским. М., 1928. С. 58—59).

Это совсем не наивная запись, нет, Аполлинария наслаждается такой ситуацией и ведет любовную дуэль рассчитанно и коварно. Любовь ее постепенно превращается в ненависть. В сентябре и декабре 1864 года она записывает в своем дневнике: «Мне говорят о Ф[едоре] М[ихайловиче]. Я его просто ненавижу. Он так много заставляет меня страдать, когда можно было обойтись без страдания. Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастья в наслаждении любви потому, что ласка мужчин будет напоминать мне оскорбления и страдания... Когда я вспоминаю, чтó была я два года назад, я начинаю ненавидеть Д[остоевского], он первый убил во мне веру...» (Суслова А. П. Годы близости с Достоевским. М., 1928. С. 92, 110).

Даже если допустить эмоционально преувеличенный характер этих записей, мы все равно не можем проникнуть в последнюю тайну этой любви-ненависти Достоевского и Сусловой, как не можем проникнуть в тайну несчастного брака Достоевского и Марии Дмитриевны. Мы можем сделать лишь несколько попыток.

Не повторяя уже сказанного, добавим, что любовь-ненависть могла питаться и несомненно питалась глубокими идейными расхождениями между верующим монархистом Достоевским, каким он вернулся после каторги и ссылки, и страстной нигилисткой Сусловой, неистово отрицавшей весь «старый мир» и даже готовой примкнуть к антиправительственному террору.

Обратим внимание на то, что вышеприведенные дневниковые записи сентября и декабря 1864 года сделаны Аполлинарией в то время, когда Достоевский продолжал ее страстно любить, о чем она прекрасно знала. Мало того, эти записи сделаны после 15 апреля 1864 года, когда умерла Мария Дмитриевна, и Достоевский уже делал Аполлинарии предложение стать его женой: иначе он и не мыслил себе отношения с любимой женщиной. Он простил ей Сальвадора и готов был простить кого угодно, так как он любил ее.

Но на неоднократные предложения стать его женой Суслова каждый раз отвечала отказом. (Получив последний категорический отказ в начале 1865 года и поняв окончательно, что она его больше не любит, Достоевский в марте — апреле 1865 года увлекся А. В. Корвин-Круковской и сделал ей предложение). Ей нравилось мучить его, ибо она знала, «какой он великодушный, благородный! какой [у него] ум! какое сердце!», — как записала она в том же дневнике. (Суслова А. П. Годы близости с Достоевским. М., 1928. С. 48).

Думается, в том, что любовь превратилась в ненависть, виновата прежде всего и главным образом Аполлинария. В натуре ее самой сидел изначально какой-то бес мучительства, и она это отлично сознавала, когда делала, например, такую запись в дневнике: «Мне кажется, я никого никогда не полюблю». (Суслова А. П. Годы близости с Достоевским. М., 1928. С. 57). У нее с самого начала было двойственное отношение к Достоевскому и искренняя любовь к нему сочеталась в ней всегда с такой же искренней жестокостью и деспотизмом по отношению к нему. И герой «Игрока», безусловно, имеет в виду ее характер, когда говорит: «Все это она удивительно понимает, и мысль о том, что я вполне верно и отчетливо сознаю всю ее недоступность для меня, всю невозможность исполнения моих фантазий, — эта мысль, я уверен, доставляет ей чрезвычайное наслаждение, иначе могла ли она, осторожная и умная, быть со мной в таких короткостях и откровенностях».

А, может быть, эти дневниковые записи Аполлинарии в сентябре и декабре 1864 года объясняются тем, что Достоевский, прекрасно видя ее в беспощадном

свете правды (это, естественно, не мешало ему страстно любить ее), имел неосторожность выложить ей всю эту беспощадную правду. (И тогда это очень может походить на историю с клеветой Н. Н. Страхова. Стоило Страхову узнать из записных тетрадей Достоевского всю беспощадную правду о себе, как он тут же оклеветал его в письме к Л. Н. Толстому, благо, когда это письмо напечатают, уже никого не будет на свете).

Во всяком случае, из письма в 1865 году Достоевского к сестре Аполлинарии Надежде Прокофьевне Сусловой, в котором он очень откровенно говорит о своей «роковой любви», видно, что он, действительно, «осмелился сказать своей возлюбленной беспощадную правду о ней: «Аполлинария — большая эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей *всего*, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям. Она корит меня до сих пор тем, что я недостоин был любви ее, жалуется и упрекает меня беспрерывно, сама же встречает меня в 63-м году в Париже фразой «Ты немножко опоздал приехать», т. е. что она полюбила другого, тогда как две недели тому назад еще горячо писала, что любит меня. Не за любовь к другому я корю ее, а за эти четыре строки, которые она прислала мне в гостиницу с грубой фразой: «Ты немножко опоздал приехать».

Я многое бы мог написать про Рим, про наше житье с ней в Турине, в Неаполе, да зачем?... Я люблю ее еще до сих пор, очень люблю, но я уже не хотел бы любить ее. Она *не стоит* такой любви.

Мне жаль ее, потому что, предвижу, она вечно будет несчастна. Она нигде не найдет себе друга и счастья. Кто требует от другого всего, а сам избавляет [себя] от всех обязанностей, тот никогда не найдет счастья.

Может быть, письмо мое к ней, на которое она жалуется, написано раздражительно. Но оно не грубо. Она в нем считает грубостью то, что я осмелился говорить ей наперекор, осмелился высказать, как мне больно. Она меня третировала всегда свысока. Она обиделась тем, что и я захотел, наконец, заговорить, пожаловаться, противоречить ей. Она не допускает равенства в отношениях наших. В отношениях со мной в ней вовсе нет человечности. Ведь она знает, что я люблю ее до сих пор. Зачем она меня мучает? Не люби, но и не мучай». (**Достоевский Ф. М.**, т. 28, кн. 2. С. 121—122).

Последний раз Аполлинария и Достоевский виделись весной 1866 года. Любовь их пришла к концу, хотя переписка еще продолжалась почти год и каждый раз письма Сусловой приводили Достоевского в волнение. Но писатель оказался пророком: Аполлинария, действительно, «вечно была несчастна» и «нигде не нашла себе друга и счастья» (о Сусловой см.: Слоним М. Л. Три любви Достоевского. Нью-Йорк, 1953).

129 Неточно. А. В. Корвин-Круковская была на 7 лет старше своей младшей сестры.

130 История любви Достоевского к А. В. Корвин-Круковской рассказана в «Воспоминаниях детства» ее сестры С. В. Ковалевской (см.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. М., 1961). Однако из этих воспоминаний не видно, чтобы А. В. Корвин-Круковская, как пишет Л. Ф. Достоевская, хотя бы краткое время была невестой Достоевского и что из идейных соображений обрученные отказались от брака. По свидетельству Софьи Ковалевской, А. В. Корвин-Круковская сразу же после предложения Достоевского говорила сестре: «Ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить

себя ему. Всю свою жизнь ему отдать, только о нем и думать. А я этого не могу. Я сама хочу жить!» (Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. М., 1961. С. 120).

[131] Речь идет о Шарле Викторе Жакларе (1843—?), французском революционере, деятеле Парижской Коммуны.

[132] Более точно подробности побега Ш. В. Жаклара и участия в его освобождении отца А. В. Корвин-Круковской см. в кн. И. С. Книжнина-Ветрова «Русские деятельницы Первого Интернационала и Парижской Коммуны». Л., 1964.

[133] «Эпоха» прекратила свое существование уже после смерти Михаила Достоевского.

[134] См. примеч. 121.

[135] Речь идет о Марии Михайловне Достоевской (1843—1888) и ее муже, профессоре философии и ректоре Петербургского университета Михаиле Ивановиче Владиславлеве (1840—1890).

[136] Речь идет об Екатерине Михайловне Достоевской (1853—1932) и ее гражданском муже Вячеславе Авксентьевиче Манассеине (1841—1901), профессоре Военно-медицинской академии в Петербурге, редакторе журнала «Врач».

[137] Софья Александровна Иванова (в замужестве Хмырова) (1846—1907) переводила английские романы (в частности, Диккенса) для журнала «Русский вестник». Достоевский посвятил ей роман «Идиот».

[138] Долги по журналу «Эпоха» остались после прекращения журнала, издававшегося в 1864—1865 гг. Как сообщает Достоевский в письме к А. Е. Врангелю от 31 марта 1865 г., за журналом было тридцать три тысячи долга.

[139] Речь идет о романе «Игрок», который Достоевский обязался представить к 1 ноября 1866 г., а договор с петербургским издателем Ф. Т. Стелловским он заключил в 1865 году.

[140] Достоевскому осталось написать последнюю часть и эпилог «Преступления и наказания».

[141] Эпизод с полицейским является вымыслом Л. Ф. Достоевской.

[142] Педагог и писатель Александр Петрович Милюков (1817—1897).

[143] Павел Матвеевич Ольхин (1830—1915), медик, переводчик, преподаватель стенографии.

[144] На самом деле переговоры с П. М. Ольхиным вел А. П. Милюков (см.: Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1987. С. 76).

[145] Точнее, это был прапрапрадед Л. Ф. Достоевской, профессор и ректор Духовной академии в Або Мартин Мильтопеус (1631—1679).

[146] Шведская певица (1843—1921).

[147] Павел Григорьевич Сватковский был цензором.

[148] Это были Педагогические курсы, открытые в 1863 году магистром русской словесности Николаем Александровичем Вышнеградским (1824—1872).

[149] Это неверно. Анне Григорьевне не удалось кончить Педагогические курсы, т. к. в связи с тяжелой болезнью отца она вынуждена была целые дни проводить у его постели.

[150] Отец Анны Григорьевны настоял, чтобы хотя бы вечерами, когда он уже засыпает, она посещала стенографические курсы.

[151] Неточно. По договоренности, Анна Григорьевна снова пришла к Достоевскому в этот же день, 4 октября 1866 года, в восемь часов вечера (см. подробнее об их первой встрече в кн.: Достоевская А. Г. Воспоминания. М.,

1987). О жизни и деятельности Анны Григорьевны см. также кн.: Белов С. В. Жена писателя: Последняя любовь Ф. М. Достоевского. М., 1986.

[152] См. примеч. 102.

[153] 15 февраля 1867 года.

[154] Речь идет о журнале М. Н. Каткова «Русский вестник», где печатались романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы».

[155] Ф. М. и А. Г. Достоевские выехали за границу 14 апреля 1867 г.

[156] См.: Достоевская А. Г. Дневник, 1867. М., 1923.

[157] Поэт Николай Платонович Огарев (1813—1877).

[158] А. Г. Достоевская считает, что Соня умерла от простуды (см.: Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1987. С. 199).

[159] Знаменитые путеводители по различным странам, издаваемые фирмой, основанной в 1827 г. немцем Карлом Бедекером.

[160] Л. Ф. Достоевская родилась 14 сентября 1869 года.

[161] Приглашая А. Н. Майкова в крестные отцы, Достоевский писал ему: «Три дня назад родилась у меня дочь, Любовь. Все обошлось благополучно, и ребенок большой, здоровый и красавица».

[162] Иван Григорьевич Сниткин приехал в Дрезден в середине октября 1869 года.

[163] Слушатель Петровской сельскохозяйственной академии И. Иванов был членом тайного общества «Народная расправа». 21 ноября 1869 г. он был убит организатором «Народной расправы» С. Г. Нечаевым при участии ее членов — П. Успенского, А. Кузнецова, И. Прыжова, Н. Николаева.

[164] Имеется в виду глава «Исповедь Ставрогина», которую отказался печатать М. Н. Катков в «Русском вестнике».

[165] Это неверно. «Без родины страдание, ей Богу! — писал Достоевский Майкову из Женевы. — ... А мне Россия нужна, для моего писания и труда нужна...».

[166] Это абсолютное непонимание стиля Достоевского. Это был особый, духовный стиль, стиль четвертого измерения, духовности.

[167] 1871 года.

[168] Эпизод, действительно рассказанный в «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской, когда Н. А. Некрасов пришел к нему домой и предложил отдать новый роман «Подросток» в его журнал «Отечественные записки».

[169] Согласие Достоевского редактировать «Гражданин» было вызвано не только расстроенным материальным положением писателя, но и стремлением непосредственно включиться в литературную и политическую борьбу, занимая главенствующее положение в журнале. Поводом к разрыву между Достоевским и В. П. Мещерским послужила статья последнего, в которой была высказана мысль о желательности установления надзора за студенческой молодежью. Достоевский возмущенно писал Мещерскому в ноябре 1873 года: «Ваша мысль глубоко противна моим убеждениям и волнует сердце». (См. подробнее: Виноградов В. В. Ф. М. Достоевский как редактор «Гражданина» и как автор анонимных фельетонов в нем//Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961).

[170] Об этом А. Г. Достоевская рассказывает в своих «Воспоминаниях» (М., 1987. С. 412—413).

[171] У Достоевских не было денег и сначала, по их просьбе, дом купил на свое имя И. Г. Сниткин, а уже после смерти Достоевского Анна Григорьевна купила дом у брата на свое имя.

[171a] Меньшова Агриппина Ивановна (см. Рейнус Л. М. О прототипе Грушеньки из «Братьев Карамазовых»//Русская литература, 1967, № 4).

[172] Ныне здесь Музей-квартира Достоевского в Старой Руссе.

[173] Ошибка. Алексей родился 10 августа 1875 года.

[174] А. Г. Достоевская вспоминает: «Имя св. Алексия — Человека Божия было особенно почитаемо Федором Михайловичем, отчего и было дано новорожденному, хотя этого имени не было в нашем родстве» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1987. С. 307).

[175] Алеша Достоевский скончался 16 мая 1878 года от эпилептического припадка.

[176] Ф. М. Достоевский пробыл с Анной Григорьевной за границей свыше четырех лет.

[177] См. примеч. 43.

[178] Речь идет об А. П. Сусловой, но этот визит ее к Достоевскому в конце 1870-х гг. скорее всего является вымыслом Л. Ф. Достоевской.

[179] В 1880 г. А. П. Суслова (ей шел сорок первый год) выходит замуж за двадцатичетырехлетнего журналиста В. В. Розанова, будущего известного писателя и философа, страстного почитателя Достоевского. Однако брак их оказался неудачным и превратился для них в испытание. Через шесть лет Суслова бросает Розанова, уехав от него с его приятелем. Когда Розанов умоляет ее вернуться, она жестоко отвечает: «Тысяча мужей находятся в вашем положении (т. е. оставлены женами) и не воют — люди не собаки» (Гроссман Л. П. Путь Достоевского. Л., 1924. С. 150). А узнав, что Розанов в гражданском браке с другой женщиной и имеет от нее детей, она почти двадцать лет из какого-то злого упрямства не дает ему развода — дети его все эти годы были лишены гражданских прав.

[180] См. примеч. 99.

[181] «Разбойники» Шиллера особенно интересовали Достоевского во время создания «Братьев Карамазовых». Писатель проводил реминисценции со своим последним романом.

[182] Это не совсем так. Например, в 1880 году, когда в «Вестнике Европы» появились воспоминания П. В. Анненкова «Замечательное десятилетие», где критик клеветнически утверждал о требовании Достоевского выделить в 1846 г. в «Петербургском сборнике» «Бедные люди» особым типографским знаком — каймой, Достоевский просил издателя газеты «Новое время» А. С. Суворина выступить в ней с опровержением.

[183] Речь идет о французской певице Полине Виардо (1821—1910).

[184] Л. Ф. Достоевская тенденциозно, как и ее отец, отождествляет высказывания «крайнего западника» Потугина — героя романа Тургенева «Дым» — с авторской позицией.

[185] «Дым» навсегда развел Достоевского и Тургенева. Достоевский-почвенник воспринял роман как явную «западническую» клевету на Россию. «Дым», по его словам, «подлежал сожжению от руки палача» (Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем. Письма, т. 9, с. 85).

[186] Это не совсем точно. «Почвенничество» Достоевского было средней позицией между славянофилами и западниками, попыткой их примирения.

[187] Это не совсем верно. Тургенев, действительно, не принял шедевра Достоевского — роман «Преступление и наказание», гротескно сравнивая впечатление, производимое на него этим произведением, с «продолжительной холерной коликой». Он также весьма резко отозвался о «Подростке», назвав его «хаосом», «никому не нужным» невнятным «бормотанием». В этих пристрастных, желчных и несправедливых оценках сказалось не только полемическое раздражение писателя, но и принципиальное несогласие с творческим методом Достоевского, парадоксальными порой, с точки зрения Тургенева, крайностями его психологизма. Тургенев во многом субъективно, в соответствии со своим уравновешенным психическим складом, воспринимал трагический мир героев Достоевского, как своего рода болезненную апологию страдания.

Однако, несмотря на глубокие принципиальные идейные расхождения (Достоевский — монархист и христианин, Тургенев — деист, сочувствующий и даже помогающий революционерам), их объединяла искренняя большая любовь к русской литературе; этим объяснялось и неизменное взаимное признание таланта друг друга даже в период обострения вражды (например, 29 марта (9 апреля) 1877 г. Тургенев в письме к Достоевскому пишет о его «первоклассном таланте» и о «высоком месте», которое он «занимает в нашей литературе». «Среди выдающихся представителей русской словесности 〈...〉 Вы, конечно, стоите 〈...〉 на первом плане», — признавался Тургенев Достоевскому. (Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем. Письма, т. 12. С. 129). Известно, что Тургенев выразил желание написать некролог о столь значительной личности», как Достоевский. (Об отношениях Тургенева и Достоевского см. монографию Ю. Никольского «Тургенев и Достоевский. История одной вражды. София, 1921).

[188] Несмотря на всю идейную близость Достоевского и Николая Николаевича Страхова, на их принадлежность к лагерю «почвенников», они все же никогда по-настоящему не были близки друг другу. Это особенно ярко вскрылось в известном письме Страхова к Л. Н. Толстому от 28 ноября 1883 г., где он приписал преступления Свидригайлова и Ставрогина, т. е. растление малолетних, самому Достоевскому (см.: Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, т. 2. Спб., 1914. С. 307—310), причем Страхов кается перед Толстым в том, что он так односторонне обрисовал фигуру Достоевского в своих «Воспоминаниях» о нем (см.: **Достоевский Ф. М.** Полное собрание сочинений, т. 1. Биография, письма и заметки из записной книжки. Спб., 1883). Хотя и в «Воспоминаниях» Страхова о Достоевском уже намечалась (правда, очень осторожно) «обличительная» тенденция, так полно развившаяся в письме к Толстому. Но и Достоевский далеко не идеализировал Страхова. Вот что он говорил, например, в одном из своих писем: «Это скверный семинарист и больше ничего: он уже раз оставлял меня, именно с падением «Эпохи», и прибежал только после успеха «Преступления».

В 83-м томе «Литературного наследства» «Неизданный Достоевский» (М., 1971) впервые приводится запись Достоевского о Страхове, датируемая 1877 г.: «Чистейшая семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь. Никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив, он и сам делает гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать все и вся, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не

может ничего чувствовать. Я еще больше потом поговорю об этих литературных типах наших, их надо обличать и обнаруживать неустанно» (Литературное наследство, т. 83. М., 1971. С. 620).

Комментируя эту антистраховскую запись Достоевского, Л. М. Розенблюм справедливо предполагает, что Страхов видел эту запись, когда А. Г. Достоевская предоставила ему и О. Ф. Миллеру возможность ознакомиться с архивом Достоевского для подготовки первого тома посмертного собрания сочинений писателя. Было решено издать также большую часть последней тетради Достоевского. «Страхов, конечно, понимал, — пишет Л. М. Розенблюм, — что со временем не только последняя тетрадь Достоевского, но и все остальные будут опубликованы. Знал он также, что когда-нибудь будет издана и переписка Льва Толстого. Быть может, и эту мысль отчасти имел он в виду, направляя письмо Толстому, своеобразный „ответ" Достоевскому» (Литературное наследство, т. 83. М., 1971. С. 23). Об отношениях Достоевского и Н. Н. Страхова см. статьи: А. С. Долинина в его книге «Последние романы Достоевского» (М.; Л., 1963. С. 307—343), Б. И. Бурсова «У свежей могилы Достоевского: (Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым)»//Ученые записки Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, т. 320. Л., 1969. С. 254—270, В. Я. Кирпотина «Достоевский, Страхов и Евгений Павлович Радомский»// Знамя, 1972, № 9, 10.

[189] Речь идет о романе «Анна Каренина».

[190] Это неверно. 10 марта 1878 г. Достоевский и Л. Толстой случайно оказались вместе в Петербурге на «чтениях о Богочеловечестве» Вл. Соловьева, причем Страхов, который привез на лекцию Л. Толстого, не сообщил ему о присутствии Достоевского, мотивируя это тем, что Л. Толстой просил его ни с кем не знакомить. Однако и Достоевский, и Л. Толстой были искренне огорчены, что не смогли тогда познакомиться (см.: Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1987. С. 343—344, 414—415).

[191] Это неверно. Русские критики также часто идентифицировали Достоевского с его героями.

[192] В «Дневнике писателя» за 1877 г. Достоевский писал: «Такие люди, как автор Анны Карениной, — суть учители общества, наши учители, а мы лишь ученики их».

[193] Из письма Л. Толстого от начала февраля 1881 г. (см.: Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений, т. 63. М., 1934. С. 43).

[194] Толстый — *немецкое.*

[195] По словам писателя К. М. Станюковича, отказ Л. Толстого принять участие в Пушкинских торжествах был «вполне последователен. Гр. Толстой высказывал не раз, что наша литература служит времяпрепровождением для обеспеченных людей, а народу решительно все равно, существовал ли Пушкин или нет» (Дело, 1880, № 7. С. 107).

[196] За три года до смерти, начав создавать свой последний гениальный роман «Братья Карамазовы», Достоевский вложил в биографию героя романа, старца Зосимы, отголоски собственных детских впечатлений от книги «Сто четыре священные истории, выбранные из Ветхого и Нового завета в пользу юношества Иоанном Гибнером, с присовокуплением благочестивых размышлений»: «Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме

родительском, и это почти всегда так, если даже в семействе хоть только чуть-чуть любовь да союз. Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное. К воспоминаниям же домашним причитаю и воспоминания о священной истории, которую в доме родительском, хотя и ребенком, я очень любопытствовал знать. Была у меня тогда книга, священная история, с прекрасными картинками, под названием «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового завета», и по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь на полке лежит, как драгоценную память сохраняю» (**Достоевский Ф. М.,** т. 14. С. 263—264). А. Г. Достоевская подтверждает, что по этой книге Ф. М. Достоевский, действительно, учился читать (см.: Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. М.; Пг., 1922. С. 68).

[197] Достоевский ездил в Оптину пустынь с Вл. С. Соловьевым с 23 по 29 июня 1878 г. См. об этой поездке воспоминания Вл. С. Соловьева (Соловьев Вл. С. Собрание сочинений, т. 3. Спб., 1912. С. 197) и очерк Д. И. Стахеева «Группы и портреты»//Исторический вестник, 1907, № 1. С. 84—88. Оптина пустынь — старинный русский монастырь, основанный, по преданию, еще в XIV в. возле древнего калужского города Козельска, — возродил особый тип русского монашества — старчество (старец в православии — руководитель совести). В XIX в. старцы Оптиной пустыни, и особенно самый знаменитый из них Амвросий (1812—1891) (в миру Александр Михайлович Гренков), привлекали к себе внимание выдающихся русских писателей (см.: Богданов Д. П. Оптина пустынь и паломничество в нее русских писателей//Исторический вестник, 1910, № 10).

[198] Сблизившись с Достоевским в год работы писателя в «Гражданине», член Государственного совета Константин Петрович Победоносцев (1827—1907), ставший в 1880 г. обер-прокурором Синода, стремился использовать его талант в политических целях (Красный архив, 1923, т. 2. С. 252). В известной мере Достоевским — автором «Дневника писателя» — Победоносцев мог быть довольным, имея в виду монархические тенденции публицистики Достоевского 1870-х годов. Однако Достоевский — художник, романист внушал тревогу Победоносцеву. Наиболее ярко это выразилось в его письме к Достоевскому с отзывом о 5-й книге «Братьев Карамазовых» «Pro и contra». Победоносцев даже советует предать огню бунтарские страницы романа: «Когда художнику не удалась его статуя, или он не доволен, весь металл идет опять в горнило. Впрочем и то сказать, что всякий художник творит по-своему, и вы, если бы выжидали, может быть, никогда не решились бы выпустить свое произведение»//Литературное наследство, т. 15. М., 1934. С. 139.

Консерватизм Достоевского всегда имел ту нравственную черту, за которую он никогда не переходил, в отличие от К. П. Победоносцева. Например, Достоевский расценивал сам акт освобождения крестьян, как «великий» и «пророческий момент русской жизни», а для Победоносцева «эпоха реформ», начавшаяся с отмены крепостного права, несла в себе разложение русских государственных и общественных устоев (см. подробнее: Стоянов Ц. Геният и неговият наставник. София, 1978).

[199] Книга Л. Ф. Достоевской — единственный мемуарный источник, сообщающий о встречах Достоевского в Петербурге в 1879 году с борцом за освобождение славянских народов от турецкого ига генералом Михаилом Григорьевичем Черняевым (1828—1896). Рассказы очевидца генерала Черняева

о зверствах турок послужили также еще одним аргументом в пользу бунта Ивана Карамазова против божественного миропорядка.

[200] Речь идет о Софье Петровне Хитрово.

[201] Жюль Мишле (1798—1874), французский историк.

[202] По свидетельству А. Г. Достоевской, первая встреча Достоевского и Марии Федоровны произошла 22 декабря 1880 г. в доме графини Менгден, где писатель выступал с чтением своих произведений в пользу приюта святой Ксении. Однако А. Г. Достоевская излагает эту встречу совсем иначе, указывая, что Мария Федоровна долго беседовала с Достоевским (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1987. С. 390).

[203] Константин Константинович (1858—1915), великий князь, президент Академии наук, пианист, критик и поэт, подписывавший свои стихотворения: «К. Р.».

[204] Эта встреча Достоевского с будущим императором Александром III состоялась 16 декабря 1880 г.

[205] См. письмо Достоевского к А. Г. Достоевской от 8 июня 1880 года, сразу же после своего выступления, где он подробно описал свой триумф, и привел слова И. С. Аксакова, сказавшего, что речь Достоевского «есть не просто речь, а историческое событие!».

[206] Это не цитата, а вольный пересказ основного смысла Пушкинской речи Достоевского.

[207] Гобино Жозеф Артюр де (1816—1882), французский социолог и писатель, один из основоположников расово-антропологической школы.

[208] Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892), французский писатель, пытавшийся осмыслить в «Истории происхождения христианства» евангельские легенды, исключив из них все сверхъестественное.

[209] Это вымысел.

[210] Тоже вымысел.

[211] Л. Ф. Достоевская передает своими словами основной смысл Пушкинской речи писателя.

[212] Л. Ф. Достоевская передает с искажениями и добавлениями от себя основной смысл гл. III «Геок — Тепе. Что такое для нас Азия?» и гл. IV «Вопросы и ответы» «Дневника писателя» за 1881 г. (см. **Достоевский Ф. М.**, т. 27. С. 32—40).

[213] Григорий Михайлович Семенов (1890—1946), руководитель антибольшевистского движения в Сибири.

[214] Сергей Кашпирев, сын Софьи Сергеевны Кашпиревой, редактора и издательницы детского журнала «Семейные вечера», вдовы издателя журнала «Заря» Василия Владимировича Кашпирева, скончавшегося в 1875 году.

[215] Этот разговор о наследстве между Достоевским и его сестрой В. М. Ивановой состоялся не 25 января 1881 года, а 26 января.

[216] О последних днях, часах и минутах жизни Достоевского, кроме «Воспоминаний» А. Г. Достоевской, см. также: «...Я тебя люблю...» (Ф. М. Достоевский в неизданной записной книжке А. Г. Достоевской)/Публ. С. В. Белова// Волга, 1988, № 9. С. 168—176.

[217] Картина Ивана Николаевича Крамского (1837—1887) «Ф. М. Достоевский на смертном одре» в настоящее время хранится в Институте русской литературы (Пушкинском доме) Академии наук СССР. О работе И. Н. Крамского над этой картиной см. «Исторический вестник», 1881, № 3. С. 487—488.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

---

* В указатель вошли имена, встречающиеся только в самом тексте Л. Ф. Достоевской. Цифры, обозначающие страницы вступительной статьи и примечаний, набраны курсивом.

Указатель составил С. В. Белов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Любовь Федоровна Достоевская

ДОСТОЕВСКИЙ В ИЗОБРАЖЕНИИ СВОЕЙ ДОЧЕРИ

Художественный редактор *В. Д. Кашин*
Технический редактор *С. Н. Холстинина*
Корректоры *И. М. Пьянкова, Н. В. Викторова*
Выпускающий *О. Я. Карманова*

Сдано в набор 13.04.92. Подписано к печати 13.07.92. Формат 60×60 1/16. Бумага писчая. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 15,5. Тираж 10 000 экз. Заказ 86.

Издательство «Андреев и сыновья»
196143, Санкт-Петербург, а/я 176, ул. Орджоникидзе, 5.

Типография № 8 ордена Трудового Красного Знамени ГПО «Техническая книга» Мининформпечати РФ 190000, г. Санкт-Петербург, Прачечный переулок, 6.